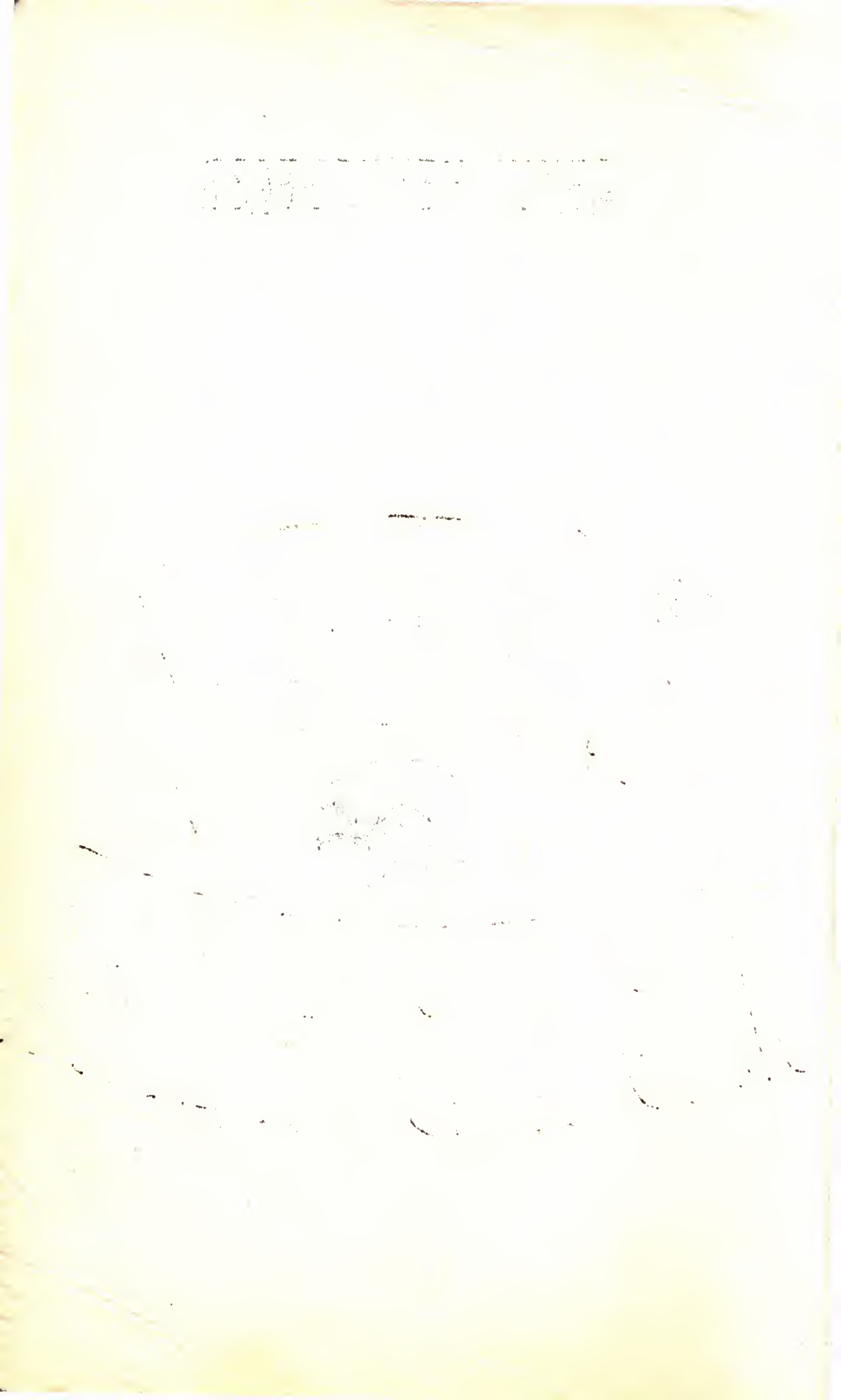
АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ



Абиш Кекильбаев

КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ



АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ



КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

РОМАН

Перевод с казахского
Герольда Бельгера



Издательство «Жалын»
Алма—Ата 1979

Каз 2
К 33

Кекильбаев Абиш.

К 33 Конец легенды. Роман. Пер. с казахского Г. Бельгера.— Алма-Ата, Жалын, 1979.— 240 с.

Роман является завершением известного советскому и зарубежному читателю цикла исторических произведений «Степные баллады», где затронуты существенные проблемы истории. Автор не просто воспроизводит по-своему древнее предание, не только расцвечивает его своим художественным видением, а наполняет глубоким философским смыслом.

Каз 2

К $\frac{70803-083}{408(07)79}$ 243 — 79



Часть первая

КРАСНОЕ ЯБЛОКО

I

Крошечные воронки, появляющиеся под копытами устало бредущих коней, тут же вновь заполняются песком. И мгновенно исчезают бесчисленные следы на склонах вздыбленной гряды барханов, оставленные отрядом угрюмо взирающих окрест телохранителей, едущих на отборных скакунах саврасой масти впереди, на расстоянии пущенной стрелы. Зыбучий песок, безмолвный и бездушный, издревле привыкший к непостоянству и тщетности бытия, мигом стирает малейший отпечаток на бескровном лике этого безбрежного серо-пепельного пространства.

Как бы ни старался Повелитель, вступив в Великую пустыню, отвести взгляд от всепожирающего сыпучего песка вокруг, однако никак не мог избавиться от гнетущего ощущения его беспредельной ненасытности и прожорливости. И каждый раз, когда он, утомленный однообразным, удручающе монотонным сухим хляканием копыт увязающих в песке по самые щетки лошадей, досадливо откидывал занавеску с окна крытой повозки, перед глазами его простиралось все то же унылое песчаное море.

Ранняя, чахлая весна. Скудная, убогая равнина, и нынешней зимой обделенная снегом, утомляла глаз. На кривых сучьях саксаула и жузгена еще не развернулись почки. Все вокруг погрузилось в дрему. Горбатые барханы, невзрачные, раскорячившиеся кусты точно застыли в извечной неподвижности, прижавшись к убитой земле.

На стыке зимы и весны здесь всегда бушуют бури. Самая свирепая и затяжная из них, именуемая в народе черепашьей, отшумела лишь недавно. Пять суток кряду, словно из преисподней, бил им в лицо раскаленный докрасна зной пустыни. Пыльный смерч смешал землю и небо. Казалось, какая-то чудовищная сила, распаляя себя, в пепел, в прах истолкла всю твердь земли и провеивала ее на жестоком ветру. Несметное войско, ничего не видя и не слыша в этой черной кутерьме, с тупым упорством брело-тащилось, грудью налегая на валивший с ног коней упругий шквал. Точно вздыбился весь мир и белый свет померк... Где земля, где небо — не разобрать... Ломило уши от рева ветра... Смерч, возбуждаясь, озоруя, гулял-свистел по всей вселенной... И, казалось, не угомонится он никогда, не уймется, пока не разнесет, не развеет всю землю в прах. Вконец осатаневший ветер шквалом набрасывался на крытую ханскую повозку, норовя зашвырнуть ее в пучину мрака.

Кони вымотались, храпели; песок забивался в ноздри, в уши, в глаза, и изнуренные воины с трудом двигались против ветра. Но Повелитель велел продолжать поход. Какой смысл в привале, если в голой пустыне нет ни кустика, где б можно было укрыться?

Наоборот, очень даже возможно, что разбушевавшаяся буря играючи разметет-расшвыряет по пустыне все повозки и тюки. Ведь не один караван бесследно исчезал под этими безмолвными барханами.

Не в правилах Повелителя было отправляться в походы в весеннюю распутицу или по чернотропу. На этот раз, стремясь вернуться в родные края к началу весны, он поневоле изменил обычаю. Однако, чувствуя какое-либо сопротивление, он по обыкновению становился упрямее, ожесточенней и сильнее стискивал зубы. В самом деле, кто могущественнее на этом свете: этот шальной, безумный ветер, лишь дважды в весеннюю и осеннюю пору обрушивающийся на землю, или он, владыка, способный при желании перевернуть вверх тормашками весь этот бренный мир?!

И все же, все же зло брало, что он, всемогущий, перед которым трепетало все живое, не в силах был укротить — ни копьем, ни саблей — вздорный нрав разгульного ветра. Тысячники, темники то и дело кружили вокруг его повозки, как бы умоляя о привале, но Повелитель был непро-

ницаем. Он сидел неподвижный, угрюмый, словно не слышал, не замечал вовсе надсадного воя бури.

Пять дней и ночей ярилась буря-предвестница благодатной весны. Потом весь мир враз утишился, словно обессиленный после камлания баксы-шаман. Повсюду вокруг — кучкой и врозь — валялись вылезшие, должно быть, на свет божий из-под трещин черепахи. Ветер расшвырял их как попало. Иные лежали брюхом кверху и беспомощно сучили уродливыми ножками.

В тот день, когда улеглась буря, к полудню, войско добрело до барханов. Склоны песчаных дюн, исхлестанные ветром, напоминали иссохший остов диковинных ископаемых чудовищ. Глубоко увязая в сером сыпучем песке, брели воины уже несколько дней. Еще недавно, всего несколько дней тому назад, они терпели великие муки из-за шквалистого ветра, теперь их изводила, угнетала глухая непробиваемая тишь. В груди сжимался, щемил беспокойно горячий, с кулачок, комочек, точно опасаясь умолкнуть, остановиться невзначай в этом оглохшем от тишины и неподвижности выморочном пространстве.

Вокруг, куда ни посмотри, горбатились бурые барханы, и как бы ни спешило войско преодолеть их один за другим, пока еще и намека не было на надежную твердь. Пустыня, изборожденная песчаными складками-морщинами, простиралась во все стороны. Сколько бы ты ни всматривался в затейливую и таинственную, как сура Корана, вязь, начертанную ветром-каллиграфом на податливо-мягком песке, не вычитаешь ничего, что бы могло взбодрить онемевшую мысль. Наоборот, эти причудливые письмена поневоле навевали тягостные думы о том, что сама жизнь не что иное, как бессмысленные, беспорядочные знаки на песке, как случайные, постоянно меняющиеся, призрачные следы в этом однообразно тусклом и безбрежном мире. Ведь так же, как весенняя буря, которая после многодневного буйства, вдруг разом обессилев, смиряется сама по себе, все, что человек привычно называет жизнью, со всеми ее страстями и суетой, остается завтра безжалостно стертым и погребенным сыпучим песком по имени Время.

Четыре долгих года провел он в походах. Сто тысяч коней истоптали, истыкали копытами немало чужих земель. Неужели когда-нибудь и это точно так же бесследно развеет ветер и проглотит песок? Если человеческая жизнь — нечто мимолетное, как шальной степной ветер,

что просвистел и унесся прочь, значит, и прожитые годы, старательно нанизывающие подряд и без разбора все ничтожное и сокровенное, так же призрачны и бесплодны, как этот зыбкий, шуршащий песок под ногами. Выходит, между небом и землей нет ничего, кроме низменной суеты и бессмысленности? Выходит, все-все проходит, и только непостоянство постоянно, вечно?

Кто знает... может, так оно и есть. Разве мало унижений испытал он в прошлом? Разве не мыкался вот в этой недоброй пустыне с женой и сынишкой, спасаясь от гонений? Разве не эти проклятые пески, отупляющие глаз даже сейчас, когда он смотрит на них из расшитой золотом повозки, обжигали ему тогда пятки до кровавых волдырей? Даже чахлого кустика не мог он найти в те черные дни, чтобы пальцами разгребать под ним песок в надежде коснуться истресканными от жажды губами желанной прохлады и влаги, и тогда в отчаянии казалось, что никогда не суждено ему выбраться из ненавистной скряги-пустыни, иссушившей его тело и душу, и никогда не дожить ему до того счастливого мгновения, когда он может или мог бы ополоснуть рот глотком живительной воды. Но кто о том знает теперь? Ведь даже он — он сам!— вспоминает о том разве что в безысходной тоске. Прошлые унижения стерло нынешнее могущество. Прошлые муки искупились нынешним счастьем. Но ведь так может забыться и сегодняшнее. Тогда что из себя представляет Завтра, о котором беспрестанно твердит жалкий человеческий род? Что оно? Безумный разрушитель всего сущего на земле, равнодушный губитель всего, что живет сегодня, или карающий меч судьбы, бессмысленности и непостоянства, одинаково беспощадный ко всему и ко всем? Что оно, это Завтра?

Если оно и впрямь меч карающий, то к чему тогда Сегодня, олицетворяющее неминуемую смерть с хищно разинутой пастью?! А если Сегодня — вечно, бессмертно, то где — Вчера? Где оно, что было вчера? Где они, что жили вчера? Как случилось, что те, кто еще вчера сражались с ним, сегодня погребены песком забвения? Неужели они сражены одной лишь его беспощадной саблей? Нет, конечно! В своей гибели они повинны сами. Вернее, слабость их повинна. Выходит, Вчера — попросту разновидность слабости. Точнее, другое ее название. Лишь ослабев, обессилев, Сегодня превращается во Вчера. А неуемная, все сокрушающая сила способна дерзко схлестнуться не только

с сегодняшним, с Сегодня, но и бросить вызов самому Завтра... Истинное имя силы — Вечность. Только необузданная сила, мощь в состоянии находить с нею общий язык. Гибель слабого предопределена уже Сегодня; кару посредственности готовит Завтра; и только сильный, не признающий никого и ничего, бессмертен, как сама Вечность.

Сегодня — это еще неопределенность, какая-то зыбкая серединная межа между страхом и надеждой. Это доля презренного большинства. Это плавание на утлой лодчонке в ограниченном, строго очерченном пространстве. И только. Лишь в таком шатком положении — между явью и забвением — жалкий люд способен постичь и признать волю сильного. А без него тьма-тьмущая слабых — сброд. Лишь тот, кто наделен такой могучей волей и в состоянии держать чернь между Страхом и Надеждой, может превратить ничтожных в реальную силу. В руках такого Сегодня оборачивается грозным оружием в борьбе с Завтра... Каждому своему военачальнику он неустанно внушает: «При любой напасти опасайся тупика, всегда оставляй себе лазейку».

Слабость — тот же тупик... Надо иметь в запасе уйму уловок, чтобы не очутиться в ее тенетах.

Разве не о том же говорится в священном писании?

Спросил однажды муравей у пророка Соломона: «Ведаешь ли, отчего всеблагий подчинил тебе ветер?» Соломон не сразу нашелся, что ответить. «В том заключен намек, что царство и могущество твое когда-нибудь ветер же и развеет». Побледнел мудрый Соломон, услышав это. «Ибо сказано: устами ничтожного аллах сообщает свою волю великим»,— сказал муравей и уполз восвояси. Если уж от самого Соломона отвернулось счастье, то что уж говорить о других. Но, лишившись счастья, он ведь не лишился славы. И поэтому не следует ли из этого, что счастье — призрачное благо бренной жизни, а слава — достояние величия и вечности?

Разве славу Соломона сберегли до нынешних дней не все те же бедные дехкане — безымянные труженики-муравьи, которым несть числа? И разве не они, те же самые ничтожные, чьими устами аллах сообщает свою волю великим, воздают им славу и почести по всей земле? Не случайно любое деяние великих черни всегда кажется исполненным особого смысла и значения. Ведь

именно толпа вознесет тебя до небес, глядя на твои, недоступные ее разумению, свершения. Скакун, на котором скачет слава,— людская молва. Пока нерасторопная истина в устах разумного взберется в седло, пустозвонная молва в устах горлопана уже поскачет, развевая полы, по низовьям и верховьям.

Пустобай, распространяющий молву, шалеет от одного звона. Он воспринимает лишь грохот славы. И не станет надрывать глотку в надежде отведать от славы тихой и скромной. Главное: что бы ни делал, нужно делать так, чтобы удивить, ошеломить этого ничтожного маленького человечка. Ошеломленный, он не в состоянии отличить хорошее от плохого, добро от худа. Ну, вот, к примеру, идет впереди, тяжело переваливаясь, ногами-бревнами вспарывая хрусткую гладь песчаных холмов, неуклюжий верзила-слон, груженный золотом и драгоценностями поверженных западных стран, и тот, кому этот слон в диковинку, отнюдь не станет рассуждать, хорошее это животное или плохое. Глядя на его чудовищную громадность, несуразно длинный хобот, человек, вероятно, не испытывает в первый момент ни страха, ни ужаса, ни отвращения даже, а только и прежде всего — удивление.

Размеры твоих деяний — все равно, во имя добра или зла — должны быть непременно больше, внушительней, чем в силах охватить их маленький глаз маленького человека. Иначе малым твоим добром он так и так не довольствуется, а за малое твое зло начнет тебя же ругать и склонять на все лады. Разобьешь кому-нибудь нос в кровь, тебя осудят и поднимут галдеж; если же утопишь в крови половину вселенной, тобой начнут восхищаться и говорить о тебе с благоговением и страхом.

Пока ты жив, старайся удивлять всех, кто тебя окружает. Те, кого ты сумел удивить при жизни, будут удивлены и после твоей смерти. И, прислушиваясь к их россказням, начнут удивляться потом и те, кто тебя и в глаза не видел. Важно только сохранить кое-где приметы своей славы и верноподданных потомков — живой отголосок былого твоего могущества, которые не дадут угаснуть восторженной молве, подбрасывая изредка в костер легенды хворост воспоминаний.

Не всякому такое дано. Это удел избранников. Но тебе-то это вполне доступно, пока владеешь несметным богатством и держишь в руках тумены послушного войска.

Только не прозевай своего часа, не дряхлей... И не обленись от пресыщения... Иначе уподобишься незадачливому любовнику неверной, похотливой бабенки: едва выскользнешь из ее опустошающих объятий, как на твое место уже метит другой, более удачливый и сильный. Таков он, этот лживый, изменчивый мир. Разве сам ты не достиг могущества и славы, ловко воспользовавшись слабинкой других? Теперь старайся, чтобы они ни за что не догадывались о твоей слабости... Пусть о том знает всевышний. И только.

Один всевышний... Да-а... ранее, бывало, возвращаясь с победой, он не ломал себе голову, размышляя о том о сем. Все, о чем ему сейчас подумалось, сохранялось в глубокой тайне в самом закоулочке сердца. И оберегал он ее, эту сокровенную тайну, не только от чужих, словно какую-нибудь святыню, которую хранят в потайном местечке за семью замками, но и от самого себя, подальше, подальше, в глубине души, радуясь тому, что она есть, всегда при нем, и одновременно боясь даже лишний раз о ней подумать. Тогда зачем, по какой причине теперь вдруг всколыхнулось, всплыло наверх все сокровенное, многократно передуманное до мелочей, взвешенное до крупицы, тщательно оберегаемое от всех живых? Зачем он вновь и вновь жует свою жвачку, давясь отрыжкой, словно старый, шелудивый верблюд? Ведь если уж хранить тайну тайн своих, то следует ее хранить, как верную дамасскую саблю. Если без толку размахивать ею, не мудрено ненароком и выронить из рук. А став добычей врага, твоя сабля тебя же и обезглавит.

Потому-то он и не позволял себе передумывать то, что было им однажды решено. А сегодня с ним творилось что-то непонятное. Прежде, как бы он ни уставал от изнурительных походов, в душе и думах не чувствовал подобного смятения. Или, может, его вконец изнурила многодневная свирепая буря великой пустыни, особенно опасная в эту пору — на стыке зимы и весны?.. С чего бы это? Ведь немало стран покорено, немало тронов опрокинуто. Он, наконец-то, на этот раз свел счеты и в прах разнес двух давних, коварных, немало крови ему попортивших соперников, не говоря уже о карликовых правителях, которых без труда поработил попутно.

Раньше, глядя на то, как падали к его ногам чужие короны, он испытывал сладостное и грозное удовлетворе-

ние. На этот раз все в нем точно онемело. Может, причиной тому непрошеная, незваная гостья — старость, подстерегающая его с некоторых пор на каждом шагу? Она, пожалуй, похуже любого врага. Ее никаким войском не одолеешь. И сабля не берет, и златом не откупишься, и хитростью не упредишь. Она, словно кровный твой враг, незаметно берет тебя в осаду и не обрушивается врасплох, а изводит, изморит постепенно, подтачивая силу и веру, вселяя тайный страх.

И вот теперь она же, старость, напоминает, что дальние и долгие походы отныне становятся ему в тягость.

И думая об этом, он почувствовал, как захолонуло сердце, точно каленой иглой кольнуло.

Когда-то, давным-давно, добившись трона и короны, он явственно понял, что, покоряя одного за другим своих бесчисленных врагов, проведет свою жизнь не на золотом троне, а в походном седле.

Так оно и случилось. Так он и жил до сих пор. Многие народы и страны покорил. В краях, доступных копытам коней, осталась неподвластной ему лишь одна-единственная страна. Народу в ней видимо-невидимо, как муравьев в муравейнике, и, должно быть, потому не трепещут перед ним, как другие. Более того, время от времени подсылают к нему своих редкобородых, узкоглазых послов, и они то угодливо припадают к его стопам, то горделиво-полусонно взирают на него, важно плетут словеса с подчеркнутым достоинством на каменно-непроницаемых лицах. Давно на них он точит зуб, но, кажется, пробил час судьбы,— дошел и до них черед. Остальные три стороны света он подмял под себя, да так, что не поднять им больше головы. Теперь уж можно не оглядываться.

Сейчас и победоносное войско его, сокрушившее немало врагов и наводящее ужас на чужеземцев, как никогда, в славе и силе. И пока оно не растеряло грозного воинского духа, он намерен после недолгой передышки вновь отправиться в далекий поход. И потому, чтобы в будущих походах не думать о покоренных уже странах и не тратить силы на подавление возможных мятежей, он приказал заблаговременно истребить поголовно всех побежденных воинов.

По пути он пополнил свое войско воинами ранее покоренных стран. Песок повизгивал-шуршал под копытами тысячи и тысячи коней, голубые копья, ощетинившись,

сверкали в лучах солнца, из-за барханов и дюн все шли-текли, словно черные тучи из-за ущелий, грозные тумены и, казалось, не из похода возвращается великое войско, а наоборот, выступает в кровавый поход. Боевые бунчуки сотников и темников горделиво развевались на пустынном ветру.

И лишь по тяжело навьюченным караванам и по множеству рабов, закованных в кандалы, и пленниц можно было догадаться, что войско возвращается из победного похода. Да-а, что бы там ни было, он решил вступить в столичный город всем войском, многочисленным, как комариная туча. Пусть народ увидит своего властелина, завоевавшего три стороны света, во всем могуществе и блеске, пусть полюбуется его мощью, шалея от гордости и спеси...

Вдали над белым песчаным холмом Повелитель неожиданно увидел странный силуэт, похожий на тонкий шест. Он был голубее самого прозрачного неба и впивался своим острием в окутанный дымкой марева горизонт.

Пораженный властелин хотел было подозвать немедленно провидца из свиты, чтобы узнать, не божье ли то знамение, но заметив, что шест все явственнее обозначался на фоне неба, обретая темно-синюю окраску, решил повременить.

Наконец-то кончились могучие барханы и дюны, и начинались мелкие, разрозненные холмики. Чувствовалось, что пустыня на исходе, и скоро нога коснется желанной тверди. Все чаще попадались островки с чахлыми кустиками.

Когда песчаные увалы остались позади, горизонт, зажатый ими, вдруг сразу раздвинулся, расширился.

И вместе с горизонтом, по-весеннему зыбким, смутным, с просинью, медленно, по-кошачьи отступавшим назад, туда, к неотвратимо удалявшимся, точно в страхе от несметного полчища, барханам, отодвигался, уплывал и таинственный голубеющий шест.

Вот тумены обогнули дикие заросли саксаула и жузгена, поднялись на суглинистый перевал и выбрались на твердь долгожданного плоскогорья. Впереди, далеко-далеко, в дымчатом мареве, дрожала-зыбилась гряда пестрых гор.

Еще некоторое время спустя, в урочище, значительно ближе от пестроголовых гор, в сплошной дымке, показа-

лись силуэты больших и малых строений. Голубой шест особняком, загадочно завис над ними, как бы постепенно погружаясь в густую синеву неба.

Вскоре четко вырисовался город в долине. Точно выплыл из голубого марева войску навстречу со своими голубыми, будто воздушно-невесомыми, минаретами. Прямой, как стрела, голубой шест, упиравшийся вершиной в небо, обернулся — и Повелитель увидел теперь это ясно — величественной башней. Раньше ее не было в его столице. Стройная, округлая, чем ближе, тем причудливей переливавшаяся всеми красками башня напоминала молодую, нежную женщину в голубом шелковом платье, истосковавшуюся по далекому, измученному дорогой возлюбленному и зазывно машущую ему рукой. Здесь, на равнине, широко раскинувшейся во впадине, земля обрела вдруг рыжеватый оттенок. Вокруг — то здесь, то там — шевелились, суетились крохотные черные точечки. Весна властно преобразила, вверх дном перевернула ровное поле в окрестностях города. Многочисленные сохи, запряженные лошадьми, волами, а то и людьми, вспарывали, бороздили упругую, с едва заметным, еще блеклым покровом пашню, будто вырезали тесьму на могучем теле земли.

На равнине за городом в честь возвращения с победой войско двинулось торжественным строем. В первых рядах, натянув до звона тетиву, шли лучники; за ними, грозно вскинув стальные сабли и острые копья,— сабельные и копьеносцы. Дальше, гремя кандалами, тащились пленники-рабы и брели тяжело груженные добычей караваны верблюдов. За караваном, покорно опустив головы, прошли юные пленницы — представительницы разных племен и народов.

И лишь в конце, замыкая шествие, в окружении десяти тысяч верных нукеров, проплыла под тягучий рык кернаев ханская повозка.

Огромное войско и караульные отряды, под которыми стонала и подгибалась земля, обступив торжественный строй с двух сторон, сопровождали его до главных городских ворот. Поля, вспаханные под бахчу, хлопчатник, овощи, перешли вскоре в тщательно ухоженные фруктовые сады. На деревьях недавно, видно, развернулись клейкие почки. Все вокруг точно в сиренево-белых прозрачных платьицах. Под раскидистыми ветвями виднелись бурые глиняные дувалы вокруг маленьких двориков. Здесь начи-

палась окраина города. На широких лавках, протянувшихся по обе стороны улиц, сверкал, сиял, переливался, притягивая невольно взор, диковинный товар со всех концов света — китайские шелка, драгоценности, изделия из золота и серебра, сукно, замша, дубленая кожа, меха, пушнина, всякая утварь, поделки; в воздухе плыл густой, пряный дух сушеного урюка, сочной, крепко проперченной самсы, сладкого и жирного, паром исходившего плова, хрустко поджаренного на саксаульных углях кебаба.

Неожиданно кончились сады, окутанные дымчатой кисеей, все плотнее, выше становились дувалы и все многолюдней улицы. Головные части войска едва хлынули в город, точно пенистый резвый ручей — в мутную лужу, как за крепостной стеной на холме, опоясанном глубоким рвом с водой, зычно затрубили кернаи. И тут же откликнулись в ответ разом все кернаисты под войсковыми бунчуками и посыпалась оглушительная дробь походных барабанов-даулпазов. От раскатисто-ликующего гула, взметнувшегося над городом со всех минаретов и круглых куполов, от утробного рева тысячи надрывавшихся кернаев и мощного цокота несметных копыт задрожала, застонала земля.

Жители столицы, потрясенные невиданным зрелищем, смотрели во все глаза с дувалов, из щелей и окон на торжественное шествие победителей.

Все внимание Повелителя было поглощено новым минаретом, вызывающе гордо устремившимся к бескрайней шири неба...

II

Пир в честь победы и окончания похода длился два месяца. Шумная, многолюдная равнина после торжеств сразу же опустела. Столичный город вернулся к обыденной, привычной жизни. Народ казался бодрым и оживленным после длительного веселья и гульбы.

И только одного Повелителя усталость не покидала. На другой день после окончания пира он перебрался в тихий, загородный дворец на вершине холма, окруженного тенистым, недоступным солнцу и зною садом. По величию и богатому убранству дворец не уступал другим, однако в нем Повелитель никого не принимал. И сад на холме был запущенный, дикий, как и все непроходимые леса вокруг

урочища. В нем обитали косули-елики, водились павлины, фазаны, и не были они прирученными, как в других садах. В этом дворце Повелитель не имел обыкновения днями восседать на троне. Он предпочитал уединенную прогулку по саду, куда пробирался по мостику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Гулял он один, без свиты, без спутника. В сад вообще никто не допускался, кроме членов ханской семьи. Но и они не осмеливались приходить сюда без личного его позволения. По воле Повелителя, бывало, привозили к нему маленьких внуков, с которыми он весь день проводил в саду, а вечером, посадив их в повозку, отправлял назад к старшей ханше.

На этот раз он и внуков не забрал к себе. Старшая ханша прислала было гонца с просьбой поговорить по одному неотложному делу, но он и его не принял, передав, что сейчас ему не до разговоров. Долгий, нелегкий поход и двухмесячное разгульное пиршество вконец утомили его.

Он забирался в укромный, прохладный уголок сада и подолгу сидел на валунах у звонкого, говорливого родника. Только вот здесь, на крохотном клочке земли рядом с вечным родником, он не чувствовал себя могущественным властелином. Здесь он не мог повелевать, и были ему непослушны, неподвластны и неустанно журчавший прозрачный родник, и бесчисленные птахи, безмятежно щебетавшие в густой листве, и лупоглазые стрекозы, трепетавшие тонюсенькими крылышками над самой водой. Здесь никто его не боялся. Пожалуй, одни только косули, невзначай наткнувшись на него, ошалело мчались прочь в густые заросли. Но пугались они его не потому, что был он властелином, а лишь потому, что принадлежал к многочисленному, недоброму племени двуногих.

Когда он направлялся к любимому роднику, вооруженные телохранители и дворцовые слуги, избегая с ним встречи, мгновенно убирались восвояси.

Часами, в глубокой задумчивости сиживал Повелитель возле одинокого родника. Здесь вызревало окончательное решение о далеких и опасных походах. Здесь, на сонной поляночке, райском уголке, под переливчатый говорок ручейка, решались судьбы тронов и коронованных владык.

Мысли текли непрерывной вереницей, роились в голове Повелителя, как эта родниковая вода, сочившаяся из глубин земли. Но вода текла ровно, размеренно по одному и тому же извечному руслу. А мысли Повелителя, едва заро-

дившись в глубине души, неизменно путались, мешались, растекались беспорядочными ручейками во все стороны.

Вот и сегодня он пришел к роднику, чтобы обстоятельно обдумать предстоявший вскорости нелегкий поход, но думы нежданно-негаданно набрели на загадочный случай с яблоком.

Красное наливное яблоко, с едва заметным, тоненьким надрезом сбоку он вернул вчера, не дотронувшись, а сегодня во время трапезы служанка вновь поднесла его на золотом подносе.

Он его сразу узнал среди других яблок, схватил и разломил: из середины, извиваясь, выполз червь. Он не имел привычки выказывать гнев перед слугами. Положил яблоко обратно, будто ничего не заметил.

Служанка убрала поднос. Повелитель сурово сдвинул брови, но сделал вид, что прощает оплошность прислуги, подавил нараставшую ярость.

Он устремил все подмечающий, сверлящий взгляд на служанку, но не усмотрел в ее движениях, походке ни тени робости или смущения, кроме того, что она чуть-чуть прикусила нижнюю, тонкую губу.

Но разве не все служанки испокон веку прикусывают губы и заученно улыбаются, выказывая подобострастие перед властелином? Выходит, она, что унесла сейчас с ханского стола червивое яблоко, не почувствовала никакой вины перед ним? Или, занятая делом, ставя и убирая посуду с яствами, она и впрямь ничего не видела? Но... подмечать, ловить каждое движение на лице Повелителя и удовлетворять любую его прихоть разве не обязанность челяди? Однако ведь может быть и так, что поджатые губы служанок не просто дань вежливости и учтивости, а искреннее смущение перед мужчиной-повелителем? Теряются же перед ним, испытывая невольный трепет, не только слуги, но и визири, полководцы и даже родные дети. Что уж говорить о бедной, беззащитной женщине? Она не то, что за выражением лица Повелителя, а за собственными поступками от страха не уследит. Где уж ей все вокруг подмечать?..

Порой Повелитель поневоле поражался непонятливости своих приближенных, тому, что их разумению оказывались недоступными даже самые простые вещи. Потом, размышляя об этом наедине с собой, приходил к выводу, что поражается напрасно. Ведь ему-то легко: он лишен необходимости кому-либо понравиться. А его подчиненным, угод-

ливо ловящим каждое его слово, постоянно смотрящим ему в рот, следящим за каждым движением бровей, мудрено, разумеется, споткнуться на ровном месте.

Во время беседы с приближенными он искусно вынуждал их высказаться без утайки, а сам между тем лишь молча слушал. Даже не перебивал собеседника. И тот чувствовал себя робким учеником, плохо выучившим урок, перед строгим, педантичным до угрюмости наставником. Повелитель, точно окаменев, смотрел собеседнику в глаза, не выказывая ни единым движением своего осуждения или одобрения. Непростое искусство — умение слушать. Иной верткий, пронырливый льстец, угадав настроение Повелителя, начинает ловчить, подстраиваться, подлаживаться, как заурядная шлюха, тем самым скрывая свои подлинные мысли и побуждения. А Повелителю совершенно ни к чему, чтобы его подчиненные чего-то утаивали, скрывали. Ему выгоднее, чтобы перед ним все выворачивали наизнанку свои душонки, с покорностью выкладывали все свои тайные тайны. Ибо в подвластном ему мире только один-единственный человек имеет право на какие-то тайны — большие и малые, все равно. Это он сам, властелин! А всем остальным, готовым ради него пролить кровь и пожертвовать жизнью, какой смысл иметь еще какие-либо секреты?! Да, да... он должен, обязан знать, что думает и делает каждый, кто находится под его властью. Нет покоя его душе, пока он не вызнает до донышка все, что в сердце и помыслах самых близких. Здравый человек не садится на коня, чьи повадки ему не знакомы. Точно так же неразумно окружать себя людьми, которые не отвечают за свои слова и поступки, не знают своих возможностей и не ведают, где свернут себе шею. К тому же следует помнить, что твоя тайна, пока она при тебе,— твое оружие, но с того дня, как ты однажды кому-то ее доверил, она уже оружие чужое. И Повелитель искони стремился прежде всего обезоружить своих приближенных, раз и навсегда лишив их сокровенной тайны. Потому в беседе он позволял им говорить свободно, без стеснения, без оглядки. Боже упаси, чтобы он обрывал чью-нибудь речь неуместным словом. Наоборот, прикидывался незнающим, задавал нарочито наивные вопросы. И тогда собеседник, не чувствуя подвоха, с долей приятного превосходства отмечал про себя, что всемогущий и всевидящий властелин не такой уж всемогущий и всевидящий, как о нем говорят, коли не

догадывается о простых вещах, и начинал с детским простодушием и откровенностью выкладывать все-все подробности, о которых еще минуту назад был склонен умолчать.

Таким образом заставив собеседника распахнуть перед ним душу до последнего закоулочка, вызвав его на чистосердечную исповедь, Повелитель потом без сострадания давал понять, что он отнюдь не такой простак, как тому, собеседнику, на мгновение почудилось, что он, как истинный провидец, наделенный к тому же верховной властью, все-все знал и видел давным-давно... Бедняга, пустившийся в откровенность, тут спохватывается и подавленно умолкает, вдруг сразу ощутив всю пропасть своего ничтожества. После этого он становится покорным, послушным, точно годовалый верблюжонок, которому пробили ноздрю, чтобы было сподручней вести его на поводу...

В конечном счете разве не в этом заключается превосходство всех владык, всех сильных мира над остальным людом — в том, что, имея власть, выведать тайну каждого, они сами никого в свою тайну не посвящают и никогда о ней не разглагольствуют? Ведь с самого сотворения мира когда и где бывало, чтобы кто-то осмеливался выспрашивать тайну самого правителя?

Властелин должен быть не только сдержанным па язык, но и слух свой он не позволит осквернять какими-либо недостойными сплетнями. Если он опустится до чьих-либо нашептываний, то уж поистине впору снять с головы золотую корону и поставить ее плевательницей перед сплетником с поганым хайлом.

Тех, кто охотно и подленько наговаривал на других, он ненавидел люто, точно бешеных собак. Кое-кто из неисправных холуев, тайком сообщавших ему, что о нем говорят за глаза, нашел успокоение на виселице. С тех пор никто не совался к нему с подозрительными слухами. Визири и родные сыновья без его просьбы или поручения никогда ни о ком не заикались. Чрезвычайной важности события сообщались ему — с ведома и согласия членов его семьи или высокопоставленных служителей дворца — только предсказателями из личной свиты. При этом недобрая весть доводилась до него намеками, иносказательно. И если ему требовалось знать все подробности, скрывающиеся за иносказанием, он вызывал к себе гадателей и приказывал истолковать донесение. Те известную им недобрую весть тоже не сообщали открыто, а преподноси-

ли лишь разные ее толкования, которые он мог понимать, как ему угодно было. На основе намеков и их толкований Повелитель сам выносил решение и определял меру наказания виновнику. Находить истинную суть каждого иносказания, а также единственно правильный выход из создавшегося положения и точно определить степень вины — нелегкое занятие даже для властелина. Ибо, как нигде больше, здесь всякая поспешность и очевидная всем несправедливость, несомненно, наносят непоправимый урон даже безмерному ханскому престижу. И в этом вопросе он свято придерживался своего излюбленного правила: «При любой напасти опасайся тупика, на всякий случай всегда оставляй себе лазейку». Он стремился не связывать самому себе руки. Известно, что жалобы и сплетни чаще всего касаются отдельных личностей. Повелитель, способный без угрызения совести утопить в крови тысячи людей и уложить на поле брани тысячи воинов, крайне осторожен и щепетилен в вынесении отдельного приговора одному человеку. В этом сказывается одна из кощунственных несуразностей презренного бытия. В самом деле, в бою чем больше загубишь невинных душ, чем больше перебьешь воинов-сыновей, взлелеянных горемычными матерями,— тем громче слава предводителя-хана, и — наоборот — малейшая несправедливость, допущенная им в мирной жизни хотя бы в отношении к последнему нищеброду, накладывает несмываемое пятно на его честь. Милость, милосердие, проявленные Повелителем к какому-нибудь ничтожному смерду, способны вытравить из сознания толпы жуткую славу кровопийцы, повинного в гибели тысячи и тысячи невинных, и посеять молву о мудром, человечном и справедливом хане — таком справедливом, что может мечом правосудия, как говорится, повдоль рассечь волосок.

В этом он окончательно убедился много лет назад после кровавой сечи во время южного похода...

После многомесячного изнурительного пути войско остановилось на равнине неподалеку от чужестранной столицы на берегу могучей реки. На противоположной стороне копошились голоногие, до блеска загоревшие дехкане. Они цепочкой шли по пахоте и что-то сеяли. Долину подковообразно окружали горы. По склонам густо

росли смешанные леса. Оттуда, за рекой, со стороны гор, струились густые, вязкие запахи наливающихся соком фруктов, от которых приятно кружилась голова.

Запестрели шатры по всей равнине. Затрубили кернаи; посыпалась раскатистая дробь походных барабанов. Погруженные в ленивую дремь равнина и горы точно ожили и откликнулись гулким, многократным эхом. Из курчавых зарослей тугая ошалело выскочили лоси и косули и понеслись в открытую степь. Разом и со всех сторон со свистом полетели им вдогонку тучи стрел. Несметное войско мигом раздобыло себе мясо.

Дехкане на том берегу разбежались врассыпную, побросав на пашне деревянные сохи, мотыги, кетмени, мешки с семенами. Но ни одна стрела не полетела им вслед.

Топот, треск все явственнее доносились со склонов гор: встревоженные звери косяками пробирались сквозь непроходимые заросли тугаев в безопасные ущелья за увалами.

Воины нарубили дрова, натаскали на холмы хворост. И когда опустилась черная южная ночь, по всем склонам и увалам враз ярко вспыхнули бесчисленные костры. Казалось, все звезды на летнем небе спустились на землю. Черный горизонт зловеще заполыхал зарницами.

И на следующий день воины отдыхали на зеленой равнине. И опять наступила ночь. И вновь запылали костры, охватив пожаром все окрестности. Костров было больше, чем звезд на небе, и жители осажденного города перепугались насмерть. Уже на третий день ранним утром они толпами вышли из крепости, сдаваясь врагу на милость.

Повелитель приказал не подпускать беженцев к равнине, где расположилось войско, а загнать в узкий длинный мыс между цепью гор и буйной рекой. Потом, решил он про себя, когда враг начнет метать камни из камнеметов, он погонит их против своих же в первых рядах.

В тот же день после обеда старший сын Повелителя, не скрывая страха, заявил с порога:

— Их уже почти сто тысяч!

— К вечеру беженцев станет больше, чем наших воинов,— высказал опасность кто-то из эмиров.

Полководцы, сидевшие чинным рядом по обе стороны золотистого шатра, переглянулись. Повелитель сразу догадался о сомнениях, закравшихся при этой вести в души его военачальников. Serолицый хазрет, положив

увесистый, в кожаном переплете, Коран на серебряную подставку и отрешенно перебирая коралловые четки, деревянным голосом изрек:

— Уа, мой правитель! Да будет вам известно, что истребление богомерзкого племени иноверцев, погрязших в пороках, пакостях, есть очищение души во имя всеблагого. Я, покорный слуга всемогущего творца, готов собственноручно перерезать им глотки. Если мы их сейчас, еще до наступления ночи, не перерубим поголовно, свершится роковая ошибка.

Старший сын и главный визирь в два голоса поддержали святого хазрета.

— Да, да, ошибка может стать роковой.

— Хазрет говорит истину.

После полудня огромное войско двинулось к мысу. Беженцы нестройно приветствовали его. Лучники вышли вперед и встали цепью. Через мгновение стрелы обрушились на безоружную толпу. Истошные вопли взметнулись к ясному и равнодушному небу; страшный вой, стон, крики, визг прокатились эхом по ущельям, и река тоже, точно обезумев, загрохотала еще яростней. Крайние ряды беженцев падали, будто скошенные. Кольцо лучников сжималось все плотнее. Живые, защищаясь, спешно складывали мертвых штабелями, сооружали укрытие. И тут в побоище ринулись копьеносцы...

Вскоре был смят непрочный заслон из трупов, и тогда над головами обреченных засверкали сабли. Сам святой хазрет, не порешивший в жизни даже паршивого ягненка, не удержался от соблазна: ринулся, размахивая сабелькой, на безоружных иноверцев.

Беженцы сопротивлялись, как львы. Никто уже не вопил от страха и ужаса, никто уже не молил о пощаде, всех охватила безумная ярость: кто отбивался кулаками, кто впивался зубами в глотку насильника, кто, уже падая, цеплялся за ноги. Скрежет зубов, свист сабель, гулкие удары кулаков, предсмертный хрип, стоны — все перемешалось, сливаясь в гул побоища.

К закату дня беженцы на узком перешейке были истреблены до последнего человека. Воины сложили трупы и подожгли их. Всю ночь пылали зловещие костры, распространяя зловонный чад.

На следующий день, совершив утренний намаз, Повелитель вызвал белобородого хазрета почитать священную

книгу. Хазрет гнусаво-монотонным голосом нараспев прочитал суру и истолковал ее как доброе предзнаменование, благословляющее предстоящую битву — газават — за веру во имя всемогущего. По его словам выходило, что бог создал иноверцев низкородными, презренными рабами, а правоверных — избранниками судьбы, достойными радости, наслаждений и счастья на том и этом свете, и потому им, обласканным самим пророком, предоставляется право безнаказанно вытравлять человеческую нечисть.

Противник выставил конницу в двадцать тысяч сабель, тридцать тысяч пеших воинов и сто двадцать боевых слонов. Связанные друг с другом, слоны выстроились в ряд. К спине каждого был пристегнут открытый паланкин, в котором сидело по шесть метких лучников. Между слонами на специальном устройстве громоздились камнеметы и огнеметы, изрыгавшие пламя.

На широкой равнине медленно и неумолимо сходились две армии. И когда головные части уже сошлись лоб в лоб, Повелитель поднялся на холм в середине войска, расстелил молитвенный коврик и, обратив лицо в сторону священной Мекки, сотворил намаз. Неприятель, увлекшись наступлением по центру, не заметил, как его с двух сторон стремительно сжимают в тиски. От неожиданности он растерялся. Застигнутые врасплох фланги начали лихорадочно перестраиваться на ходу, готовясь к отпору, а головная часть, ведомая боевыми слонами, все глубже увязала в ловушке. Вскоре фланги оказались отрезанными от центра, и сто двадцать боевых слонов очутились сразу в окружении. Неприятель, спохватившись, отчаянно бился, старался сомкнуть ряды, вырваться из тисков, но было уже поздно. Силы его иссякали с каждым мгновением.

Лучники теперь легко сбили стрелков на паланкине. Разъяренные воины, обнажив клинки, набросились на слонов. Громадные, неуклюжие животные, связанные к тому же между собой, сбились в круг, беспомощно перебирали толстенными ногами, подставляя крутые бока под пики и сабли неприятеля.

К тому времени воины успели перерубить врага, очутившегося в кольце. Все поле было усеяно трупами. Кони спотыкались о них, косили глазами, испуганно пофыркивали.

Теперь победители, точно ошалев от крови и предчув-

ствия богатой добычи, ринулись лавиной в раскрытые настежь городские ворота.

Грабеж продолжался две недели. Повелитель еще раз убедился, что алчности человеческой нет предела.

Особенно поразил его тогда один случай. Однажды, проезжая в сопровождении свиты по центру захваченного города, он натолкнулся среди белого дня на драку. В стороне стояла пара лошадей, а рядом — десяток пленных, мужчин и женщин, в наручниках и связанных между собой. Драчуны дубасили друг друга с такой яростью и увлечением, что не заметили подъехавшего Повелителя. Узкоглазый, поджарый, чернолицый вцепился обеими руками в горло молодого пышноусого крепыша-слепца. Узкоглазый был пьян, голова его под ударами слепца моталась во все стороны, точно ботало на шее ишака. Однако хваткие руки не отпускали жертву.

Унизительная сцена вывела Повелителя из себя. Теряя самообладание, он выскочил из повозки, кинулся к драчунам и с размаху ударил саблей узкоглазого по правому плечу. Тот, охнув, мешком плюхнулся оземь. Почувствовав нежданную помощь, слепец вцепился в подол Повелителя.

— О, кто вы, мой избавитель, добрый, милостивый человек?! Единственная память осталась от матери — бриллиантовое ожерелье. Буду молиться за вас, назовите свое имя...

— Имя мое после узнаешь. А тебе скажу: если бы каждый дрался так истово, никто бы не мог вас победить. Ты истинный воин, слепец!

Повелитель приказал отобрать у узкоглазого корджун, набитый драгоценностями, и высыпать их на голову слепца. Пленников, стоявших связанными в стороне, отпустил тоже.

— О, аллах! — все восторгался слепец. — Кто это — сей великий из великих, справедливый из справедливейших?

— Сам непобедимый Повелитель, — ответил кто-то из свиты.

С тех пор, в какой бы город и в какую бы страну он ни вступал, его всюду и неизменно опережала легконогая молва — слава не о тех сотни тысяч невинно загубленных, а о несчастном слепце, которого защитил от грабителя добрый и справедливый Повелитель.

С тех пор он дал себе зарок, что отныне облагодетельствует каждого смертного, чья мольба дойдет до него.

Именно тогда, после этого случая, Повелитель, вернувшись из похода, издал приказ обезглавить каждого, кто клевещет на ближнего.

Поэтому и поныне никто не осмелится приходить к нему с жалобой или наветом, ибо если выяснится ложь, шептуну не сносить головы. Подлую беду, которую Повелитель обязан знать, сообщают ему только предсказатели и шейхи-дервиши, и то лишь осторожными намеками.

Не исключено, что и красное наливное яблоко, поднесенное ему на подносе,— определенный намек. Но что может означать червь, выползший из сердцевины? Опасность, нависшую над ним? Однако кто и что может угрожать ему в своей стране, на своей земле?! Поблизости не осталось ни одного достойного врага, способного посягнуть на его могущество. Чванливому и коварному послу из востока он сам дал понять, что скоро двинется на них с копьем и мечом, и дабы тот собственными глазами убедился в мощи и боевитости ханского войска, продержал его два месяца на пиру и ристалище и лишь потом отпустил домой. Пока он доберется, здесь ханские полчища уже оседлают боевых коней.

Вчера Повелитель беседовал с лазутчиками и сыщиками, разосланными по всем улусам под маской бродяг-дервишей и юродивых-дивана. По сведениям, в окрестностях царит порядок и благодать, и никакая опасность ниоткуда не угрожает.

В самых отдаленных уголках и на больших караванных дорогах вдоль границ он содержит многотысячную тайную армию осведомителей в облике дервишей, купцов, пастухов, погонщиков, но и они не ведают о каком-либо мятежном духе.

От сборщиков налогов и податей, наместников городов, тайных агентов и соглядатаев, расставленных повсюду, тоже не поступило тревожных сведений.

Так зачем подобным образом понадобилось намекать на какие-то несурядицы в дальних, за тридевять земель, краях?... Неужели, пока он находился в далеком походе, здесь, в его дворце, что-нибудь случилось?

Каждого из приближенных, кого Повелитель подозревал хоть в чем-нибудь, он старался — где бы ни находился — неотлучно держать при себе. В последний раз, зная,

что поход продлится долго, он оставил во дворце главного визиря. Если тот запустил руку в казну, беда небольшая. Из-за этого вряд ли стоит прибегать к тайным намекам. Каждый раз перед походом и после возвращения Повелитель лично сам проверяет казну. Так что воровство, если оно и впрямь имело место, обнаружится само по себе. К тому же главный визирь — человек степенный и трезвый, которому в равной мере присущи ум и хитрость, гнев и самообладание. Не мог он проявить алчность и покушаться на ханскую казну.

На что же тогда намекает червивое яблоко?... Родной очаг в сохранности, семья — в добром здравии. На пиру в честь победы присутствовали все. Немыслимо, чтобы в это время что-то круто переменилось и земля вдруг перевернулась верх дном. Скорее всего, служанка допустила оплошность...

Но... заметив, что яблоко с червоточиной, его должны были просто-напросто выкинуть. Почему же его второй раз принесли на подносе? Выходит, это делалось сознательно, с умыслом. В чем тогда тайна?

Может, немедля пригласить гадателя? И к духовнику своему он зашел после похода второпях. Не поговорили толком, по душам, как бывало прежде...

Повелитель имел обыкновение сперва сам тщательно, не спеша, обдумывать свой сон или чье-нибудь иносказание, а потом уже прибегать к услугам предсказателей и толкователей. Итак, красное наливное яблоко с червяком в сердцевине... Это ведь, должно быть, намек не на злодейство, а на... измену, предательство. Да, да, поистине так! Но чья измена? Какое предательство?

Какой безумец в пору ханского всемогущества дерзнул на измену? Разве не на гибель обрекает себя тот, кто осмелился предать властелина?

Он в уме перебрал всех предводителей войска. Ни у одного, по разумению Повелителя, не было сейчас причины-повода для такого шага. После очередного удачного похода — и особенно в канун новых — он щедро одаривал полководцев, с головы до ног осыпая золотом. Так он поступил, присвоив себе несметные богатства южных стран. Так он поступил и после покорения земель, где заходит солнце. Не скупясь, раздал он огромную долю добычи верным предводителям и храбрым воинам. Ибо знал: благоразумно баловать их щедрыми подачками, воздавать

сторицей за все заслуги. Тогда они с готовностью ринутся в любую кровавую бойню.

Лет десять тому назад, когда решалась судьба похода на южные страны, на верховном совете-диване возникли разногласия. Старший сын пылко настаивал на походе: «Если мы захватим золото того края, покорим весь мир!» Советники и эмиры осторожничали: «Народу в тех краях больше, чем мух. Если мы их и одолеем, то потом сами растворимся в них. Они проглотят нас, как море песчинку. Потомки наши родной язык забудут».

Тогда хан приказал раскрыть Коран. Наткнулись на суру, гласившую: «О, великий пророк! Иди войной против иноверцев, истребляй без пощады нечестивцев!»

Золото южных стран соблазнило боязливых ханских эмиров. В том походе стало им ясно, что можно победить и покорить народы, если их даже больше навозных мух. Ну, а в стране, где восходит светило, богатства должно быть и вовсе без счета. Уж кто-кто, а его соплеменники, вкусившие соблазн земных благ, это прекрасно сознают.

Кто же тогда именно теперь усомнился в удаче предстоящего похода?

Всякий раз на этом месте мысли Повелителя обрывались. Родник монотонно бормотал свой бесконечный сказ. Чуткая листва на высоких деревьях непостижимым образом улавливала дуновение в этом безветренном уголке и о чем-то перешептывалась. «Думай, думай»,— казалось, советовали листья и родник.

В этом земном Эдеме надеялся он найти отдохновение, но неугомонные сплетники — шуршащие листья и журчащий родник — назойливо нашептывали что-то, смущали душу, и раздосадованный Повелитель встал и пошел по узкой тропинке. Она, извилистая, как сама ложь, повела его вновь ко дворцу.

Недавнюю дремотную садовую тишь вдруг словно ветром сдуло. Все вокруг наполнилось беспорядочными звуками. Белогрудые, с кулачок, синички заполошенно заметались по веткам, заверещали без умолку, раздувая зобы, будто им тоже не терпелось сообщить Повелителю важную весть.

По обочине дороги пронеслась дикая коза. Казалось, она с утра, затаившись, подстерегала Повелителя, и теперь понеслась вовсе не с испугу, а подразнивая его тугими гладкими ляжками.

Извилистая тропинка пролегала под урючиной. Перезрелые плоды, сорвавшись, усеяли землю. Прелый запах гнили струился в воздухе. Жирные зеленые мухи роились, кружились над кучей опавшего, истлевающего урюка, справляя обильную трапезу.

Создатель не наделил плод на дереве разумом, достоинством, гордым желанием всегда оказываться на высоте. А вот человеку доступна простая истина: падение с вышины, куда так долго и упорно лез,— смерть. И потому владыка, подстерегаемый злорадством и завистью врагов, постарается не падать, а взбираться все выше и выше.

Тропинка вывела его к мостику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Повелитель весь подобрался, посуровел; взгляд, затуманенный зыбкими думами, вновь обрел колючий, жесткий блеск. Холодный, неприступный, он вошел во дворец.

Когда служанка внесла обед, он — по-прежнему мрачный — восседал на широком возвышении, укрытом тигриной шкурой, у выложенного мозаикой хауза в середине зала.

Молодая служанка смущенно прикусила губу, точно невинная девочка, направляющаяся на ложе к пожилому мужчине, и остановилась рядом. Маленький поднос поставила на круглый дастархан. Как бы старательно не прикусывала она губы, однако на лице не было и намека на стыдливый румянец. Овальное лицо, густо покрытое пудрой, белело непроницаемо. Длинные ресницы, не в меру насурмленные, ловко прикрывали многоопытную осведомленность и подспудное упрямство, придавая лицу выражение лживой покорности и простодушия.

Обычно Повелитель не удостаивал своих слуг взглядом, но на этот раз посмотрел пристально. Служанка ничуть не оробела.

Что же получается? Неужели она до сих пор не обратила внимания на червивое яблоко? Неужели все еще ни о чем не догадывается? А если, допустим, ей все известно, как она может при этом не смущаться перед ним?

Нет, служанка и лицом не дрогнула. Накрыла, как положено, дастархан, сдержанно и учтиво поклонилась, и, не полностью разгибая стан, неслышной, волнующей походкой, свойственной одному только женскому племени, направилась к выходу.

Лишь когда закрылась за нею дверь, он посмотрел на

дастархан. Взгляд тут же споткнулся о красное, наливное яблоко. На этот раз надрез был шире, заметней. Да и яблоко лежало чуть в сторонке, отдельно.

Ясно: служанка знает все!

Рука хана невольно потянулась к колокольчику под подушкой.

Тотчас в дверях показалась и поклонилась служанка.

Повелитель изо всех сил старался не податься приступу бешеного гнева. В растерянности он даже не сразу смекнул, что хотел сказать покорно застывшей у порога служанке.

— Яблоко это... в здешнем саду сорвали?

— Нет, милостивый Повелитель, вам его прислала великая ханша.

— Ступай!

Служанка послушно повернулась, и он успел заметить легкую ухмылку в уголке прикушенных губ...

...Скользкая ухмылка, мелькнувшая в уголке тонких губ служанки, мерещилась теперь ему и на поверхности мерно журчащего родника. Вода, робко сочась из груди земли, образовала ручеек, и по нему изредка пробегала легкая зыбь, точно чистая улыбка младенца. Даже в серебристо-нежном бульканье ручейка чудились ему искреннее сочувствие и печаль...

Отныне и этот укромный уголок, скрытый от пронырливого взора света, омрачен смятением неуемного духа. Казалось, даже серый валун под Повелителем ворочался, выражая непокорность. Может, и трепетные листья на верхушках деревьев шепотом передавали друг другу тайну, про которую все эти дни думал Повелитель.

Раньше здесь, у устья родника, как-то сами по себе разрешались все его тревоги и сомнения, и просветлялась, оттаивала заскорузлая, очерствевшая от хлопот и дум душа. На этот раз облегчение не приходило.

«... прислала великая ханша...»

В последний поход он забрал с собой старшую ханшу и подросших внуков. Однако походная жизнь и лишения вскоре надоели им, и он — это было два года назад — отправил их обратно.

Весной, возвращаясь из длительного похода, он выслал вперед нарочного с доброй вестью, и тот, вернувшись в войско, ничего существенного не доложил.

Потом, до начала пира в честь победы, он почти полто-

ра месяца отдыхал во дворце старшей жены и внуков, находившемся в полдневном пути от столицы. И за это время великая ханша даже не заикалась о какой-либо напасти.

Ни тени досады или озабоченности на лице ханши не заметил он и во время пира. Как же следует понимать этот знак неблагополучия, поданный ею теперь?

Сыновья часто навещали мать, но ездили во дворец ханши не потому, что были больше привязаны к матери, а потому, что тосковали по своим детям.

Может, сыновья что-нибудь натворили? Но... с какой стати стала бы вдруг жаловаться на них ханша? Ведь они беспрекословно подчиняются ее воле.

Повелитель заблаговременно позаботился о том, чтобы пресечь возможные распри между сыновьями. Неспроста говорится: о худе не думаешь, добра не жди... Так вот, на случай, если всевышний призовет его к себе, Повелитель давно уже собственными устами объявил законного наследника. И у того пока не должно быть подлых намерений. Наоборот, может, братья против наследника что-то замышляют? Однако и такое вроде исключено. Они ведь все единокровные, единоутробные. Одной пуповиной связаны. Самый старший, рожденный от другой матери, остался наместником одной из покоренных южных стран. Остальные трое слишком молоды и еще не познали вкус власти. Что же тогда могло случиться?... Может, в канун далекого и опасного похода нашлись смутьяны, подло сбивающие ханских сыновей с праведного пути? Не мудрено. Ведь встретившись с женами и детьми после семилетней разлуки, многие отнюдь не горят желанием вновь оседлать боевых коней и пуститься в неведомые края, где можно сложить голову. Зная это, Повелитель в последнем походе щедро одарил всех, кто отличился отвагой и верностью. Может, он поспешил со своим даром? Возможно, разумней было повременить? Не раздавать добычу, а только посулить?

Когда-то одному из своих эмиров он дал совет: «Насколько узки глаза у тюрков, настолько же скупа и алчна их душа. Единственный способ заставить служить их верой и правдой — тешить их глаза золотом, а душу — хвальбой. У других отними, а своих — подкупай».

Разве не этой мудрости следует он сам? Разве, завоевав много стран и отняв их золото, он не потратил его на подкуп своих приближенных? Иначе чем еще, кроме золота,

можно вырвать из бабьих объятий этих обленившихся похотливых самцов, называемых мужчинами?

И чтобы ублажить их алчные души и заткнуть ненасытные глотки, он швырнул живоглотам добычу, а честолюбцам раздал чины. Пусть подавятся!

Казалось, все предусмотрено, и ничего не должно было случиться. Посла, прибывшего из страны, где восходит солнце, он не подпустил ни к своим эмирам и предводителям войск, ни к родным сыновьям. Неужели тот пройдоха нашел-таки муравьиную лазейку в его искусно расставленных тенетах и сумел каким-то образом напакостить?

Да-а... как бы то ни было, знак тревоги подан неспроста. Ведь когда великая ханша прислала нарочного с просьбой поговорить по важному делу, он не принял его. Но ханша высказала явное нетерпение, с намеком передав красное червивое яблоко. Может, следует срочно вызвать всех сыновей? А вдруг кого-то из них и впрямь охватил бес единовластия? Тогда неожиданный и срочный вызов отца может только насторожить возжаждавшего высшую власть нечестивца и ускорить развязку его черных помыслов. Нет, нет, о срочном сборе сыновей сейчас не может быть и речи. Тут, видно, что-то другое. Если даже допустить, что кого-то из сыновей и поразила подлая страсть, то вряд ли раньше всех так встревожилась бы великая ханша, толкая в муках рожденное чадо под топор палача.

Между тем великая ханша оттолкнула от себя только старшего его сына, рожденного от другой, покойной ныне жены. Ханша настояла на том, чтобы отослать его подальше, на край земли, наместником завоеванной страны.

По совету святого духовника, она добилась того, что наследником трона был объявлен старший сын, рожденный от нее. Повелитель долго оттягивал решение о наследнике, потому что не хотел обидеть своего первенца, но тот — то ли боялся козней честолюбивых братцев, то ли пожалел отца, очутившегося меж двух огней,— сам вдруг отказался от наследнего права и попросил только отправить его правителем южной страны.

И, вспоминая великодушный поступок своего любимого сына-первенца, Повелитель испытывал каждый раз неловкость, перемешанную с болью и жалостью, и как-то весь сникал, сжимался, точно от непомерной тяжести и вины. Вот и сейчас, едва вспомнилось о старшем сыне, разом схлынули изнурившие его за эти дни сомнения и ду-

мы, и мысли вернулись к тем годам, полным мытарств и лишений.

Предки его до седьмого колена были предводителями войска. Прадед, к примеру, возглавлял войско старшего сына Великого хана. Эта традиция по наследству от поколения к поколению дошла и до него. И он служил предводителем войска у эмира — престарелого правителя этого края. Старый эмир любил и почитал его пуще родного сына. Выдал за него дочь. И когда тесть пал жертвой вражеских интриг, на трон сел О Н.

В то время жители Двуречья разделялись на сорок племен, раздираемых смутой и междоусобицей. Все они были тогда подвластны потомкам Великого хана, обитавшим за тридевять земель. Усевшись на трон, он первым долгом попытался объединить множество мелких ханств. Каждому из кичливых ханов-марионеток было отправлено тайное послание: «Предлагаю объединиться и прогнать всех остальных. Управлять Двуречьем будем вдвоем».

И от каждого из этих марионеток, жаждавших большой власти, он вскоре получил горячее согласие. Так он ловко подлил масло в костер и без того незатухающих распрей. Натравив друг против друга спесивых правителишек, он терпеливо выжидал в стороне, по-прежнему суля дружбу и помощь тому, кто наголову победит всех остальных.

В это время с огромным войском приближался сюда сам Верховный правитель. Узнав об этом, О Н опередил всех соперников и первым встретил — с поклоном и почестями — Великого хана. Руководила им при этом единственная цель: добиться признания и преимущества в глазах потомков Великого повелителя. Однако на этот раз судьба отвернулась от него: потомки Великого хана почему-то не поверили ему, лишили его трона и вновь назначили предводителем местного войска. А позже пустили слух, что он замышляет покушение на своих правителей, и решили его умертвить. Но всевышний миловал: наказ об убийстве попал ему в руки. Он успел бежать.

Несколько лет провел он в мытарствах, хоронясь в тех самых гибельных песках, по которым нынешней весной он возвратился с войском из похода. Вместе с женой, как затравленный, метался по барханам. На склонах бесчисленных дюн, на раскаленном песке остались их следы. Ноги, изнеженные теперь ворсистыми коврами и пуховыми по-

душками, были тогда иссечены колючками, изранены занозами. Те следы на песках давно уже стер ветер пустыни. Раны давно уже вылечило время. И о тех горестных днях он вспоминает теперь лишь при виде старшего сына или думая о нем. Потому он и дороже, роднее всех остальных сыновей. Не будь его, первенца, кто знает, вряд ли он достиг нынешней славы и могущества.

Скитаясь в пустыне, находясь на грани жизни-смерти, он попался в лапы бека-правителя какого-то племени, обитающего в песках. Вместе с женой швырнули его в темницу-зиндан глубиной в сорок кулаш[1]. В этот сырой затхлый колодец днем не проникал луч солнца, ночью — луч луны. Изредка в колодец, склонившись, заглядывал страж, заслоняя блеклый свет своей лохматой бараньей шапкой и точно ввергая пленников в густой мрак.

Тихо. Только изредка и неожиданно, точно ржанье жеребенка, позванивали железные оковы на руках жены, когда она, измученная пронизывающей сыростью, ворочалась на дне зиндана.

Супруги все эти дни не проронили ни слова, будто не желая бередить изъедавшие душу раны от досады и гнева. Лишь время от времени тяжко вздыхали.

Так прошло сорок девять дней и ночей. Пятидесятая ночь выдалась лунной. Пленники заметили это по мерцающей белизне струящегося у отверстия света, похожего на отблеск серебряного подноса.

Молодая жена, с ожесточенным упрямством сносившая все муки в смрадном подземелье, вдруг забилась и беспомощно заскулила. Жар охватил ее тело. По лбу струился липкий пот. Закованный, он мог только подставить ей плечо. Заунывный плач-стон становился все громче. Неведомая боль, казалось, рвала ее на части, ломала кости, выматывала душу, и женщина, не зная, как унять, утишить эти адские муки, обезумело билась головой о глухие стены зиндана.

Потом... потом она вдруг обмякла и потеряла сознание. И в этот самый миг откуда-то прорвался — сначала тускло, как бы захлебываясь, потом вдруг во всю мощь, возмущенно-резкий, незнакомый крик, от которого у него зазвенело в ушах.

---

[1] *К у л а ш* — мера длины, расстояние между вытянутыми в стороны руками.

Молочно-белый свет над головой на мгновение погас и вновь забрезжил.

Тут же что-то легкое, скользнув, упало ему на грудь. Он подбородком нащупал ключ, ухватил зубами и, изловчившись, отомкнул оковы на руках жены.

Она очнулась от доносившегося снизу крика и снова вся зашлась в знобкой дрожи.

— Бери ключ — отомкни оковы! Живо! — прикрикнул он.

Она послушно зашарила вокруг, тыкалась во мраке.

— Быстрей! Ну!!

Раздирающий душу плач не умолкал.

Наконец, ей удалось отомкнуть и снять оковы. Он тут же натолкнулся на что-то скользкое, теплое. Ребенок, еще соединенный пуповиной с матерью, надрывался изо всех сил.

Он склонился к скрюченному тельцу, зубами перегрыз теплую пуповину и, вырвав у жены прядь волос, крепко перевязал ее.

Потом осторожно прижал беспомощное существо к груди, стараясь отогреть его своим теплом, своим дыханием, и, чувствуя, как оно доверчиво приникло к нему и успокоилось, он вдруг ощутил неведомую, торжествующую радость, отчего сразу исчезли все напряжение, вся боль, унижение и горечь, выпавшие ему за последние месяцы.

Сперва он обвязал арканом жену и помог ей выбраться, потом, придерживая одной рукой ребенка, вылез сам. Чернобородому спасителю в мохнатой бараньей шапке, стоявшему у входа в зиндан, он сунул, сорвав с шеи жены, яхонтовое ожерелье и, выхватив из его рук саблю, направился к шатру бека.

Сбежалась, услышав неожиданную возню у зиндана, вооруженная стража, но, пораженная зрелищем, остановилась: босоногий, простоволосый мужчина решительно шел на них, держа в одной руке голенького ребенка, в другой — обнаженную стальную саблю.

У входа в шатер два привратника преградили ему дорогу, но сабля в руке пленника дважды ослепительно блеснула при свете луны. Так отбиваются плеткой от злых собак. На порог, обливаясь кровью, рухнули два трупа.

Ведя за собой жену, ворвался он к беку. Теперь бросились наперерез телохранители. Бек повел подбородком. Занесенные сабли послушно опустились.

Кто знает, что пришло в голову бека? Он приказал отвести пленников в отдельную юрту и содержать сорок дней — пока окрепнет новорожденный и очистится от скверны роженица. После этого срока, определенного самим шариатом, бек подарил супругам по скакуну и отпустил восвояси.

Позже, через много лет, когда он — с благословения аллаха — беспощадно расквитался со своими врагами и обидчиками и стал единоличным правителем этого края, направил он свое тысячекопытное войско в пустыню, против того племени, чьим пленником был когда-то. Оставалась еще неделя пути, когда вдруг увидел на берегу бурной реки отряд: воины в мохнатых бараньих шапках в знак покорности спешились и вонзили пики в песок.

Когда ханское войско приблизилось, трое из отряда вышли навстречу. В том, остробородом посередке, Повелитель признал бека.

Остановившись в пяти шагах, бек твердо произнес:

— Вот — Коран, а вот — сабля. Воля твоя. Хочешь — мы на Коране поклянемся в верности тебе. Нет — так бери саблю и руби наши головы. Мы против тебя оружия не поднимем.

До самой смерти бек остался одним из преданнейших и почтеннейших эмиров.

Первая жена покинула юдоль печали тридцати девяти лет отроду. В честь любимой и верной спутницы суровой жизни, без ропота разделившей все неимоверные тяготы, лишения, унижения и опасности, согревавшей его ожесточившееся сердце своей тихой и светлой любовью, одарившей его первенцом-сыном, он потом построил величественную мечеть.

Каждый раз при виде старшего сына Повелитель теплел душой. Вспоминались далекая, невозвратная молодость и незабвенная жена, так и не познавшая безмятежной жизни ханши. И отправил-то он любимого сына правителем в далекий край скрепя сердце. До сих пор, когда он представляет судьбу сына, томящегося, точно в изгнании, на чужбине под постоянным прицелом ненавидящего вражеского взора, холодная оторопь охватывает все его существо. С отъездом старшего сына он неизменно чувствовал себя одиноким и осиротевшим, все равно, находился ли среди многотысячного войска, или восседал на шумном, знатном пире, или отдыхал в кругу остальных

сыновей и ватаги внуков. И, кажется, только теперь он убедился в том, что у каждого — кто бы он ни был,— живущего под этим бездонным и равнодушным небом есть только один-единственный неизменный вечный спутник — одиночество.

Помнится, в предсмертный час покойница-мать, преодолевая недуг и немощь, сказала ему:

— Сын мой... ты достиг своего желания. Я же ухожу из этого мира в печали и горести. Ты был моим единственным сыном, как одинокое священное дерево в голой пустыне. Таким же одиноким я тебя и покидаю. Так вот, слушай. Не почитай трона своего выше своих башмаков. От холода и сырости он не спасет. Не думай, что роскошный дворец твой надежнее твоей кольчуги. И его стрела пронзет. Не считай, что твое войско неуязвимее твоего щита. И его глаз совратит. Не полагайся особенно на отпрысков своих, народившихся от разных баб. И они тебя предадут. Да будет тебе известно: много баб и наложниц не заменят одной жены. А ее-то у тебя и нет, сын мой. Бабы, с которыми ты делишь постель,— все равно, что кобылицы в одном табуне. Ребенок в утробе им ближе, чем ты на их чреслах. Сам знаешь: стригунок, окрепнув, начнет кусать табунного жеребца. Вот и берегись. Множеством сыновей не кичись. А то у матерого волка было много волчат, да выкусили они его из собственного логова, и околел он, старый, на холодном ветру. Не желаешь такой доли — чти не всех сыновей, а одного из них. Не трать понапрасну силы, желая угодить всем своим бабам, а почитай одну и заслужи ее веру и любовь. У отца ты был единственным сыном, потому он и передал так рано повод правления тебе. У тебя же сыновей много, и если ты не хочешь, чтобы твои щенки перегрызли друг другу глотки, не уступай трона никому из них до самой своей смерти. А лишившись власти, не околачивайся возле бабы, у которой от тебя много детей. Опираясь на них, она обесчестит тебя, унизит твое достоинство. Держись за бездетную. Униженная своей бездетностью, она сможет защититься от соперниц только тобой и потому будет преданно любить и почитать тебя до последнего часа...

Мать говорила шепотом, будто опасаясь, что кто-нибудь может их подслушать, говорила четко, крепко стискивая при этом руку сына, и он, вслушиваясь в мудрую речь, почувствовал оторопь. Высказав все, мать плотно

сложила бледные дряблые губы, отвернулась лицом, и в тусклых глазах ее, казалось, угасал, постепенно удаляясь в неведомое, теплый жизненный свет. И когда иссушенная хворью и старостью, мелко дрожавшая рука ее безжизненно упала на пышную перину, суровый властелин, покоривший половину мира, вдруг ужаснулся и растерялся, как сосунок, насильно отлученный от матери.

С тех пор каждый раз, возвращаясь из далекого похода, он вспоминал предсмертные слова матери.

Таким образом, теперешняя великая ханша — вторая жена Повелителя. Она из влиятельного богатого спесивого рода. Он к тому времени стал ханом, на гребне власти и удачи, забавлялся прекраснейшими наложницами со всего света, но чтобы обуздать гордыню и приторочить к своему седлу древний могущественный род, косившийся на него за то, что он не принадлежал ни к белой, ни к черной кости, а был как бы пегим, с расчетом взял себе ее в жены.

Дочь кичливого, честолюбивого племени, видя, как к ногам ее Повелителя падают одна за другой хоругви разных стран, все более привязывалась к нему. На слухи-кривотолки, исходившие от ее сородичей, она перестала обращать внимание. И сородичи, заметив крутые перемены в настрое единокровной дочери, также понемногу охладевали к ней. Отныне они охотнее обращались к самому Повелителю — своему зятю. Тот бесчисленные тяжбы и неукротимые прихоти чванливого рода разрешал и удовлетворял быстро и легко. Теперь же, когда само солнце и луна на небе с опаской взирают на его всесокрушающее копье, сородичи жены не осмеливаются задирать носы и предпочитают помалкивать о своем знатном происхождении, об исконной причастности к избранной белой кости.

Со временем они вовсе перестали упоминать своих досточтимых предков, а восславляли всюду и везде только своего зятя. Потом подросли ханские сыновья, стали участвовать в походах и выказывать удаль и отвагу, и хвастливые родичи жены превозносили уже не столько самого Повелителя, сколько его сыновей, говоря: «В жилах наших племянников все же течет кровь славных предков. Вот увидите, они и своего родного отца превзойдут!»

Великая ханша, народившая ему трех сыновей, с годами обрела достоинство счастливой матери и уже не смотрела, как прежде, льстиво в рот крутонравому супругу.

Более того, в последнее время она всех внуков держала при себе и проживала безвыездно в своем дворце, полагая, что Повелитель должен сам приезжать к ней, если, конечно, чувствует в том потребность.

Несколько лет назад, следуя наставлениям покойной матери, он женился на девочке шестнадцати лет. Повадками и статью она напоминала ему первую жену. Нежная, кроткая, небалованная, не познавшая отравы власти.

В последний поход он — по обыкновению — забрал старшую ханшу, оставив здесь, на родине, младшую. И вот она, юная ханша, в честь супруга построила башню. Самую видную и высокую из всех, что вознеслись над столичным городом.

Этот тихий, уединенный дворец, в котором хан проводил сейчас свой недолгий отдых перед новым походом, он подарил младшей ханше. На склоне лет он решил не разъезжать, как прежде, из дворца в дворец, а обосноваться здесь до конца своих дней.

Может быть, именно это возбудило ревность великой ханши? Под носом его пронеслась пчела. «Неуж-ж-жели не мог об этом сразу догадаться?» Листья над головой зашуршали, перешептываясь громче.

Он сам поразился своей неожиданной и такой простой догадке. В молодости мысли его были, пожалуй, резвей; они настигали цель мгновенно, точно молодая гончая, а не плутали, будто вслепую, вокруг да около.

Ну, конечно, самодовольная гордячка ханша, державшая мужа при себе, никак не одобряет теперь его уединения с юной женой. Даже когда он ставил мечеть в память умершей жене, великая ханша, помнится, долго хмурила брови. Если раньше ее постоянно терзала ревность из-за мечети, то теперь ее и вовсе сводит с ума новая величественная башня, сооруженная по воле молодой соперницы.

Чем еще, кроме сплетен о близких, может привлечь внимание к себе стареющая ханша? Она хоть россказнями пытается обратить на себя благосклонность мужа. Значит, и красное наливное яблоко — всего лишь черный знак ее душевной скаредности. А коли так, то нечего напрасно ломать голову. И, подумав так, он сразу почувствовал громадное облегчение, словно раздавил червя сомнения, точившего все эти дни его душу.

В эту ночь впервые за долгое время он спал спокойно.

И проснулся бодрым. После завтрака велел заложить повозку.

В золотисто-пестрой повозке в сопровождении конной свиты выехал Повелитель из дворцовых ворот в сторону новой, невиданной башни.

В душе он испытывал неприязнь, если не сказать — ненависть, ко всем дворцам и башням покоренных им стран, как, впрочем, и к золотым тронам и коронам врагов. Ему мало было сознавать себя могущественнее всех правителей на свете, он хотел, чтобы и столица его была краше и богаче всех столиц. И потому он из каждого похода привозил тысячи пленных мастеров-умельцев.

Каждый раз, возвращаясь из дальних стран, он придирчиво осматривал свою столицу. Сейчас он мог быть спокоен: город вырос, могуч и прекрасен, и из виденных Повелителем городов нет ему равных.

Особенно довольным он остался в последний раз, когда младшая жена, чутко угадав настрой его души, построила в честь супруга башню, дерзко и гордо устремившуюся ввысь, к небу.

И место для нее выбрано удачно; издалека и со всех сторон сразу бросается в глаза. Открытая взору местность. И все другие минареты, достойные соперничать красой, находятся на расстоянии.

Вот она, вся голубая, приветливо улыбнулась ему. Душа светлеет, радуется при одном ее виде. Даже бесцветному, вылинявшему в знойную пору небу башня придает необыкновенную голубизну, и над нею небесный купол кажется чище и прозрачней.

Чем ближе, тем заметнее возвышалась башня. И уже не такой улыбчивой она становилась, а строгой, замкнутой. Вблизи, у подножия, это впечатление усилилось: башня отрешенно и сурово подпирала небо.

Противоречивые чувства, все эти дни попеременно овладевающие ханом, вдруг разом умолкли. Гордая башня, во всем своем блеске возвышавшаяся перед ним, словно подавила и развеяла все сомнения. То, что такого благолепия не было ни в одном другом городе мира, приятно тешило ханское самолюбие. Будь оно в чужом, вражеском городе, многочисленная услужливая свита с топорами и ломами давно бы уже набросилась кромсать, рушить каменное чудище, надменно взирающее на грозного владыку

вселенной. На этот раз все нукеры застыли с разинутыми от изумления ртами.

Отныне этой башне суждено глядеть свысока на весь необъятный покоренный мир, точно гордый ханский стяг,— символ его всемогущества.

Великий Повелитель углядел в этом минарете нечто свойственное ему самому: башню видать на краю земли, и она милостиво манит, влечет к себе всех, но — когда окажешься рядом — становится строгой и недоступной, как сам Повелитель.

Невозможно оторваться от башни. Он стоял перед ней завороженный, точно пылкий юноша перед прелестной и загадочной в своей красе женщиной.

Сейчас он испытывал необыкновенную радость, близкую к восторгу, и признательность ко всему миру, достойно восславившему его имя и честь,— к голубой башне, придававшей красу его могуществу, к прозрачному небу, чистым куполом нависавшему над ней, к мастеру, в течение семи лет изо дня в день по крупице, по кирпичику, без устали воздвигавшему такую громаду, к юной супруге, преданным женским сердцем догадавшейся о подавленности и усталости его души после изнурительного похода и подготовившей дивный подарок, глядя на который, дряхлый дух обретал вдруг орлиную мощь и порыв.

Стоило немного отдалиться, как лик башни постепенно теплел. Голубые плиты, вблизи холодно и даже сурово мерцавшие глазурью, на расстоянии начинали улыбаться. Чем дальше, тем труднее было оторваться от этого чуда. Гордая красавица, вблизи не удостаивавшая тебя даже взглядом, вдруг — издали — таинственно-завлекающе посмеивалась и властно притягивала к себе. Зачарованный, поневоле кружишься вокруг.

При внимательном взгляде можно было убедиться в том, что в башне преобладают не мужская доблесть и достоинство, а сдержанная гордость, скромная благосклонность и душевная ласка, свойственные женщине. Сколько их — сказочных дворцов и минаретов — видел-перевидел он за долгие годы близких и дальних походов, но такой таинственной красоты, сотворенной чудодеем, встречать не приходилось. Необычное обаяние башни как бы околдовало взор и душу Повелителя, и он никак не мог понять рассудком тайну такой магической красоты.

Башня была воплощением истосковавшейся по возлюб-

ленному женщины, которая оставалась неприступно-глухой к тем, кто жаждал ее близости и благосклонности, и кротко улыбалась единственному, желанному, находившемуся вдалеке, звала его мольбой и тоскою, суля радость и ласку.

Зодчий, выстроивший эту башню, проникновенно передал неизбывную тоску и любовь юной ханши к своему возлюбленному, так долго не возвращающемуся из далекого похода...

Вблизи башня ослепляла яркой, броской красотой, а постепенно удаляясь, окутывалась голубым маревом, точно погружалась в печаль, от которой щемило сердце.

Она выражала немую мольбу: «Неужто покидаешь меня?... Не уходи... Останься... Ради всего святого останься... побудь со мной... со мной...»

«Стой! Вернись!»

Неожиданный, как окрик, властный зов грубо оборвал все думы, точно поразил его в самое сердце. Повелитель вдруг резко выпрямился, оттолкнувшись спиной от мягкой подушки за сиденьем, но промолчал...

До самого дворца он старался больше не смотреть в сторону башни. Он не мог сейчас предположить, на какие лады истолкуют завтра праздные нукеры его неожиданный порыв, и потому поспешно откинул голову на спинную подушку и прикрыл глаза.

Неспокойно было на душе, отчего-то мутило, и он не притронулся к обеду. Только отведал ломтик дыни, охлажденной в меду, и от приятного холодка тошнота исчезла. На этот раз яблока не было. У служанки — он это сразу заметил за легкой накидкой на ее лице — глаза были подчеркнуто вежливо опущены долу... Он понял: сегодня она его уже не испытывала...

Когда служанка вышла, он уставился на монотонно сочившуюся прозрачную воду в хаузе, выложенном посередине дворцового зала из бурых, розовых, голубых мраморных плит, и задумался... Глядя на капли, похожие на слезинки и бесследно исчезающие где-то в глубине бассейна, он чувствовал, что сердце смягчается, оттаивает. Плотный наст суровости и жестокости, намерзший в душе за долгие-долгие годы, вроде рыхлел, крошился, от каких-то неведомых ему нежных чувств, напоминавших ласковый весенний ветерок, и Повелитель весь обмяк, поддавшись печали одиночества. В нем вдруг неожиданно проснулась

жалость. Он и сам еще не мог понять, чего ему стало жаль: то ли этой воды, зажатой в каменные тиски и потому исходившей безутешными слезами, то ли сироту-башню, оставшуюся там, в зыбком голубом мареве... Что-то чистое и нежное, охватившее всю его душу, напомнило вдруг снова младшую ханшу. Да, да... она, бедная, в облике этой башни передала ведь не только свою многолетнюю тоску по любимому, нетерпеливое желание скорой встречи и неуемную страсть, обжигавшую ее невинное существо, но и намекала на свое безысходное одиночество в среде чуждых ей людей, на обиды, которые приходилось терпеливо сносить, на подавленный дух, на отчаяние, вырвавшееся в безмолвном крике: «Приди же... услышь меня... пойми... защити!» Разве сочетание надменной холодности и кроткой нежности, гордости и покорности, тоски и страсти не означает всеобъемлющего понятия — любовь?!

Уж кто-кто, а он прекрасно знает, что это такое... Когда в те далекие годы скитания измученная жена-покойница, стыдясь, бывало лишь робко, по-девичьи прикасалась к его плечу и невнятно просила: «Сил моих больше нет... поддержи чуть-чуть...», он ясно видел в ее усталых глазах причудливый клубок всех этих человеческих чувств.

Это же сокровенное выражение — точь-в-точь, как у матери,— он заметил в глазах старшего сына, смущенно скрываемых под густыми бровями, когда тот перед отъездом в далекую страну едва ли не тайком зашел проститься с отцом.

И вот сегодня, отъезжая от голубой башни, ему вдруг на мгновение померещилось все то же редкое, неопределимое человеческой речью священное чувство, которое приходилось ему видеть в глазах двух самых дорогих на свете людей. Казалось, теперь он догадывался о тайне, заключенной в красоте той башни. Ему неодолимо захотелось увидеть молодую ханшу, увидеть сейчас же и заглянуть... нет, смотреть долго-долго в ее безгрешные, по-детски преданные глаза.

Он почувствовал вдруг дрожь в сердце. Давно уже не испытывал он такого трепета, такого приятного волнения. И он был сейчас поражен — то ли этим необыкновенным своим состоянием, то ли тем, что мог столько лет прожить так глухо, так немо, не испытывая ничего подобного. Одно лишь желание властно охватило его — скорее, тотчас

увидеть младшую ханшу. Он даже не мог сейчас отчетливо представить ее себе. Не так уж и часто удавалось оставаться с ней наедине. А на людях, понятно, Повелителю не положено заглядываться на собственную жену... Кажется, большие, черные, как смородина с влажным блеском глаза придавали ее худощавому личику выражение кротости и печали; нос точеный, маленький, с чуткими ноздрями; подбородок круглый, нежный, и губы не тонкие, которые обычно не в состоянии скрывать горячее желание, и не толстые, чувственные, а в меру полные, пухлые, податливые. Словом, она обладала внешностью, как принято считать, женщины стыдливой, сдержанной, скромной и верной в любви, которая не обжигает, не ошеломляет дикой, необузданной страстью, а ласкает и согревает ровным душевным огнем, не пьянит колдовскими чарами и дразнящим смехом, а завораживает томной, благосклонной улыбкой.

Именно любовь такой женщины воплотила в себе грандиозная башня. Неспроста, видать, сам пророк Соломон, нашедший путь к людским сердцам через сердце возлюбленной, зная толк в любви и многоликой женской красе, называл ангелоподобными тех, кто невинной нежностью и кроткой женственностью умел без зримых пут связывать мужчин.

И еще говорят: пророк Соломон имел обыкновение наслаждаться вкусом и ароматом сладкого вина, лишь прикасаясь к нему губами. Мудрец понимал, что сладость чувств в их умеренности. А он, Повелитель, в своих бесконечных походах не о наслаждении плоти и духа заботился, а довольствовался случайными и грубыми утехами.

Выходит, прожив жизнь, он так и не познал радости выпавших на его долю власти и могущества. Сердце остыло рано и не искало других наслаждений, кроме лицезрения падавших к его ногам вражеских знамен и золотых корон покоренных им владык.

Выходит, власть и могущество, к которым он стремился, корона на голове и трон под ним лишили его многих человеческих радостей, связав по рукам и ногам. Такова тяжкая участь властелина. Сейчас он не может даже вызвать к себе младшую жену, которая находится с ним рядом, в одном дворце. Изведавший за свою жизнь немало обид и унижений, уже привыкший к суровости, он не подпускал особенно к себе даже членов своей семьи, а жен

навещал только ночью. Вообще встречи с женами в дневное время не были приняты, за исключением отдельных случаев, вроде приема послов, совещания с советниками или семейных бесед с участием всех детей и внуков.

Теперь этот обычай, введенный им, невидимыми путами связывал его самого. При всем своем желании он был лишен возможности вызвать ханшу к себе или навестить ее в своих покоях. Сейчас, когда старшая ханша подала ему явно предостерегающий знак, а слуги, наверняка осведомленные во всем, подстерегают каждый его шаг, нетрудно себе представить, какие вспыхнут кривотолки, если он посреди белого дня отправится вдруг на свидание с младшей женой...

Он нетерпеливо дожидался вечера. Время, обычно такое скоротечное, вдруг, как назло, поползло улиткой. И солнце неподвижно застряло в зените.

Не находя себе места в одиноком зале, Повелитель снова отправился на прогулку в сад. Он добрел до любимого родника, однако не усидел и здесь, чувствуя в мыслях разброд и смятение.

Бесстрашный в бою, на ратном поле, он сейчас не решался подходить к постели собственной жены и, точно неопытный жених, смутно предвкушающий радость первой брачной ночи, с нетерпеньем и тайной боязнью ждал, ждал, когда, наконец, закатится солнце и наступят желанные сумерки.

Тени от деревьев постепенно удлинялись и уже начали сливаться. Ранние сумерки поплыли по саду. Повелитель вернулся во дворец. От долгого ожидания, должно быть, в сердце опять закрались тревога и сомнения. В непомерно огромном зале, так ослепительно ярко освещенном светильниками, он вдруг вновь затосковал, остро ощутив свое полное одиночество в этом безбрежном мире. Будь он на поле брани в окружении грозно ощетинившихся копьев, не почувствовал бы страха даже при виде летящей на него вражеской конницы. Будь он молодым и пылким джигитом, бросился бы, не раздумывая, в опочивальню ханши. А теперь он вышел из того возраста, когда слепо идут на поводу бесшабашного порыва. К тому же не к старой спутнице своей он стремился, чтобы поговорить по душам, развеять тоску и печаль, а к почти незнакомой — хотя и жена — юной особе. Ведь младшая ханша, точно одна из многих безымянных наложниц, с которыми он лишь пос-

пешно удовлетворял мужскую потребность, не говорила ему еще ни единого слова. И вообще, кажется, уже тридцать лет прошло с тех пор, как Повелитель ни с кем не делится сердечной тайной. И о чем он может сейчас говорить с младшей ханшей? Что они скажут друг другу — по существу чужие — мужчина и женщина? Верно: совсем еще молоденькая ханша — его жена. Верно: она не посмеет перечить ни одному его слову, ни одной его прихоти, как и весь этот город, как каждый дом и каждый человек в его столице. Вся страна падает перед ним ниц. Половина мира в его власти. Но ни с одной живой душой, обитающей в этой половине мира, он не может поговорить по душам, искренне и откровенно. И младшая ханша — всего-навсего одна из этих многих безголосых его подданных. Оба они, точно пленники, уже несколько дней томятся в этом одиноком дворце. Однако она, жена, не может решиться и прийти к нему, мужу! Разве не сущий ад — этот мир?! И телом, и душой принадлежат ему все живые существа половины вселенной, как говорится, они и на его ладони, и в его кулаке, однако, все, все, как один,— чужие, чужие... Все ждут от него только высочайшего повеления. Он и раньше хорошо знал, что все в покоренном им мире,— кроме, конечно, его самого — живут с невидимой петлей на шее, именуемой властью, и покорно барахтаются в тенетах его могущества. Самого-то себя он считал свободным от этих тенет. Но сегодня с горечью убедился: невидимая петля, захлестнувшая горло других, спутала незаметно и его руки-ноги. Раньше люди страшились его взгляда и его слова, теперь и он стал бояться людского глаза и людской молвы...

Вот он, крадучись, выбрался из своей опочивальни. Таинственные путы, удерживавшие его до полночи, и теперь еще не развязались, а как бы продолжали болтаться на ногах.

И узорчатые мраморные плиты на потолке, и сурово молчавшие глухие стены по сторонам, и стылые тени, укрывшиеся за колоннами, и тугой ворс ковров, податливо стелившийся под ногами, и даже светильник в его руке — все-все казалось, пристально выслеживало каждый шаг Повелителя; тысячи жадно шныряющих из-за углов глаз и неистощимых на сплетни, но пока лишь невольно и выжидающе прикушенных губ с великим нетерпением — так мерещилось ему — ждали, когда он переступит порог

опочивальни младшей ханши, чтобы тут же с тайным злорадством и холопским усердием растрезвонить об этом по всему свету.

Тьма-тем людских голов принадлежат ему, но только не их мысли. Тьма-тем языков в его власти, но только не их речи. Один он не в состоянии уследить за каждым из этой тьмы, но все они вместе не спускают с него — одного — глаз. Каждое движение, каждый шаг толпы ему неведомы, но его каждое движение, каждый шаг на виду у всех.

Вот и сейчас в этом одиноком дворце, не смыкая глаз до полуночи, неустанно следят за ним.

Вот два евнуха-привратника — белобородые, красноглазые, одряхлевшие — приложив руки к груди и сломившись в поклоне, молча расступились перед ним. Похожие на живые мощи, они всем своим обликом выражают покорность и отрешенность и глаза опустили долу, но едва он пройдет мимо, они посмотрят друг на друга с двусмысленной ухмылкой.

Повелитель весь напрягся и резво, точно кинжалом ударил, обернулся: и впрямь оба евнуха за его спиной уже подняли было головы, но обожженные ледяным взглядом Повелителя поспешно склонились и вновь уставились в пол.

Тяжелая дверь упруго отворилась и, захлопнувшись за ним, будто что-то пробурчала дубовым косякам.

Повелитель вступил в еще одну просторную и освещенную посередине комнату. В углу, где зыбился сонный сумрак, кто-то закопошился, скользнул тенью. Распрямляя затекшую поясницу, неторопливо поднялась старая служанка, приставленная к младшей ханше. Все ханские жены, поступая к нему во дворец, проходили через ее руки. Она была неизменной служанкой поочередно всех его младших жен. И не только служанкой, а советчицей, пестуньей... Эта старая женщина, близко не подходившая за свою жизнь к ханскому ложу, обучала неопытных таинствам любви и искусству нравиться Повелителю. Хорошо сознавая исключительность своего ремесла, она держалась не в пример другой прислуге вызывающе гордо. Ходила с достоинством, говорила важно. И сейчас, заметив властелина, не засуетилась, не засеменила угодливо навстречу, а пошла степенно, стараясь унять старческую дрожь в коленях. Пожалуй, и казначей, верный страж всех ханских

драгоценностей, не позволял себе такой вольности. Старуха свысока смотрела не только на всех дворцовых слуг, но покровительственно обращалась с ханшами и даже с самим Повелителем. Старуха, должно быть, вообразила себе, что без ее услуг он не найдет пути к своим женам. Особенно спесивой становилась она, когда он возвращался из далекого похода. Вот и сейчас поплыла она навстречу, волоча по полу подол серого атласного платья и плыла через весь длинный зал, словно считая в уме каждый шаг.

Все заметнее вырисовывались черты ее серого, в тяжелых складках лица. Сначала четко обозначились кустистые бурые брови. Потом — длинный, с горбинкой нос, хищно спускавшийся на дряблые, истонченные губы. Водянистые, точно пеленой подернутые, дремуче-клейкие глаза испытывающе долго,. будто не узнавая, выставились на Повелителя и отвернулась лишь тогда, когда он нахмурился.

Путаясь в длинных, пышных рукавах, она открыла перед ним дверь.

Повелитель, стараясь скорее избавиться от липучего взора старухи, вошел в опочивальню младшей ханши.

Здесь царила сутемень. Он не сразу разглядел ложе ханши. Оно темнело, чуть возвышаясь, в правом углу. Он сделал шаг вперед. На истерзанной постели, среди помятых подушек, вдруг что-то шевельнулось, и одеяло странно взбугрилось в двух местах.

Властелин вздрогнул. Бугры под одеялами замерли. Глаза Повелителя лишились прежней зоркости, и чем пристальнее вглядывался он сквозь сумрак в угол, где находилось ложе ханши, тем заметнее кружилось, мельтешило все вокруг. Шевеление под одеялом возобновилось; в непристойных содроганиях что-то вздымалось посреди развороченной постели и тут же опадало, вдавливалось в пышные перины. Он ступил еще немного вперед. Под одеялом ни признака жизни. Будто сама ханша куда-то бесследно исчезла.

Сумрак натекал вокруг широкого ложа, становился гуще. Здесь струились причудливые запахи цветов, духов, розового масла и молодого разгоряченного женского тела, возбуждая угасшие в дремучих уголках заскорузлой души упоительные чувства. Повелитель явственно ощутил, как напряженные, будто стальная струна, жилы его от этого дурмана приятно ослабевали, смягчались, точно засохшая

шкура на теплом пару. Слабость ударила в ноги, прокатилась по животу, и он боялся упасть, если только двинется с места.

В затуманившемся взоре его опять промелькнуло что-то судорожное, белое над изголовьем. Сердце его сжалось, а сладкий дурман, охвативший его расслабленную плоть, мигом исчез, испарился. Из-под подушек и одеял с края ложа вскинулись, словно в безумии, тонкие оголенные руки. Они изломанно заметались в сумраке, что-то ловили в воздухе и, точно подбитые, упали вдруг на скомканное одеяло и лихорадочно, до боли, до хруста сплелись пальцами. Потом с какой-то мимовольной страстью руки смяли мягкое, точно невесомое, одеяло, притянули его к себе, стиснули, и пышный сугроб постели, сдавленный в тисках объятий, осел, подтаял. Из-под края одеяла он увидел ее лицо, пылавшее, как в жару. Пуховая подушка громоздилась в стороне у изголовья. Головка ханши неестественно завалилась набок, тонкая шея напряженно вытянулась. Густые волосы рассыпались, наполовину закрыв чистый широкий лоб. Веки смежились. Опухшие губы горели, разлепились. Рот болезненно скривился, жадно ловил воздух. Зубы хищно оскалились, и когда она их стискивала, казалось, слышался скрежет. Эти руки, сдавившие в беспамятстве одеяло, этот пересохший, скошенный рот говорили о неодолимой и ненасытной страсти, охватившей юную ханшу. Прерывистое дыхание женщины, до безрассудства доведенная низменным желанием даже во сне, больно кольнуло слух Повелителя. Этот хриплый, непристойный стон он слышал впервые подростком. Уже тогда избегавший шумные мальчишеские ватаги, он однажды оседлал коня и поехал к лощине под крутым горным увалом, где ставил силки на ловчих птиц. В это время от небольшого зимовья у подножия увала направилась в лощину женщина. Она шла за водой, и кувшин на ее плече размеренно покачивался, и колыхалась на ее лице легкая просторная паранджа. Едва женщина скрылась за ущельем, на тропинке, круто спускавшейся по каменистому склону, показался густобородый всадник на гривастом вороном коне.

Мальчик заметил и женщину, и всадника, но они его совсем не интересовали. Он был всецело поглощен ястребком, чертившим замысловатые круги над склоном увала. Вдруг снизу, из лощины, донесся сиплый женский крик. Мальчик схватил лук и, прыгая по камням, с выступа на

выступ, понесся к ущелью. Раза два он споткнулся, упал, больно ушибся, содрал кожу на ладонях. Голос женщины слабел, доносился все реже, и мальчик, перепуганный, бежал из последних сил. Наконец, он добрался до крутого обрыва, под которым находилось ущелье, изготовился прыгнуть, как чутким слухом уловил не крик, зовущий на помощь, не отчаяние, не жалобный плач, а неслыханное доселе, глухое, врастяжку, с придыханием стенание. Так стонут не от боли, а от неведомой сладостной муки, от наслаждения, так истомленно выстанывает овца, от избытка нежности к ягненку-сосунку спуская молоко... Мальчик брезгливо пнул камень, скатил его вниз, в ущелье, и побрел назад к своим силкам.

Некоторое время спустя он увидел, как верзила-всадник проехал ручей на дне лощины и поднялся по крутизне на противоположный берег.

А потом из ущелья показалась женщина и пошла по белеющей излучистой тропинке легкой, танцующей походкой, играя упругими бедрами. Кувшин, наполненный водой, мерно покачивался на ее плече.

Над одиноким зимовьем на краю лощины вился к полинявшему летнему небу еле заметный сизый дымок...

Мальчик почувствовал досаду. Пораненные ладони горели. Непонятная зудящая дрожь, щемящая боль, более ощутимые, чем в кровь содранные ладони охватывали его всего, когда он вспоминал тот поразивший его случай.

То давнишнее ощущение вдруг вспомнилось сейчас Повелителю. Такой же щемящий зуд прокатился в его груди.

Он с отвращением отвернулся от истерзанного ложа ханши, точно увидел что-то омерзительное, гадкое.

Он не помнил, как выскочил из опочивальни. Не обратил внимания ни на старуху, медленно поднимавшуюся в углу, ни на евнухов-привратников. И только пройдя через все комнаты ханши, спохватился: а ведь теперь прислуга начнет бог весть что болтать по поводу его излишне короткого ночного свидания с юной женой. От этой догадки в груди его заныло. Он пошел еще быстрее, и чудилось ему сейчас, будто собственная опочивальня находится чуть ли не на краю света.

Усталый, взмокший, добрался он до постели. Ему все продолжало казаться, что за ним из всех углов несуразно огромного зала со злорадством следят сотни невидимых глаз. Вокруг ни звука, кроме тихого бульканья воды, тон-

кой струйкой сочившейся в хаузе. И воздух будто загустел от духоты и мрака. Повелителю стало трудно дышать. Он направился к хаузу, но было нестерпимо больно смотреть сейчас на покорную воду, заключенную в камни, все чудилось, что гнев, сковавший грудь железным обручем, вдруг обернется непрошеной, ненужной жалостью. Повелитель подошел к окну, выходившему в сад. Посредине круглого дворца были разбиты пышные цветочные клумбы, а в хаузе бил фонтанчик. Едва Повелитель подошел к окну, как под бледными лучами заходящей луны — то здесь, то там — суетливо скользнули в укромные углы сада какие-то тени. То были сарбазы из охраны и ночные сторожа, собравшиеся вместе и придумывавшие себе какую-то забаву от скуки, но при виде в неурочный час властелина у окна, поспешно разбежались по своим местам.

Луна склонилась к горизонту. Неверный свет ее освещал лишь хауз на дворцовой площади и противоположные окна. Та сторона дворца, где находились ханские покои, погрузилась в густой мрак.

Тихо-тихо. Царила ночь, лукавая, полная тайн. Ночь, сомкнувшая уста, закрывшая глаза. Все бесконечные дневные хлопоты и суета сгинули разом, и наступила власть тишины и мрака. Пора воровских дум, воровских поступков, воровских чувств. Пора дьявольского наваждения, когда весь мир точно забирается под душное покрывало. Пора сокровенных желаний, буйства плоти и похоти, торопливо сбрасывающей непрочные путы дневного стыда. В эту пору каждой живой душой правит искуситель-шайтан. Бесчисленные невидимые твари, порождение неистребимой человеческой скверны, хоронящиеся от дневного божьего света и строгого людского глаза, под покровом ночи ликующе выползают из всех щелей. Человек ведь только днем — человек, а ночью его трудно отличить от обыкновенного животного. Ночью он храпит или предается низменным утехам. И только утром, с первыми лучами солнца, с пробуждением души в нем вновь умирает животное и просыпается двуногое существо, именуемое человеком и обладающее свойством стыдиться дневного света и бояться взора и молвы себе подобных. Но каждое из этих двуногих существ обладает спасительной ночью, когда оно может отключиться от осточертевшей дневной суеты, сбросить тягостные путы напряжения и предаться одиночеству и покою, не видя чужих глаз и не слыша чужих речей.

У него, Повелителя, и таких ночей нет. Словно при свете ярко пылающего костра сидит он один-одинешенек даже темной ночью. Воровские глаза, затаившиеся по углам тьмы, видят его отовсюду; ему же совершенно неведомо, что происходит вокруг него за черной завесой ночи. Дневных человеческих забот на нем ничуть не меньше, чем у других, однако он напрочь лишен коротких ночных наслаждений.

Какая все-таки эта мука — бодрствовать душной ночью в одинокой пустой опочивальне в окружении ползучих тварей и двуногих скотов. Разве не рай, по сравнению с этим,— тревожные походные ночи, пропитанные запахом изопревших портянок? Разве не ангелы — безмятежно храпящие в обнимку с копьем и с седлом у изголовья храбрые воины в ночь перед боем, не ведающие о том, суждено ли им завтра остаться в живых или лежать на поле брани? Разве не истинное наслаждение — чуткая дремь или напряженные, ночь напролет, думы о предстоящей сече? Отчего же эти безумцы так спешили домой?! Что они нашли здесь, у родного очага?!

Мысли Повелителя неожиданно оборвались. Так полая вода, вырвавшись вдруг из привычного русла, в стремительном разбеге ударяется о крутой берег. Вспомнились ему опочивальня жены, откуда он только что вернулся, и непристойные стенания ханши. И в тот же миг отвратительная дрожь вновь охватила его, будто все эти бесчисленные ночные твари и ползучие гады, только что мерещившиеся ему во всех углах, поползли по нему от ног к груди.

Он тут же отвернулся от окна, подошел к хаузу. Начал пристально вглядываться в знакомые вещи, словно желая удостовериться, не во сне ли все это с ним происходит. Он увидел свое пустовавшее ложе. Почувствовал на лице прохладу воды в хаузе. Поднес к позолоченной трубочке, торчавшей из глыбы мрамора, палец и прозрачная ледяная вода, сочившаяся из неведомых недр земли, точно ужалила его.

Он вздрогнул, весь подобрался.

— Боже милостивый... выходит, это красное яблоко...

Он вслух проговорил эту фразу и осекся, словно испугавшись, что кто-то мог его подслушать. Жуткая догадка вдруг мелькнула в голове, и он испугался, старался не додумывать ее, однако рой навязчивых подозрений и тре-

вог обрушился на него со всех сторон, не давая увернуться пугливой мысли. И она, бедняга-мысль, словно кляча с истершимися копытами, робко побрела по каменистой тропе, выщербленной бесконечными вопросами, и окуналась в густой клубящийся туман сомнений.

Совершенно очевидно: старшая жена намекает на младшую ханшу. Бабы-соперницы, ослепленные взаимной неприязнью... Мысль резвой рысцой выбралась на привычную колею, однако неожиданный вопрос встал ей поперек дороги и схватил за повод... «Ну, конечно, так... Именно так! Разве не собственными глазами я видел только что, как она, раскинув объятия, страстно звала кого-то и даже отдавалась в безумии? От чего еще, как не от бурных мужских ласк, от истомы млеет молодая, еще не познавшая материнской любви женщина?..»

Но кто он, этот мужчина, возбудивший в ней сладострастие? Может, он сам, ее супруг? Нет, не-ет... это исключено. Он не мог в ней наивной девочке, растравить неуемную жажду любви. За две-три ночи, проведенные на ханском ложе, он, опытный мужчина, не заметил в ней, робкой и стыдливой, ни малейшего намека на необузданность желаний. Значит, во сне она так страстно возжелала другого. Другого! Сердце Повелителя больно кольнуло. Он опять явственно ощутил свое полное одиночество в этом недобром мире, и от мимолетной жалости к самому себе наст на душе, смерзшийся камнем, точно стронулся. Но тотчас подумалось: кто перед кем в обиде? Кто кому сделал больнее? И утишившийся было глухой гнев вновь всколыхнулся.

Какой наглец осмелился переступить через его могущественный дух и позариться на священное ханское ложе?! Разве кто-нибудь в подвластном ему мире может посягнуть на то, что принадлежит одному Повелителю? Разве не сопровождают его в походах все мужчины, достойные женской благосклонности? Разве оставался здесь хоть кто-нибудь, кого бы могла удостоить вниманием юная ханша?

Он с усилием укротил мстительное желание — так голодный беркут набрасывается на добычу — и принялся спокойно обдумывать ответ.

Кого же могла встретить молодая ханша, пока ее супруг находился в походе? Те, что оставались в ханском

дворце, были примерно в его же летах. Вряд ли среди них кто-то способен так распалить молодую женщину.

Но кто он, кто, этот счастливый безумец, сумевший найти дорожку к сердцу его младшей жены и заронить в ней такую страсть, что она грезит им и наяву, и во сне?

Мысли, растревоженные, взбаламученные, ревниво обшарили всю округу и опять вернулись на исходный круг. От этих назойливых и неуловимых тревог закололо в висках. Тело медленно наливалось тяжелой, равнодушной усталостью, и не было уже желания следовать за верткой, все время ускользающей мыслью... В самом деле, стоит ли из-за любовных томлений спящей молодой женщины изнурять себя ревнивыми догадками? Мало ли что может померещиться во сне или в бреду? А может, приснился ей не кто-нибудь, а именно он, ее Повелитель? Могла же она просто соскучиться по нему за эти долгие годы разлуки и истомиться по сладким ночам на опостылевшем от одиночества ханском ложе? Сколько дней они живут рядом, в одном дворце, сколько ночей она, должно быть, напрасно ждет его, исходя слезами от тоски и обиды?! И вот, наверное, вконец извелась, исстрадалась и забылась в тяжелом, как больной бред, сне. И почудилась желанная любовь, явилось ей, возбужденной постоянными думами о нем, видение в облике долгожданной страсти...

Если бы она не истомилась по нему, разве приказала бы построить башню, которая привела его сегодня в восторг и умиление? Разве она, горделивая голубая башня, не воплощение возвышенной любви?.. Любовь...

Счастливая и легкая догадка, только что сбросившая путы сомнения, тут словно вновь ударилась и разбилась об острую скалу, именуемую любовью.

Да, да, совершенно нетрудно разглядеть в голубой башне выражение яркой, неистребимой любви. Это видно сразу и в каждом кирпичике. Но чья эта любовь? И к кому она обращена? И кого изображает башня: то ли преданную жену, с мольбой зовущую запропастившегося в походах возлюбленного супруга, то ли любвеобильную неверную красотку, издалека манящую любовника?

Разве не смотрел он сегодня долго-долго на нее, не в силах отвернуть взор? И разве не звала чудо-башня его к себе? Чью же любовь воплотил зодчий в своем творении? Что он хотел показать? Если тоску женщины по далекому мужу, то почему при приближении башня обретает над-

менный и холодный вид? И почему она вновь манит, не отпускает, едва от нее удаляешься? Выходит... выходит, зодчий изобразил вовсе не тоску ханши по отсутствующему мужу, а жар своего сердца, свой порыв, свою душевную тягу к ней!.. Свою неодолимую страсть, свою любовь! Да, да, поистине так! В этом и заключена вся тайная тайн голубой башни.

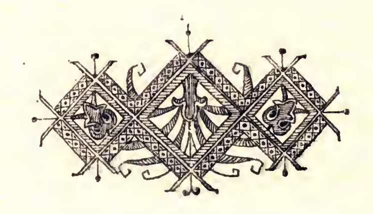
Повелитель еще не знал, радоваться или огорчаться так внезапно и просто возникшему разрешению всех его мучительных сомнений и вопросов. Пелена точно спала с его глаз. Страшная тяжесть, разливавшаяся по всем жилам, сразу исчезла.

Отгадка найдена, теперь нужен бесспорный свидетель, очевидец. И его найти нетрудно. Достаточно расспросить старшую жену: все без утайки выложит. Достаточно заговорить с той же служанкой: ничего не утаит. Даже евнухи-привратники и те наверняка кое в чем осведомлены. А уж кто определенно и безошибочно знает все — это старший зодчий. Весь вопрос теперь в одном: кого из них следует вызвать и допросить?

Повелитель приложил ладонь ко лбу и задумался. Но теперь мысли его текли не вяло, не вразброд, как до сих пор, а стремительно, окрыленно. И опасливые сомнения о возможном уроне ханскому достоинству и чести в случае необдуманных и скоропалительных поступков он тотчас развеял решительно и без труда. Он ведь прекрасно знает слабые места всех подозрений, так к чему же о том еще расспрашивать и говорить во всеуслышание?! К чему искать каких-то очевидцев? Следует сразу хватать за руку подозреваемого! А те, до которых и дошли кое-какие сомнительные слушки, уж сумеют, опасаясь ханской кары, держать язык за зубами. Промолчат, будто им глотки песком забили. Один только он, Повелитель, властен развязать им языки. Значит, он вызовет к себе самого мастера, построившего голубую башню, и допросит его. Из его собственных уст услышит таким образом доподлинную правду — подтверждение или отрицание своих домыслов и подозрений. Пусть только наступит рассвет, и Повелитель отправит гонца за мастером. А может, лучше всего отправить за ним старшего зодчего? Наверняка это самое верное... Ведь еще неизвестно, что откроется на том допросе. В случае чего старший зодчий весьма может пригодиться...

Повелитель встал. Он только сейчас заметил: в окно струился зыбкий свет. Занимался новый день. Сизая пыльца мерцала в зале. Казалось, и хауз перед ним, и сонная вода застыли, густо покрывшись золотисто-серым налетом, словно кучкой холодного, невесомого пепла под таганом. Чуть-чуть коснись только, и все рассыплется, разлетится в прах.

В глубокой задумчивости стоял Повелитель...





Часть вторая

МИНАРЕТ

I

Надо же было такому случиться!.. Сумей он себя в тот миг пересилить и подавить неуместный кашель, чинная ханская свита, на почтительном расстоянии осматривавшая мечеть, наверняка прошла бы мимо. Но попутал черт: ни с того, ни с сего вдруг запершило в горле.

О, нет... отнюдь не «вдруг»... Поджилки его затряслись, когда до него дошла весть о том, что сам Повелитель соблаговолил сотворить намаз в новой мечети. Еще больше растерявшись оттого, что, словно мальчишка, выдал свой тайный страх, он покосился на обступивших его мастеровых и заметил на их обычно хмурых лицах неопределенно-зыбкое выражение — нечто размягченно-среднее между радостью и боязнью. И только немногим, кто был уже в годах мудрости, удавалось сохранить сдержанность и достоинство. Они принялись закручивать кончики усов, как бы говоря: «Что ж... так да и будет!» И при этом в глубине их врачков вспыхивали затаенно-лукавые искорки. Молодым же было неведомо, как следует относиться к подобной вести — то ли ликовать, то ли огорчаться— на побледневших лицах застыло замешательство. Он, зодчий, испытывал странный озноб каждый раз, когда по утрам во двор медресе неподалеку въезжала пестро-золотистая повозка. В то мгновение из сотен глоток рабочего люда, копошившегося на строительных лесах от подножия до самого верхнего купола, дружным вздохом неизменно и разом вырывались одни и те же слова: «Вон сам приехал!»

И тогда зодчему чудилось, что эти три слова, исторгавшиеся одновременно из стольких грудей, раскалывая утреннюю прозрачную тишь, докатывались до ушей властелина, степенно выбиравшегося из крытой повозки. И весь день он невольно взглядывал на медресе. «А вон и сам смотрит!..» Этот благоговейный шепот, исходивший от крохотных фигурок на голубом покатом куполе, явственно доходил до зодчего, стоявшего на вершине минарета. От одного упоминания властелина юный зодчий зябко вздрагивал, будто в затылок вонзилась стрела, и испуганно озирался в сторону медресе, где, взметнув острые копья, кольцом стояла отборная охрана. Но, убедившись, что ни один воин не шелохнулся, он понемногу успокаивался. Однако покуда солнце не клонилось к закату и пестро-золотистая повозка в сопровождении вооруженной свиты на вороных скакунах не возвращалась в ханский дворец, зодчий не находил себе места.

На четвертый день месяца рамазан на этом месте властелин сам наблюдал, как закладывался фундамент под мечеть. Однако тогда у зодчего не хватило смелости поднять глаза на Повелителя, молча стоявшего среди огромной свиты. Два человека попеременно подавали зодчему маленькие, плотные кирпичики, и он их сосредоточенно укладывал ряд за рядом, от волнения даже не следя за строгостью линий.

С того дня прошло четыре месяца. Пятьсот человек в горах тесали камни. Двести человек шлифовали их до блеска. Девяносто пять слонов доставляли их на стройку... Изо дня в день в течение четырех месяцев с восходом солнца пестро-золотистая повозка въезжала в просторный двор медресе, а в предвечерний час, сопровождаемая вышколенной свитой, возвращалась во дворец. В течение четырех месяцев зодчий бесчисленно раз слышал: «Вон сам смотрит!»

Три дня назад мечеть закончили. Четыреста восемьдесят колонн — каждая высотой более семи кулаш — поддерживали ее внушительный остов. В этой мечети, построенной сплошь из мрамора и отделанной золотом, правоверные должны молиться за здоровье властелина и благословлять его на священные походы.

Нежно голубой купол мечети, казалось, придавал голубизну самому небу. Выжженный нещадным летним солнцем до тускло-серой безликости, весь в каких-то белесых

пятнах и подтеках, он сегодня, благодаря стараниям умельцев-чудодеев, засиял ровной прозрачной голубизной.

Лишь сегодня, на третий день нетерпеливых ожиданий, грянул, растекаясь с вышины, гортанный голос муэдзина, взывавший правоверных к намазу священной пятницы. После намаза торжественно-благостный Повелитель вышел из новой мечети и полюбовался ее внешней красотой. Вокруг мечети величественно возвышались четыре минарета. У подножия одного из них застыл в волнении и молодой зодчий.

Повелитель приближался. Зодчего охватило смятение. Он даже не поднимал головы, словно боясь, что голубой, прямым шестом устремившийся к небу минарет за его спиной вдруг обрушится ему на голову. В горле пересохло, дыхание сперло, в груди стало тесно. Он точно окаменел и был готов в эти мгновения стойко вынести любые муки. И тут как назло, точно божье наказание, запершило в горле, что-то некстати зашевелилось там, ища выхода, и он, уже задыхаясь, судорожно повел раза два кадыком и мимовольно захлебнулся кашлем. Потом еще... и еще. Лицо побагровело, вздулось.

Пестрая ханская свита, проплывавшая мимо, круто остановилась. В тот же миг унялся и злополучный кашель. Слезящиеся глаза ненароком скользнули по нерослому человеку в середине свиты. Он, запрокинув голову, смотрел на вершину минарета. Что-то подсказало зодчему, что этот невысокого роста человек и есть всемогущий Повелитель. И зодчий поспешно отвел глаза, еще ниже опустил голову.

— Чей мастер построил?— послышался тихий, ровный голос.

— Из дальнего рода Ор-тюбе,— твердо и спокойно ответил старший мастер.

Выждав, пока удалялась роскошная свита и улегся серебристый перезвон их украшений, он осторожно устремил взгляд вслед и наткнулся на встречные любопытные взоры. Многие рассматривали уже не минарет, а застывшего в трепетном волнении его творца.

Наутро следующего дня перед огромными воротами, украшенными причудливой мозаикой из драгоценных камней, среди шестидесяти мастеров стоял и юный зодчий из Ор-тюбе — Жаппар.

Привратники, вооруженные секирами, провели их вовнутрь. Приятный аромат ударил в ноздри, словно из ук-

ромного уголка вдруг дохнул свежий запашистый ветерок. То было прохладное дуновение от бесчисленных фонтанчиков в хаузах, искусно расположенных в придворцовом саду. Крупным красным песком посыпанные тропинки были влажны, будто после недавнего дождя.

По обе стороны аллеи на каждом аккуратно подстриженном дереве сидело по одному заморскому павлину и на их переливающихся многоцветьем перьях, точно бриллианты, поблескивали прозрачные капли.

Шесть индийских слонов, покрытых розовыми атласными попонами и с ярко-пестрыми паланкинами на широких спинах, покоряясь воле дрессировщиков, неторопливо и неуклюже опускались один за другим на колени и, грузно раскачиваясь, вновь не в лад поднимались. Шестеро ловких и поджарых пышноусых дрессировщиков в ослепительно белых и высоких чалмах, один конец которых торчал на макушке, а другой спускался ниже пояса, сидя в паланкинах, размахивали короткими дротиками и что-то отрывисто выкрикивали.

Тонконогие косули с любопытством взирали из-за деревьев на это диво, но едва почуяв приближавшихся людей, разбегались врассыпную.

Шестьдесят прославленных умельцев со всего света подошли сначала к трем мальчикам, смиренно восседавшим на пышном персидском ковре под легким шатром возле могучего тутового дерева, и, опустившись на одно колено, молча поклонились. Приняв поклон, мальчики встали и повели мастеров в глубину сада к тенистой лужайке перед дворцом, где на вышитой плотной подстилке возлежал, подмяв две пуховые подушки под бок, сам Повелитель. Он задумчиво смотрел на выложенный мрамором синий хауз, в котором плавали румяные наливные яблоки, а посредине, вскипая и вспыхивая радужными искрами, взмывал тугой струей белопенный фонтан. Когда до Повелителя осталось шагов двадцать, все опустились на колени и, сложив руки на груди, принялись отвешивать поклоны.

Повелитель едва высунул руку из-под широкого рукава и сделал какой-то знак семерым визирям, почтительно сидевшим в сторонке.

Главный визирь приложил обе руки к груди и направился в угол тенистого навеса.

Вскоре он появился вновь. За ним покорно семенило

несколько джигитов. Они несли небольшие плоские чаши на длинных, до земли, шелковых полотенцах.

Главный визирь что-то сказал, но юный зодчий от удивления и волнения ничего не расслышал и не понял.

Джигиты с чашами на вытянутых руках подошли к коленопреклоненным мастерам и со звоном посыпали на их опущенные головы по горсти мелких золотых и серебряных монет. Потом, наклонившись, протянули с подноса каждому небольшой, с кулак, тугой мешочек, завязанный шелковым шнурочком.

Главный визирь дернул подбородком. Обласканные ханским даром мастера разом встали, отступили на несколько шагов и, подойдя к тутовому дереву на обочине тропинки, расположились в его тени.

Повелитель приступил к приему чужеземных послов. Они также сначала отвесили поклон трем мальчикам — любимым внукам властелина. Потом мальчики приняли из их рук свернутые трубочкой грамоты и направились к Повелителю. В трех шагах от него они преклонили колени и с низким поклоном протянули свитки.

Дворцовые слуги подвели послов под руку. Часть слуг цепью тянулась за ними с подарками. В десяти шагах от Повелителя послы опустились на правое колено, сложили ладони и уронили головы на грудь. Слуги замерли рядом. К послам направились теперь визири и также под руку подвели их еще ближе.

Послы робко сделали несколько шажков и, не размыкая ладоней, присели на пятки.

Повелитель обменялся с ними несколькими фразами. Мастера под тутовым деревом ничего не расслышали. Многие были впервые допущены в ханский сад и теперь, ошалев от пышного благолепия, глазели на все с разинутыми ртами.

Послов усадили на возвышение через тропинку напротив визирей.

Вновь появились слуги. На почтительном расстоянии от ханской свиты они осторожно поставили у ног плоские кожаные чаши с дымящимися кусками мяса и, поклонившись, бесшумно удалились. На их место заступили мужчины в кожаных фартуках. Они, как по команде, вытащили из ножен кривые ножи и с необыкновенной ловкостью начали крошить мясо на мелкие кусочки.

В прохладном ханском саду к струящимся запахам

цветов и свежести прозрачных фонтанов примешался густой сытный дух копченой конины, брюшного конского сала, вяленого огузка и нежной сладковатой баранины. Покрошив мясо, джигиты искусно разложили его по золотым, серебряным и глиняным чашкам и отошли с чувством исполненного долга.

Распорядители дворцовых церемоний поднесли чаши с блюдом Повелителю, послам, визирям, а менее именитых гостей, тех, кто сидел поодаль и пониже, принялась обслуживать дворцовая челядь.

После мяса угощали фруктами. А завершали трапезу хмельным кумысом, настоянным на меду. Потом в круг вступили посольские свиты, учтиво стоявшие все это время в сторонке. Они несли подарки для властелина и шли медленно, степенно, с поклонами, позволяя насладиться взору диковинными и дорогими дарами — алмазными саблями, инкрустированными драгоценными камнями, шубами из редчайшего меха с вышитым орнаментом, иранскими коврами, слитками золота, жемчугом, рубином, сапфиром, сверкавшими на подносах шкурами неслыханных зверей. Подойдя к Повелителю, они на мгновение опускались на колени, замирали. Повелитель знаком показывал, что благосклонно принимает подарки, и кивал в сторону послов. Те тут же сгибались в подобострастном поклоне.

Посольские свиты чинной цепью потянулись к ханскому дворцу.

Повелитель встал. Высочайший прием был окончен.

Шесть гигантских слонов, опускаясь на колени и хлеща длинными хоботами землю, воздавали честь гостям, возвращающимся с ханского приема.

Стража у ворот опустила копья и склонила головы. В тот же день Повелитель объявил, что в честь окончания строительства мечети проведет большой пир.

На открытой, зимой и летом пустующей равнине за дворцовым садом темной ночью запылали костры, один за другим вырастали шатры. Здесь, на площади, и раньше проводились многолюдные торжества; всем жителям города были отведены определенные, заранее размеченные улицы-ряды в соответствии с их состоянием, общественным положением, чином и ремеслом. По обе стороны «улиц» протекал звонкий арык. Каждый заблаговременно знал место, где ему полагалось ставить свой шатер.

Уже на следующее утро огромное пространство за са-

дом запестрело разноцветными шатрами. С самого края лепились небольшие, невзрачные шатры сапожников, портных, мелких ремесленников; ближе к середине заметно возвышались уже более просторные и красочные; а в самой середке торжественно раскинулись пышные шатры честолюбивых и спесивых богачей.

Бесчисленные шатры, заполнившие широкую равнину и словно по ступенькам поднимавшиеся к середине все выше и выше, казались издалека сказочно-пестрой многокрылой и многоярусной ордой-ставкой, горделиво устремившейся к поднебесью. И, как завершение необыкновенного ансамбля, в самом его центре за огромным четырехугольным пологом высотой в полтора человеческого роста, возвышался величественный ханский шатер. Его венчал купол на двенадцати жердях-шестах в двадцать человеческих ростов. С вершины каждого шеста спадали, словно струясь, разноцветные шелковые ленты. В глазах рябило от этих гигантских ярких гирлянд, точно сплетенных из живых цветов. С четырех углов непомерно огромного шатра тянулись к середине четыре столба, крест-накрест связанные волосяными арканами и с полумесяцем на верхушках, а на их стыке была сооружена крохотная башенка.

Изнутри шатер был отделан ярко-красным сукном с золотой вышивкой. По четырем углам, у основания купола, были нарисованы орлы, взметнувшие перед полетом крылья. Рядом с шатром Повелителя расположились одиннадцать юрт его жен. Каждую из юрт окружал туго натянутый шелковый полог разных цветов. Шатер властелина связывали с юртами причудливые, как лабиринт, проходы.

Одиннадцать юрт и шатер находились за общей оградой, вокруг которой выстроились кругом дубовые бочонки с вином.

Шесть вооруженных отрядов, днем и ночью не смыкая глаз, сторожили ханскую ставку. Без особого разрешения главного визиря никто не смел приблизиться к ней. Перед гостями Повелителя охрана опускала отточенные копья, холодно сверкающие на солнце.

Между склоненными копьями прошел в ханскую ставку и зодчий из Ор-тюбе. Повелитель оказал ему великую честь, пригласив его в первый день пира, чтобы в своем шатре угостить вином.

Трон Повелителя был установлен в середине шатра, а

за ним тянулись ступеньками возвышения для многочисленной ханской семьи.

Едва гости чинно расположились по своим местам, как в шатер, звеня подвесками и кувыркаясь, вбежали придворные шуты. На площадке перед троном они показали шутливое представление, высмеивающее ничтожных правителей шахов, побежденных великим Правителем в последнем походе.

Глядя на кривлянья дворцовых шутов, гости, однако, не осмелились смеяться в присутствии властелина; не смеялся и Повелитель, соблюдая достоинство. Выходило, будто шуты забавляли самих себя.

Наконец, представление кончилось, и казначей швырнул на поднос главного шута вышитый мешочек с монетами.

Шуты, склонив головы до земли и мелко перебирая ножками, отступили к выходу.

В этот миг из соседней загородки показалась старшая ханша. Она была в пышном красном платье, вышитом драгоценными нитями. Длинный подол его несли сзади на вытянутых руках пятнадцать молодых женщин. Лицо ханши было покрыто густыми белилами, брови насурмлены. Воздушная вуаль слегка скрывала увядающие черты. На голове возвышался в форме минарета безукоризненный тюрбан, щедро усеянный драгоценными камнями. Края его волной спадали на плечи. На груди притягивало взор ожерелье, в котором симметрично перемежались рубин и жемчуг. Макушку тюрбана украшала еще золотая коронка с тремя крупными пламеневшими рубинами. Пышные перья филина обрамляли голову ханши, мягко свисая к ее ушам. Сложный головной убор ханши тяжело колыхался при каждом ее шаге, и несколько женщин придерживали его с боков. Густые черные волосы ханши были распущены на плечи. Огромная свита из ста разнаряженных женщин сопровождала старшую жену Повелителя.

Шествие возглавляла группа евнухов. Они шли размеренной, тяжелой поступью, раздуваясь от важности и спеси, и на многочисленную толпу, низким поклоном приветствовавшую ханшу, глядели свысока, с едва скрываемым презрением.

Ханша уселась чуть позади за властелином.

Через мгновение из-за другого полога вышла младшая ханша в сопровождении не менее пышной и величествен-

ной свиты. Она заняла место чуть пониже старшей ханши. А уже за нею расселись семь снох Повелителя.

Ханский шатер мгновенно преобразился, словно сад эдема, по которому разгуливают вечные девственницы-гурии.

Молодой зодчий чувствовал себя как во сне и, замирая сердцем, все глядел и глядел на прелестных женщин, разнаряженных в шелка и атлас, увешанных золотыми, серебряными, бриллиантовыми украшениями, и в глазах его рябило, и слегка кружилась голова от буйства бесчисленных ярких красок.

Когда ханши и их свита, шурша одеяниями, позванивая подвесками, наконец-то, расселись, всем поднесли вино и кумыс. Сначала вышли ханские отпрыски-ханзады — с белоснежными полотенцами в руках, за ними шли поджарые, ловкие, как на подбор, юноши-слуги, неся на золотых подносах горку маленьких золотых чашек. На полпути ханзады преклонили правые колени. Потом шелковым полотенцем осторожно обхватили чашки, поданные слугами, и, подойдя к ханшам, с поклоном протянули им напиток. Как только ханши приняли из их рук чашки, ханзады отступили на шаг и, опустившись на колени и потупив взор, подождали, пока им вернут пустую посуду. Потом все так же, полотенцем обхватив опустошенные чашки, передали их слугам и, вновь поклонившись, вышли из шатра.

Гостей, среди которых — на отдельном деревянном возвышении — сидели и шестьдесят мастеров, потчевали вином слуги: по одному на двух приглашенных. Испить ханскую чашу до дна являлось непреложным законом. К заходу солнца, заметно пошатываясь, уже плохо соображая, что к чему, гости покинули ханский шатер и разбрелись по своим улицам.

Надвигалась летняя ночь; на черном южном небе перемигивались звезды. Дневная духота растворилась во мраке. При вечерней прохладе между бесчисленными шатрами, как бы перекликаясь, запылали яркие костры. Вокруг костров толпился возбужденный весельем люд. Вечернюю тишь распарывал могучий рев длинных, как шест, кернаев; им вторили несмолкаемая дробь барабанов, перезвон дутаров, выражавших хмельную радость и восторг жадной до зрелищ толпы, тягучий, глухой напев гыжаков, тонкая трель рожка и других диковинных инс-

трументов. В круг костра то врывались тонкостанные юноши в тюбетейках, в пестрых легких халатах, туго перепоясанных красочным кушаком, и, шалея от собственной удали, пускались в залихватски-огненный пляс; то вплывали, кружась в истоме, легконогие красавицы, шелестя шелковыми нарядами, мелькая черными, туго заплетенными косичками и белыми, как серебристая рыба в воде, руками.

Разморенные вином и обильной пищей мужчины, расположившись группами по нескольку человек с большим медным самоваром посередине, с наслаждением потягивали чай и, похохатывая, отпускали двусмысленные шутки.

Ровно потрескивал огонь под огромными казанами, и, когда повара чуть приоткрывали плотные деревянные крышки, сладкий аромат доспевающего плова струился над землей, наполняя сытным духом всю округу. Черноусые гладкие шашлычники, засучив рукава по локоть, сноровисто вращали шампуры над саксаульным огнем, и от кебабов, покрывающихся румяной корочкой, сочился жир, с шипением капая на уголья... С усов и молодых, и старых стекало вино.

Слух ласкали сладкие напевы, ноздри щекотали приятные запахи.

Под черным небом причудливо выплясывали над тысячью кострами багровые язычки пламени.

Все сильнее разгоралось веселье. Все громче звучал смех под покровом ночи.

На ханском пиру гулял-веселился народ.

Во время таких торжеств строго запрещались козни, интриги, взаимные упреки и обиды. В час веселья человеку надлежит быть выше мелких недоразумений. Важно не переступить границы приличия. Ну, а для драчунов и смутьянов, дерзко нарушающих заведенные порядки торжества, на всякий случай было поставлено на холме поодаль несколько виселиц.

II

После пира Повелитель отправился в новую мечеть, сотворил намаз, получил благословение духовника и выступил в поход на запад.

Сразу же за этим событием богач Ахмет, у которого жил зодчий Жаппар, выдал дочку замуж.

Три недели продолжалась суматоха на тихой, неприметной улице, где в вечернюю пору обычно слышалось одно лишь сонное бормотание арыка. И больше всех пошумливал, раздуваясь от спеси, сам бай Ахмет.

Падкий до шумных торжеств торговец еще за неделю до свадьбы приказал достать из заветного сундука давно приготовленные праздничные одежды. С утра до полудня провертелся он у зеркала. Сначала намотал чалму. Намотав раз, посмотрел в зеркало — что-то не нравилось; намотав два, глянул в зеркало — опять что-то не так.

— Эй, жена... подойди-ка.

А жена в это время то ли сад поливала, то ли лепешки в печке-тандыре пекла — не расслышала сразу зов мужа.

— Оу, жена, оглохла, что ли?

Со двора, словно из-под земли, донесся заполошенный голос:

— Что случилось, бай-ака?!

Торговец возмутился:

— Да иди же, тебе говорят!

Жена, торопливо вытирая о подол руки, тотчас присеменила.

— Посмотри-ка на меня.

— Ну...

— Не «нукай»! Не видишь разве?

— Вижу, бай-ака...

— Что, дура, видишь?

— Вас вижу, бай-ака...

Бестолковость благоверной вывела Ахмета из себя. Сорвав с головы огромную чалму, замахнулся на жену, застывшую в недоумении, и вытолкнул вон.

Молодой зодчий, отдыхая на глиняном возвышении у входа, прислушивался к перепалке супругов и тихо смеялся. Сколько раз приходилось ему быть свидетелем байских причуд. Он был неизменен в своих привычках...

Обычно возмущение бая Ахмета проходит не скоро. Но постепенно его ворчание утихает, глядишь, и через часок-другой он торжественно появляется в дверях. На голове — искусно закрученная десятиметровая чалма, на плечах — багрово-красный бархатный чапан, на ногах — синие сафьяновые кебисы. Тугое брюхо крепко-накрепко затянуто широченным ремнем в серебряных пластинах. На груди чапан расстегнут, чтобы виднелась ослепительно белая шелковая рубаха.

— Как я выгляжу, почтенный устод?

— Отменно, бай-ака!

Бай Ахмет, самодовольно ухмыляясь, спускается по ступенькам беседки и кричит жене, хлопочущей в углу двора:

— Эй, жена... скажи всем: сегодня лавка закрыта.

И, размахивая руками и, точно стреноженный, мелко-мелко перебирая короткими ножками, он направляется к воротам.

Возвращается торговец при вечерних сумерках. Едва войдя в ворота, вопит:

— Жена! Осталась у тебя вода в кумгане?

Потом, опустив ноги в теплую воду в медном тазу, он громко рассказывает, желая, чтобы услышали его все — и жена, подливающая из чугунного кумгана кипяток, и Жаппар, учтиво вышедший навстречу хозяину, и дочь, готовящая ужин у тандыра, и ишак, сосредоточенно хрумкающий сено в крайнем углу двора, и арба-двуколка, задравшая оглобли кверху, и глиняный дувал, местами обвалившийся и почерневший от времени, и редкие звезды, тускло мерцающие на еще белесом небе, и тихая улица, убаюканная монотонным бормотанием арыка, и любопытные соседи, и темнеющие вдалеке таинственными силуэтами ханские дворцы и сад, и даже весь необъятный мир,— услышали длинный и восторженный рассказ бая Ахмета о том, чьи купеческие магазины он посетил сегодня, кому показал свой торжественный наряд, с кем поспорил, пошутил, поругался, кого задел за живое, на чей перепел делал ставку, сколько чайников зеленого чая выпил в чайхане — все, все до самых мельчайших подробностей. Закончив рассказ, он сбрасывает на руки жене чалму, чапан, шальвары, рубаху, кушак, сафьяновые остроносые кебисы, нагружая ее до самого подбородка, и, вспомнив вдруг что-то очень важное, неожиданно спрашивает:

— Кстати, сколько приготовила стеганых одеял?

И, выслушав ответ жены, строго наставляет:

— Смотри, свадьба на носу... не оплошай...

Бай Ахмет придает лицу озабоченное выражение и, достав табакерку, долго нюхает душистый табак. Потом два раза кряду оглушительно чихает, отчего вздрагивает все подворье, и, словно избавившись с этим чихом разом от всех забот и тревог, а заодно и от всех слов, он удов-

летворенно молчит. После обильного ужина он валкой походочкой, точно раскормленный селезень, отправляется на мужскую половину, плюхается в постель рядом с Жаппаром и, едва коснувшись головой подушки, могуче всхрапывает. Молодой зодчий, невольно прислушиваясь к «ночному пению» своего хозяина в два голоса — туда и сюда, то понемногу затихающему, то вновь нарастающему с необыкновенной силой, долго не смыкает глаз.

Тихо-тихо в большом городе великого Повелителя. Огни под треногами за глиняными дувалами давно погасли.

Все спят. Один Жаппар бодрствует. Ворочается с боку на бок, изводит себя бесконечными думами и лишь к утру погружается в забытье.

Просыпается он от неожиданной тишины. Еще не соображая в чем дело, оглядывается вокруг: постель бая Ахмета пуста. Но тут доносится до слуха зодчего тихий скрип двери на женской половине, и Жаппар, улыбнувшись в полусне, поворачивается на другой бок. Такая вот размеренная жизнь царила в доме простодушного Ахмета...

Наконец пришел желанный день свадьбы, который едва ли не больше других ждал сам бай Ахмет. В четырех местах во дворе раскалили казаны для плова; на длинных шампурах над саксаульными углями доспевал кебаб. В тандырах-печках жарко пылал огонь.

Причудливая смесь запахов струилась вокруг: во дворе — запах блюд, на мужской половине — запах вина и пота, на женской половине — запах фруктов и духов.

Пиршество продолжалось весь день. Время от времени взмывали над людским гулом звуки дутара и треск барабанов. На мужской половине в кругу, под четкую дробь бубна плясал, прищелкивая пальцами, тонкий подросток, а мужчины, плотным кольцом обступившие его, гулко били в такт кулаками по потной, волосатой груди; на женской половине, извиваясь, танцевала девушка, а женщины дружно и восторженно хлопали в ладоши.

С заходом солнца в комнату мужчин кази, мусульманский судья, пригласил жениха и свидетеля со стороны невесты. В расписную чашу с освященной водой он бросил серебряное кольцо. Прочитав молитву-благословение, кази попросил жениха выпить глоток из чаши, которую тут же через свидетелей передал на женскую половину. Когда и невеста отпила глоток, чаша вернулась к кази. В при-

сутствии сватов жениха и свидетелей с обеих сторон он благословил священный брак.

Вновь расстелили дастарханы. Веселье продолжалось. А в полночь жених передал на женскую половину весть: он горит желанием увидеть невесту.

Женщины забегали, засуетились. Все взяли в руки зажженные свечи и приготовились встретить жениха. В комнате за шелковой шторой-занавесом невеста осталась одна.

В сопровождении ватаги джигитов жених направился на женскую половину. И только распахнулась дверь перед ними, как началась суматоха, поднялся гвалт. Женщины, покрикивая, повизгивая, набросились на джигитов, стараясь отбить от них жениха. Джигиты, ухмыляясь, защищались. На ком-то загорелась одежда, кто-то опалил невзначай бороду и спешно прикладывал к ней подол чапана. Все же, как и положено по обряду, женщинам удалось завладеть женихом. Его подхватили с двух сторон, повели к невесте, остальные стайкой кинулись за ним.

Потеряв жениха, джигиты вернулись на мужскую половину, вновь подсели к дастархану.

Жених в это время щедро одаривал женщин, чтобы они смилостивились над ним и показали невесту. Девушки пели и танцевали, веселя и подбадривая жениха.

А невеста, притихшая, задумчивая, терпеливо восседала одна-одинешенька на пышной горке из сорока сложенных одеял-корпе — приданое, которое она завтра увезет с собой. Лишь вдосталь одарив и утешив бойких подружек невесты, взволнованный жених получил возможность пройти за занавес. Молодым принесли чашу плова и свежие фрукты.

Наступила глубокая ночь. В комнате, заставленной тюками, увешанной коврами, всюду валялись одежки невесты, на полу стояли ее кебисы. Молодых уложили на брачную постель. Игривые молодки, выходя из комнаты, загасили свечи и прильнули к окну и двери, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Некоторое время они стояли молча, затаив дыхание, потом вдруг пришли в радостное возбуждение и принялись понимающе переглядываться, хихикать. И тут же, спохватившись, начали друг дружку щипать и толкать в бок, как бы говоря: «Тише, а то еще люди догадаются, над чем мы смеемся». Вскоре шорохи и возня в комнате улеглись, и смех сразу слетел

с лукавых губ молодаек. Они на миг застыли в недоумении, словно не понимая, что же случилось, но быстро опомнились и начали о чем-то перешептываться. Потом одной поручили постучаться к новобрачным.

На стук вышел жених, молодайка ловко скользнула вовнутрь и скоро вернулась с подарком. Что-то шепнула сверстницам, застывшим в великом нетерпении, и те радостно и облегченно рассмеялись, всей ватагой заспешили к матерям жениха и невесты, чтобы обрадовать их доброй вестью и получить от них положенный подарок.

На другой день, с утра, утомленный жених направился на мужскую половину, чтобы в последний раз попировать с друзьями-холостяками.

Джигиты, как это обычно бывает, начали подтрунивать над молодым супругом, намекать на его любовные подвиги на брачном ложе. Один Жаппар угрюмо молчал, а вскоре и вовсе покинул расшумевшихся сверстников-зубоскалов.

У него раскалывалась голова от гвалта и суматохи со вчерашнего дня. До тенистого тутового дерева у ворот он еле доплелся.

Пир кончился в середине второго дня. Жених, по обычаю, уехал к себе, невеста осталась пока в отчем доме. Бай Ахмет, словно не решаясь расстаться с праздничным одеянием, слонялся без дела из дома во двор и назад.

Жаппар чувствовал себя разбитым. На людей, суетившихся перед его глазами, смотрел с удивлением, словно не понимая, зачем они тут.

И ночь почудилась ему невыносимо душной, он метался в постели, потом не выдержал, встал, сунул босые ноги в кебисы и выбрался во двор. Полная луна заливала мир молочным светом. Казалось, даже ветхий глиняный дувал выбелила чья-то волшебная рука. Выморочная тишина стояла вокруг. Только однообразный сухой хруст доносился из угла двора: серый ишак отрешенно хрумкал сено.

Жаппар прислонился к деревянной опоре навеса, подставил грудь ночной прохладе. Вдруг что-то глухо шмякнулось вблизи. Он прислушался. Ни звука. Шлепая просторными кебисами, Жаппар вышел из-под навеса. И опять показалось, что кто-то воровски шмыгнул в тень за домом. Зодчий остановился, затаил дыхание. Сердце гулко заколотилось. Наконец, решившись, он стремительно шагнул в тень, и тут же кто-то выскочил из-за угла и кинулся к дувалу. Хлюпая кебисами, Жаппар бросился

следом. Беглец затравленно оглянулся, потом полез на дувал, но сорвался и прижался к стене. И, когда Жаппар настиг его, вдруг с облегчением сказал:

— Э, так это ты, оказывается... А я-то думал, Ахмет-агай.

Жаппар по голосу узнал жениха. Тот, встопорщив черные кустистые брови, как-то странно осклабился, то ли с неприязнью, то ли с жалостью, посмотрел на опешившего зодчего и спокойно направился к дому. За ним по земле волочилась несуразно длинная тень. Шел жених уверенно, широкой развалочкой, уже не помня, как мгновение назад крался вдоль дувала. У угла длинная, как шест, тень переломилась, метнулась напоследок, точно хвост собаки, и исчезла.

Жаппар застыл, как в полусне, и растерянно смотрел на пустынный под зыбким светом луны хозяйский двор.

С той ночи в течение еще недели продолжались нежданные посещения жениха. В полночь раздавался под окном глухой звук, а через мгновение — скрип двери на женской половине.

Однако через неделю жениху почему-то расхотелось придерживаться исконного обычая, по которому полагалось посещать невесту тайком, под покровом ночи, не попадаясь на глаза ее родителям, и так в течение целого года, лишь после чего он вправе забрать богом данную супругу к себе. То ли он что-то заподозрил, то ли наскучило каждую ночь лезть через дувал — кто знает. Через неделю он посреди белого дня увез невесту из родительского дома.

Теперь, возвращаясь вечером, после работы, домой, зодчий Жаппар чувствовал какую-то непонятную тревогу и пустоту. Вокруг дома тянулся все тот же старый, обшарпанный, местами обвалившийся дувал. В одном углу громоздилась арба-двуколка, задрав длинные оглобли. В угловом загоне все так же отрешенно и монотонно хрумтел сеном серый ишачок. И все же словно опустел двор, обезлюдел, потускнел. Бай Ахмет, хотя и по-прежнему поглаживал тугой живот, однако уже не говорил так громко и восторженно. Остепенился Ахмет, поскучнел Ахмет. Жена и вовсе бессловесной стала. Лишь по едва заметному колыханью черной паранджи и длинного, до пят, коричневого чапана можно было догадаться, что душа еще не покинула ее иссохшего, покорного тела.

Комнату, в которой во время свадьбы находилась ширма-занавес, теперь предоставили Жаппару. Здесь юная байская дочка проводила первые брачные ночи. Здесь еще не успели выветриться запахи духов, мазей, сурьмы, белил и изнеженного женского тела. Ложась к ночи в постель, Жаппар, обуреваемый тревожной истомой, жадно ловил эти запахи, такие чуждые и одновременно знакомые и приятные ему, и рисовал в своем воспаленном воображении сладостно-желанные картины. Едва он закрывал глаза, как из угла крохотной комнатки неслышно приближалась к нему, точно плывя по воздуху, трепетная красавица в легкой, почти прозрачной накидке и с распущенными шелковистыми волосами; но стоило только чуть приоткрыть веки, как ничего не было, кроме тусклого и зыбкого лунного света, струящегося в маленькое окошко. Так он лежал долго, то открывая, то вновь закрывая глаза, наслаждаясь дивным видением, пока не тяжелели веки, пока не наваливалась на него усталая дрема. Но и во сне не покидали его неясные грезы. Чудилось, будто полуобнаженная дева на расстоянии протянутой руки стелила себе постель. Вот она невесомо легла на белоснежную перину и замерла в ожидании. Он весь охвачен истомой, то жар, то холод прокатывается по телу, но отчего-то не в силах он шелохнуться и только изводит себя страхом, желанием, сомнениями. Он хочет подняться, но неведомая сила придавила его к постели. Он даже не в состоянии повернуть голову, она словно вросла в подушку. Он уже не видит прикорнувшую рядом деву, но каждой частицей своего жаждущего любви тела чувствует ее. Он пересиливает себя, онемевшей рукой осторожно тянется к ней, вот рука уже дотянулась до пуховой подушки и вдруг коснулась чего-то жесткого и ледяного. Жаппар просыпается в испуге. После таких мучительных ночей он чувствовал себя разбитым, квелым. Все валилось из рук. С тех пор, как бай Ахмет выдал дочку замуж, молодой зодчий стал замкнутым, молчаливым, мнительным.

Отправляясь в поход, Повелитель строго наказал не торговать на открытых городских площадях, в садах и на улицах, ибо нетерпимо, чтобы в лучшей в мире столице надрывал глотки торговый люд и из-под копыт лошадей, ишаков пыль поднималась до небес; по распоряжению Повелителя для торговли должна быть построена длинная, на несколько верст, крытая улица с купеческими лавками

и магазинами по обе стороны и с хаузами, в которых днем и ночью бьют фонтаны.

С тех пор круглые сутки кипела работа на стройке; рабы из крепости разрушали дома и дувалы на пути будущей крытой улицы; ночь напролет расчищали площадки, а утром приходили мастера со строителями-рабочими и продолжали тянуть длинный ряд купеческих лавок. Крытая улица для будущего базара дошла уже до центра города. Зимой промерзшая земля серьезно мешала грунтовым работам. То ли безмерно уставал Жаппар от несмолкаемого грохота сотен каменотесов и бесконечной суеты на стройке, то ли очерствел душой и успокоился, только в последнее время он уже не метался во сне. Облик таинственной девы, преследовавшей его, тоже заметно померк, поблек. Очаровательная дочь купца Ахмета, которой пылкий зодчий втайне любовался каждый день, теперь навсегда, должно быть, исчезла, упрятанная за одним из бесчисленных дувалов-лабиринтов столичного города, и со временем чудилось, что это милое, улыбчивое создание все больше и больше удаляется, как бы растворяясь в мираже далеких воспоминаний. И все же нет-нет да и вспоминалась она, прелестная Зухра, так явственно, так живо, что у Жаппара больно сжималось сердце, словно касался его невзначай ледяной холод. Раньше постоянно в нем боролись тоска и страсть, попеременно одолевая друг дружку, теперь они обе точно обессилели, подолгу взаимно уступая место.

Что-то изменилось в молодом зодчем. В его жестах, движениях, взгляде, манере хмурить брови чувствовались внутренняя решимость, затаенная печаль, сдержанность. Казалось, он весь сосредоточился на стройке и отныне ничего не желает видеть, кроме поднимающихся на его глазах кирпичных стен.

Под его руками ряд в ряд бесконечной цепью ровно и прочно укладывались кирпичики, словно очищенные от его смутных надежд, туманной печали, удушливой тоски. Изо дня в день росла, удлинялась крытая улица. Уже скоро два года, как отправился Повелитель в далекий поход. Главный мастер покоя лишился, подгонял, поторапливал строителей, старался во что бы то ни стало исполнить наказ властелина к его возвращению. Спозаранок приезжал главный мастер на стройку, внимательно и придирчиво следил за работой. Вот и сейчас оставил он легкую повозку

у ворот и торопливо вошел под навес, где трудились каменотесы. Однако на этот раз он не задержался возле них, не обмолвился ни единым словом, а направился стремительно вглубь, где воздвигались стены. Отчего он такой озабоченный и серьезный? К кому он спешит? Какое дело гонит его спозаранку? Вот он повернулся и направился прямо к нему, молодому зодчему. Подошел, поставил ногу на груду кирпичей, задрал голову.

— Жаппар, бросай все...

Что это значит? Жаппар недоуменно уставился ему в лицо.

— Собирайся! Идем во дворец. Тебя вызывает старший визирь.

Пружинистая легкая повозка главного мастера быстро доставила их к белому дворцу старшего визиря. Охранники открыли ворота, расступились. Жаппар послушно последовал за главным мастером. Они прошли несколько прохладных, гулких от простора залов дворца, вступили, наконец, в огромную голубую комнату, где в середине, на возвышении возле фонтана, восседал старший визирь. Он великодушно принял их поклон, пристально оглядел Жаппара с ног до головы; потом сделал длинную паузу, задумчиво пожевал губами и, словно решившись сказать что-то необычайно важное, открыл рот и опять устремил на молодого зодчего пытливый взгляд.

— Ты сказал ему, зачем я его позвал? — спросил он у главного мастера.

— Нет, господин, — ответил тот, сгибаясь в низком поклоне.

— Тогда выслушай меня, устод Жаппар. Младшая ханша решила обрадовать великого Повелителя и в честь его возвращения из далекого похода построить минарет. Мы решили вам доверить эту честь...

Жаппар, словно не в силах выдержать тягучий взгляд пучеглазого визиря, низко склонил голову.

Старший визирь скосился поверх Жаппара в сторону входной двери и лениво, врастяжку, без всякого выражения проронил:

— Надеюсь, вы все поняли...

Жаппар взглянул на главного мастера, как бы спрашивая, что и как следует в таких случаях сказать, однако тот сидел безучастно, с непроницаемым лицом, будто ничего не слышал.

Жаппар молчал, соображая про себя, что могло бы означать странное поведение главного мастера, но тут вдруг вспомнил, что старший визирь, сидящий перед ним, дожидается его ответа и молчание становится уже неприличным, и торопливо и смущенно промолвил:

— Да... все понял...

Целый месяц выбирал Жаппар место для будущего минарета. Не осталось такого уголка в большой столице, где бы он ни стоял, задумчиво поскребывая затылок, пробуя грунт под ногами и внимательно оглядывая окрестность.

Наконец, двуколка, на которой разъезжал молодой мастер, остановилась на открытом холме неподалеку от сада, где находился дворец младшей ханши.

Казалось, более удачного места для минарета не найти. Холм заметно возвышался над основанием равнинного города. И грунт был плотный, надежный, не супесь и не суглинок. Осадка в будущем должна быть незначительная. Здесь был не шумный, пестро застроенный центр, но и не слишком отдаленная окраина. А самое главное — на виду. Все открыто, всюду простор. Знаменитые мечети, медресе и ханские дворцы находились на почтительном расстоянии. Вокруг ничего примечательного, что могло бы привлекать взор. К северу от холма стоял лишь единственный дворец младшей ханши. Но и его не видно было из-за густо разросшегося, диковинного сада.

Здесь, на этом холме, после долгих колебаний и раздумий, собственными руками вбил молодой мастер кол.

И сразу ожил холм, весь изрытый сусликами. Со всех сторон, вздымая пыль, потянулись сюда груженые арбы. Горы жженого кирпича выросли вокруг подножия. Могучие рабы, раздетые по пояс, поблескивая бронзовыми, потными спинами под ослепительным солнцем, копали землю, шаг за шагом, взмах за взмахом, пядь за пядью вгрызаясь в ее чрево. С каждым днем на глазах рос вал вынутого грунта, и вскоре уже не видно стало черных от загара плеч рабов-землекопов. Жаппар от волнения был сам не свой. Целыми днями ходил и разъезжал он вокруг холма, разглядывая со всех сторон место, где предстояло построить взлелеянный в душе минарет.

И настал тот день, когда сорок землекопов, вырыв котлован, вышли на божий свет. Теперь в котлован спустился сам Жаппар. И хотя здесь, под землей, было удиви-

тельно прохладно по сравнению с поверхностью, где пекло нещадное солнце, Жаппару уже через день-другой стало скучно и неуютно. Он спешил подняться наверх, рвался к свету. Порой чудилось, что если он вскоре не выберется туда, на белый свет, обрамленный синим небосводом, то здесь его навсегда заполонит какое-нибудь подземное чудище. И он с нетерпением ждал кожаные носилки, на которых спускали к нему сверху кирпич и раствор.

Наконец он выложил основание минарета и выбрался наверх. Казалось, из-под земли вырастал могучий каменный ствол, которым поневоле любовались все прохожие. Молодой мастер испытывал приятное волнение и гордость от этих восторженных взглядов. И когда он видел, что кое-кто из многочисленной толпы, хлопочущей там, внизу, всецело поглощен его рождающимся творением, все его однообразные движения, привычная монотонная работа искусного каменщика, тяжкий труд, утомлявший мышцы и отуплявший разум, вдруг сразу обретали особый смысл и значение. В такие мгновения усталость как рукой снимало.

Упорно, день за днем, растил он стены минарета и с каждым новым рядом все заметнее удалялся от земли, от рабов, месивших внизу глину. Теперь рабы доставляли ему камни и кирпичи на носилках, поднимаясь по внутренним шатким лестницам. В узком, как труба, минарете он целыми днями пребывал в одиночестве. Поредели ряды любопытных зевак, с нескрываемым восторгом наблюдавших за растущей на глазах башней и ее строителем-чудодеем. Правда, от них теперь и толку никакого не было. С высоты крутых круглых стен люди внизу казались игрушечными, точно нарисованными, с нелепо растопыренными руками и ногами, и мастер уже не мог видеть восторга в их глазах, и не мог услышать лестной хвальбы из их уст. И кирпичи снова не в меру отяжелели. И усталость, как прежде, сковывала мышцы. Размеренная, бесконечная кладка кирпича к кирпичу чем-то напоминала шажки стреноженного скакуна и утомляла, надоедала своим однообразием. Он обостренно прислушивался к каждому звуку. Сначала снизу докатывался глухой, раскатистый гул, как из пустой бочки, потом все яснее, резче, четче слышались шаги. Рабы были из далеких, неведомых стран. Он не понимал их, они — его. Но когда где-то под боком слышался крепкий, острый запах соленого

мужского пота, обычно ему неприятный, молодой мастер говорил рабам что-то радостное. И они, невольники, сверкая зубами, приветливо улыбались в ответ, хотя и не понимали его.

Башня между тем уже возвышалась над ближайшими домами и строениями. Узкие улочки и суета в крохотных двориках — все было видно, как на ладони. По узким щелям меж приземистых мазанок взад-вперед двигались, копошились точно какие-то чудные существа, пешие и верховые на ишаках. Их странный, неуклюжий с вышины птичьего полета облик и бестолковая, беспорядочная возня на земле вызывали невольную улыбку. Особенно окрестности базара ничуть не отличались от муравейника. Даже многокрасочные, яркие товары, всегда радующие глаз, отсюда, с вершины, казались бесцветными и незначительными.

Странно: люди вроде бы себе назло придумали эту мелочную, бессмысленную суету. Словно мало им необъятного божьего пространства, будто боятся они простора, еще при жизни добровольно замуровали себя в душные каменные мешки, в тесные расщелины, где изо дня в день толкутся, как в ступе. Совершенно непостижимо, почему эти беспокойные двуногие смертные, копошащиеся в гигантском сером муравейнике, так восторгаются и дорожат своей мнимой жизнью, где, сшибаясь, как льдины в половодье, бьются и хватают друг друга за глотки ради богатства, чинов, положения, славы и прочей мишуры. Мудрено ли не свихнуться в эдаком котле, постоянно сталкиваясь друг с другом?! Какая злая сила, смешав, сгрудила их в одну кучу, когда столько безлюдной, вольной шири вокруг?! Живи они вразброс по беспредельной степи, какой вражина позарился бы на них? И, наоборот, разве не велик соблазн растоптать, расшвырять, развеять кишащий муравейник? Великий властелин, разрушивший за свой век не один подобный муравейник, из года в год развивает, расширяет свой собственный. Для чего, к примеру, понадобилась вот эта строящаяся башня? Для того, чтобы ласкать взор всякого встречного-поперечного? Или привлечь внимание врага, намекая, что здесь, у подножия минарета, раскинулся еще один человеческий муравейник? Или, наоборот, в знак предостережения, чтобы никто не приблизился к этой смрадной свалке, чтобы оставались на вольной воле?.. Для чего?.. Какой смысл?.. Он, мастер, во

всяком случае не знает. Он просто получил еще в прошлом году задание от пучеглазого старшего визиря и принялся за дело. Говорят, такова воля младшей ханши, которая там, в густом саду, из какого-то уголка наблюдает за ним. И зачем ей понадобился этот каменный столб — шайтан знает. Когда посещали его подобные непрошеные мысли, ему вдруг нестерпимо хотелось на простор, чтобы зараз избавиться и от этого шумного, многолюдного города, и от бесконечных и путаных, как улочки его, дум. Его неодолимо тянуло в великую степь, чьи причудливые миражи зыбились, играя, под боком неприглядных глиняных окраин. Однако в какую бы сторону он ни повернулся, куда бы ни посмотрел, всюду перед его глазами тянулись невзрачные, унылые, как непролазная осенняя грязь, глиняные дувалы и стены, похожие на огромный, наводящий тоску своим однообразием серый полог. И чтобы не задохнуться в этой смрадной житейской грязи, он отчаянно карабкался, лез вверх по крутой каменной башне туда, к синему, прозрачному поднебесью.

И только теперь Жаппар понял, почему нужны минареты. Оказывается, они выражают высокое и гордое стремление рода человеческого отрешиться хотя бы на мгновение от всего привычного и низменного, бескрылого, что притягивает, придавливает, клонит неодолимо и со всех сторон к земле, где на уровне ослиного хвоста незначительное кажется значительным, а ничтожное — великим, где повседневную мелочную недостойную суету зачастую выдают за подлинную жизнь, отрешиться от всего мнимого и подняться, взлететь, может быть, даже наперекор судьбе, на ту высоту, встрепенуться непокорным духом, чтобы можно было узреть истинно величественное, чем прекрасен и сам беспредельный мир, и высшее творение жизни — человек. Ведь неспроста даже суслик и тот время от времени испытывает потребность оставлять свою опостылевшую, вонючую норку и растянуться поодаль у подножия холмика, выставив солнцу круглый бочок, и смотреть, смотреть маленькими глазками-точками жадно и с наслаждением на нескончаемый божий мир, смутно ощущая, что помимо подземных мышиных забот существует еще и другая, таинственно-непостижимая жизнь, в честь которой он и выводит свою торжественно-писклявую песню.

Быть может, этот минарет, точно прорвавшийся из земли, не просто выражение гордой и дерзкой человеческой мечты, а неодолимый порыв, неуемная тяга самой земли, многотерпеливой и многострадальной, к безмятежно раскинувшемуся над ней загадочному голубому небу? Разве эти маленькие жженые кирпичики в его руках еще вчера не были серой глиной под копытами ишака? А вот сегодня, словно одухотворенные некой чудодейственной силой, передающейся через его руки еще недавно бесформенной глине, превращаются в вполне осознанную, прекрасную, манящую цель — в гордо устремившийся ввысь минарет.

В прошлом году, когда на этом месте он собственноручно вбил кол, так же, стоя на гребне древнего кургана, подолгу вглядывался в выжженное солнцем небо, но ничего не увидел тогда, кроме всего лишь на миг всплывавшего из мрака небытия и тут же исчезавшего видения. Таинственно-величавый минарет, возникавший вдруг перед его глазами, так же неожиданно исчезал, будто проваливался сквозь землю. Но еще год назад здесь, на холме, испещренном норками сусликов, он твердо знал, что дивное видение, рисовавшееся в его воображении, превратится, непременно превратится из сказки в быль и станет великолепным минаретом, способным вызвать радость и восторг.

... Вспомнились события восьмилетней давности.

Вслед за серым ишаком, изо всех сил тащившим вверх по крутому склону песчаного увала два больших полосатых корджуна, понуро брели отец и сын. Полмесяца продолжался уже их утомительный поход. Лишь возле одиноких, редких колодцев, покрытых сверху саксаулом и кустарником и расположенных друг от друга на расстоянии двух, а то и трехдневного пути, они останавливались на недолгий привал.

Отец брел чуть впереди и время от времени резко останавливался и распрямлял, морщась от боли, онемевшую от долгого подъема спину, застывал, держась за бока, а потом, обреченно вздохнув, вновь продолжал путь.

И только безропотный серый ишачок не выказывал усталости. Откинув назад длинные пыльные уши и повесив голову, мелко-мелко, точно заведенный, перебирал точеными ножками. За многие века он крепко усвоил,

что, находясь в неволе у двуногих, ему все равно никогда не будет покоя. Он знал, серый ишачок, вернее чувствовал нутром, что в этой унылой пустыне где-нибудь да и будет короткая остановка, где и напоят его и на выпас отпустят. И сделают это двуногие не ради него, не из жалости к нему, а прежде всего ради себя самих. А коли так, то нечего роптать на судьбу, нужно покорно идти вперед и вперед, не оглядываясь по сторонам. Эту нехитрую истину серый ишачок познал едва ли не с рождения.

Однако замыкавшему куцее кочевье смуглому, поджарому юноше все это давно наскучило и надоело.

Отец проболел всю зиму и лишь в весенний месяц новруз поднялся с постели. Он вдруг с лихорадочной жадностью принялся за хозяйство: вспахал свой клочок земли, разровнял пашню граблями, посеял джугару. Потом взрыхлил почву под чахлыми фруктовыми деревьями, сиротливо торчавшими возле приземистой, плоскокрышей мазанки. Почистил, пообрезал ветки. Все это он проделал молча, потом собрал всех детей и каждому, кроме Жаппара, дал наказ. Некоторое время спустя он вместе с Жаппаром собрался в путь. Жители маленького зимовья, затерявшегося в степи, стоя возле своих лачуг, долго смотрели им вслед.

Когда они, навьючив на серого ишака обшарпанный, выцветший полосатый корджун, вышли из ворот, соседки нетерпеливо спросили у матери:

— Куда это подался мастер-горшечник?

Мать недоуменно пожала плечом.

На какой путь решился вдруг отец, не знал до сих пор и сам Жаппар. Разное рассказывали люди об его отце. Но что было правдой, что — досужим вымыслом, а то и просто сплетней, не представляли толком и сами дети. Более того, тайной было само появление горшечника. Однажды ненастной осенью прибыл он с каким-то караваном в эти края, да так и остался на зимовье. Молчаливый замкнутый крупный чернолицый мужчина оказался незаурядным умельцем: под его пальцами словно оживала самая обыкновенная глина. Вскоре он зажил самостоятельно: в искусном горшечнике нужда была большая. Взял в жены девушку-сироту. Пошли один за другим дети. Из них он особенно любил и постоянно держал при себе первенца — Жаппара. Была у отца странная привычка — смотреть на все и всех пристально и строго; он

замечал каждое движение, каждый порыв и прихоть своих детей; и только когда он смотрел на старшего, глаза его теплели, смягчались от непонятной нежности. Но и нежность он проявлял по-особому. Он не обнимал детей, не обнюхивал их, как это принято у степняков, даже в знак одобрения не хлопал по спинам. Но удивительно: от Жаппара он каждый раз отводил, прятал как бы суровый, колючий взгляд. И Жаппар это чувствовал, но не мог себе уяснить, чем он заслужил отцовскую милость. Во всяком случае уже года два сын, выполняя поручения отца, не озирался боязливо по сторонам, как прежде, а держал себя вольно и достойно.

Отец время от времени выезжал на поиски глины. Из зимовья на берегу безымянной речушки, не то впадавшей в могучую реку, не то вытекавшей из нее, он выходил, ведя на поводу ишака, спозаранок и весь день плутал по степи, по оврагам, буеракам, возвращаясь к вечеру с полными разноцветной глиной корджунами. Два года назад, в весеннюю пору, в один из таких своих походов взял он с собой сына. Отец шагал впереди, на расстоянии брошенной палки, а сын — подросток, еще не ходивший далеко от аула, трусил позади верхом на ишаке. Они прошли низину, лужайку за аулом, где паслись козлята и ягнята, и поднялись на песчаный косогор. Отсюда, с вершины, все виднелось далеко вокруг. Там, внизу, в лощине, окруженной бокастыми рыхлыми барханами, притаился их кишлак — разбросанные там, сям, точно горсть джугары на дастархане бедняка, невзрачные, плоские мазанки. Крохотные участки земли, огороженные полуобвалившимися дувалами, издалека напоминали хитросплетение мозаик. Над крышами вился, точно пук растеребленной шерсти, сизый дымок. Родной кишлак, который, чудилось ему, не просто исходить от края до края, теперь со стороны, с гребня бархана, казался особенно маленьким и убогим. Чуткое, пылкое сердце подростка, испытывавшее боль, сочувствие и жалость ко всему маленькому и беззащитному, сейчас, при виде неказистого, в бурых пятнах кишлака в низине, неожиданно и странно дрогнуло.

Колотя пятками неторопливого ишака, мальчик спешил за отцом, ушедшим вперед. Рыхлая супесь постепенно сменилась твердым суглинком. Путники поднялись на ровное, как доска, плоскогорье. Горизонт, казавшийся в кишлаке таким близким и доступным, здесь, на плато,

необычайно расширился. Небо, одним краем задевавшее землю, тут, на просторе, стремительно рванулось ввысь.

Отец с каким-то упорством шел все дальше и дальше, будто задался целью непременно дойти до горизонта. А Жаппару тот зыбившийся вдали таинственный горизонт чудился недосягаемым. Гладкое почти, со скудной растительностью плоскогорье тянулось бесконечно: сколько бы ни трусил покорный ишачок, а все казалось, будто стоит на месте.

Солнце перевалило зенит, а отец, угрюмый, суровый, шел не останавливаясь. Лишь после обеда впереди на однообразной равнине они увидели круглый холм. Вначале он казался довольно высоким, но при приближении холм оседал на глазах, будто какое-то чудище подтачивало его снизу, а когда путники подошли уже совсем вплотную, он как бы и вовсе слился с равниной.

Отец поднялся на вершину холма и долго стоял, всматриваясь в далекую даль. И хотя он отправился на поиски глины до самого холма, не поинтересовался почвой под ногами. Но и добравшись до холма, он, казалось, забыл про глину, а высматривал что-то совсем другое там, за горизонтом. Вдали дрожало, зыбилось, курилось голубоватое дремотное марево, словно стараясь смягчить суровый, жесткий взгляд отца. Мальчик был заметно взволнован безбрежностью пространства, необычайной, звенящей тишиной, величавым покоем вокруг. Временами он чувствовал нечто похожее на оторопь, по спине прокатывался холодок, будто он один на один столкнулся нежданно-негаданно с каким-то чудищем-великаном, который и в страшном сне не снился. У серого ишачка тоже слезились глаза; он удивленно помаргивал и прядал ушами. Мальчик тщетно силился понять, в чем заключалось притягательное колдовство беспокойного и куда-то манящего миража у далекого горизонта и почему у отца, так жадно вглядывавшегося вдаль, все мрачнее становится лицо.

С той поездки в мальчика точно вселился тревожный дух. Отныне он будто задыхался в тесной лощине, укрывавшей их кишлак. Он уже не мог, как прежде, увлеченно копаться в крохотном садике за их мазанкой. Его неодолимо влекло на простор. Теперь он с охотой выгонял на выпас козлят и ягнят маленького кишлака. Он выбирался подальше из узкой лощины, отпускал козлят на лужок, а сам, лежа на спине, зачарованно смотрел на

небо. И постепенно к необъятному миру, словно онемевшему от извечной тишины, вдруг возвращались звуки, которые, казалось, только и поджидали мечтательного подростка. Вначале под необъятным и бездонным куполом небосвода неожиданно оживал невидимый жаворонок: вскоре к его звонкой трели подключалось многоголосое щебетанье и с неба и с земли; возле бесчисленных зияющих норок грелись на солнышке, лоснясь тугими боками, суслики и, разморенные теплом и истомой, блаженно пересвистывались. Немного поодаль с удовольствием щипали нежную весеннюю мураву ягнята и козлята, и их хрумканье слышалось подростку очаровательной мелодией. Звуки и шорохи заполняли весь мир. А перед глазами голубело бескрайнее небо.

Очутившись наедине с беспредельным мирозданьем, подросток долго-долго лежал на приятно разогревшейся земле, предаваясь неизъяснимым грезам, точно погружаясь в омут неведомых мечтаний. Он с упоением впитывал радость и восторг, навеянные благодатной тишиной и щедрой природой, чуждой спешки, суеты и мелочных, может, совсем необязательных, ненужных забот. Взгляд не мог насладиться таинственной игрой теней, переливом красок, заполнявших пространство между небом и землей. Легкое белесое облачко, как бы нехотя, невесомо поднимавшееся над краем горизонта, мерещилось тайным посланником невидимого творца вселенной, отправленным, чтобы разведать, узнать, что происходит в подлунном мире. Неслышно скользнула по небосклону пушистая тучка, отбрасывая прозрачную тень; казалось, мягкие ладони оглаживали нежно поверхность земли. Вот она, неуловимая тень, чуть коснулась и его, погруженного в свои сладкие видения подростка.

Он вздрагивал, как от прикосновения потусторонней силы. Но тут облачко скользнуло, проплыло дальше, солнышко, вновь выглянув, припекало заметнее, и благостная дрема продолжала убаюкивать мальчика. Хрупкая грудь его, еще не познавшая стужу жизни, наполнялась благодатным теплом весеннего солнца, и мечты бесконечной вереницей, дивно разрастаясь, проходили перед его затуманенным взором.

От долгого лежания немела спина, тяжестью наливались ноги. Мальчик приподнимался на локтях. Звуки улеглись. Солнце клонилось к закату. Но словно беспокоясь за

мечтательного подростка, который, забывшись, может остаться один в безлюдной степи, оно, повиснув у горизонта, вприщур наблюдало за ним. И, только заметив, что мальчик встал, поднял лежавший в стороне прут и направился к своим ягнятам, оно скользнуло за горизонт.

С наступлением сумерек вместе с дойными верблюдицами, с ревом спускавшимися по песчаному косогору, возвращался с выпаса и козопас в кишлак, зажатый лощиной.

То, что Жаппар сторонился кишлачных мальчишек, день-деньской резвящихся на пыльных пустырях между мазанками, и предпочитал одиночество, видно было по душе отцу. В свою мастерскую, куда он неохотно допускал посторонних, отец однажды сам привел Жаппара. В мастерской, приютившейся в углу дувала, пахло сыростью и горелой глиной.

Едва отец сел за гончарный круг и раскрутил нижнее колесо станка, тихий закуток наполнился резким, дребезжащим скрежетом, точно в клочья разрывавшим тишь, и черный, до блеска отполированный круг начал вращаться с неимоверной быстротой. Сухая пепельно-серая глина, бог весть из какой дали доставленная на ишаке, сначала превратилась в тугое месиво, а потом на стремительном гончарном круге обрела новые, совершенно замысловатые формы.

Жаппар с жадным любопытством, словно на чудо в руках заезжего фокусника, смотрел на тугие оголенные икры отца, в холодно-пристальные глаза, неотрывно следившие за вращением колдовского круга. Он впервые видел чудодейственную силу согласованных человеческих движений. Казалось совершенно непостижимым, как из чего-то обыденного, незначительного — из ничтожной глины, разбросанной между степными травами, из воды, неизвестно, откуда вытекающей и куда исчезающей, от неверного пламени, рождающегося из сухих и ломких ветвей саксаула и превращающегося в дым, из мимолетных, почти неуловимых движений — могут появиться удивительно красивые вещи, способные радовать взор.

Вскоре отец усадил за гончарный круг сына. И Жаппар чутко уловил: чтобы сотворить прочный и красивый кувшин, нужны не только глина и вода, не только ярко пылающие под кузнечными мехами уголья саксаула, но и недюжинная «черная» сила, огромное напряжение всех мышц, зоркий взгляд, способный замечать каждую пес-

чинку, каждую крупинку, постоянная борьба надежд и сомнений, изматывающая душу и нервы — все девяносто ответвлений чувствительных жил, стремление и старание, жестокая, постоянно преследующая неудовлетворенность собой и великое, поистине святое терпение, и, должно быть, еще многое другое, чему нет точного названия в человеческом языке.

На старое верблюжье седло в углу среди хлама теперь уселся отец. Он так же пристально и придирчиво следил за каждым движением сына, как еще недавно наблюдал за работой отца Жаппар. Однако на лице отца не было ни тени удивления или восхищения. Сын чувствовал на себе лишь его неумолимый, колючий взгляд. Казалось, опытный мастер-горшечник своим суровым взглядом хотел как бы подстегнуть, закалить душевные порывы неокрепшего юнца.

С утра до вечера чувствовал Жаппар на себе пытливый взгляд отца, и тогда впервые осознал, что истинного мастера оттачивает и закаляет посторонний глаз. Понял он тогда также, почему отец не пускал любопытствующих в свою мастерскую. Подлинный мастер не может и не должен раскрывать каждому встречному-поперечному тайны своего ремесла, точно так, как знающая себе цену красавица искусно укрывает свои прелести, одним лишь мимолетным взглядом умея возбудить желание. Люди не должны видеть капельки пота на измученном челе мастера, его усталость, отчаяние, мучительно сдвинутые брови, достаточно того, что они видят творение его рук — пусть любуются, удивляются, восторгаются. Для мастера-творца нет большего счастья. Мастеру отнюдь не безразлично, как смотрят на изделие его рук. Ему свойственно смущаться, съеживаться, замыкаться в себе под неодобрительным взглядом, и, наоборот, испытывать ликующую радость, гордость при виде восхищения в чужих глазах. Больше всего радовался опытный горшечник не вполне опрятным поделкам сына, а тому, что он не равнодушен к вниманию людей, чуток к постороннему взгляду и по-хорошему честолюбив. Он благодарил судьбу за то, что в одном из его сыновей теплилась искорка вдохновения. И с того дня со всей одержимостью и упорством принялся обучать сына любимому ремеслу.

Отныне Жаппар просиживал целыми днями в сырой тесной мастерской отца. Вскоре он научился не замечать

резкого запаха горелой глины. И к визгливому скрежету гончарного круга быстро привык. Он уставал от этой утомительно-однообразной работы, однако ни скуки, ни — тем более — отвращения не чувствовал. Наоборот, постигая тайну за тайной, он все больше и больше прикипал душой к отцовскому ремеслу.

Однако, должно быть, опасался опытный гончар, что нелегкий этот труд отпугнет сына, утомит, наскучит раньше времени и потому иногда на целую неделю запирал мастерскую. Пусть поразвеется сын, отдохнет. Мальчик слонялся несколько дней без дела, не находил себе места и занятия, рвался в мастерскую, к станку, к гончарному кругу.

Вскоре появились в кишлаке первые кувшины, сделанные Жаппаром. Однажды он увидел девушку, шедшую с его кувшином за водой. Это его так поразило, что он шел за ней до самой реки. Стройная, тоненькая девушка, слегка покачиваясь, дошла до крутого берега, наполнила его кувшин водой и, мягко ступая по пухляку, медленно направилась в кишлак. Юный гончар, сдерживая дыхание, юркнул за дувал. Страх овладел им: а вдруг догадается прелестная дева, зачем он бредет за ней...

Теперь в кишлаке, пожалуй, нет такого дома, где бы не пользовались кувшинами Жаппара.

И все, наверное, пошло бы своим чередом, если бы отца не позвала таинственная дума в далекий путь...

Казалось, пескам не будет конца краю. Сколько бы они не брели — вокруг ни живой души. Изредка что-то промелькнет перед утомленными глазами, подойдешь — не то куст тузгена, не то саксаул. Куда они идут, Жаппару неведомо, и это делает путешествие по унылым бесконечным пескам еще более бессмысленным.

Жаппару стало невмоготу брести по барханам — все вверх и вверх — вслед за угрюмым отцом и покорным ишаком. Юноша бросается навзничь на раскаленный песок. Над ним — в извечном молчании застывшее небо. Обшарь его глазами от края до края — ни единого облачка не заметишь. И только у горизонта, возле узкой полоски между небом и землей, что-то дрожит. Чем выше, тем прозрачнее, бездоннее небо. И, кажется, хранит оно великую тайну, и недоступен его язык человеку. Юноша вскакивает и, вспахивая ногами сухой, податливый песок, бежит вдогонку серому ишаку.

К вечеру, когда солнце повисло над горизонтом, горбатые барханы начали редеть; впереди простиралась песчаная равнина. И только тут отец остановился и внимательно огляделся окрест.

Пески были испещрены загадочными морщинами... Отец долго вглядывался в причудливые кольца и извилины, нарисованные пустынной бурей на мягком песке, казалось, он читал суру из священной книги, переписанную каким-то загадочным каллиграфом на это бескрайнее пространство. Потом, еще раз оглянувшись, решительно повернул к востоку.

У стыка красных песков с бурым подзолом началась продолговатая впадина. С наступлением сумерек приземистые песчаные холмики стали отбрасывать более длинные тени, и оттого они словно вырастали, возвышались, устремляясь к редким перистым облакам, откуда-то появившимся на потускневшем небосклоне.

Серый ишак словно погружался в черный омут... Пологий поначалу склон впадины становился все круче. Отец, видно, не решался углубиться в мрачные заросли. Дойдя до такого места, откуда еще вполне проглядывался край впадины, он остановился и привязал ишака к саксаулу. Потом отвел Жаппара в сторонку шагов на двадцать. Здесь, в густой саксаульной чащобе, он нашел укромное место, откуда было удобно наблюдать за краем впадины, и приказал Жаппару залечь.

— Смотри в оба, пока я не вернусь!

Отец, отстраняя рукой кривые саксаульные сучья, осторожно двинулся вглубь. Сухой валежник потрескивал под его ногами. Вскоре треск утих. Видно, и отец нашел себе удобное укрытие...

В тугайных зарослях было сыро и прохладно... Запах прели и пыльцы жузгена щекотал ноздри. Багрово-красные лучи заходящего солнца точно застряли в верхушках саксаула, не в силах пробить непролазную чащобу. В зарослях быстро смеркалось. Сквозь узкую щель едва зияла песчаная полоска впадины, Жаппар, зябко поеживаясь от одиночества, прислушивался, но даже шороха не расслышал.

Усталость от долгой, изнурительной ходьбы понемногу одолевала его, веки отяжелели, поневоле смежились. Юноша стряхивал с себя сонливость, с усилием открывал глаза.

И вдруг впереди будто что-то промелькнуло. Жаппар протер глаза. Да, верно: путник на верблюде. Голова была обмотана высоченной чалмой. Огибая чащобу, путник подстегивал рыжего дромадера, спешил в сторону песков. На луке верблюжьего седла покачивалось что-то тугое, похожее на узелок. Должно быть, бурдюк с водой. Жаппар только теперь почувствовал, как пересохло у него во рту, как нестерпимо хочется пить. Кружилась голова, сердце колотилось. Он застыл, не отрывая взгляда от быстро удалявшегося одинокого путника. Только теперь увидел: в правой руке путник держал белый остроконечный посох, увешанный разными побрякушками. Выходит, дивана... Бродяжий заклинатель. Юродивый. Одетые в пеструю рвань, дивана изредка заезжали в их кишлак. Вспомнив родной кишлак, Жаппар заскучал, запечалился.

Голова раскалывалась, клонилась на грудь. Юноша наскреб горсть влажной, холодной глины и приложил к горячему лбу.

Солнце скрылось за дюнами. В щель было видно, как плыли вечерние тени. Вскоре непроходимую чащу плотно обступил сумрак. Казалось, ночная темь повисла у самого края впадины, не решаясь проникнуть в саксаульные заросли. Небо белесое, бледное. В его неверном отблеске белый песок за опушкой обрел золотистую окраску. Кривые, затейливо переплетенные сучья кустов точно сомкнулись, скованные мраком.

Узкая, как лезвие ножа, лиловая полоска света над краем обрыва, постепенно тускнея, вскоре совсем погасла. В небе робко зажглись редкие звезды. Казалось, им было неловко за ранний восход, и они смущенно переглядывались, перемигивались, но понемногу освоились на необъятном небосводе, осмелели, видя, что их становится все больше и больше, и вот они замерцали уже сотнями, тысячами, зароились, наливаясь ярким светом, нависли над чащей в пустыне.

Непроглядный мрак плотно обступил со всех сторон. Ни звука, ни шороха. Тяжелая, тягучая, как смола, тишина. Все время чудилось, будто неведомая опасность подкрадывалась неслышно, по-кошачьи. В висках стучало. Оторопь сковала юношу. Он замер в ожидании, когда невидимое чудовище пустыни вонзит в него свои кровавые когти. И Жаппар впервые подумал про себя, что лучше иметь перед собой видимого врага с занесенным для удара

мечом, чем обмирать от страха в жуткую, выморочную ночь.

Она длилась бесконечно. Вдруг в конце чащи послышался шорох. Кто-то шел напролом, пробиваясь сквозь заросли кустарников и саксаула. Потом шорохи усилились. Вскоре в чаще затрещало, загудело, точно пламенем охватило сухостой. Корявый пень саксаула, за который давно уже держался оробевший юноша, как бы прильнул, прижался к нему; казалось, даже пень всерьез встревожился перед гулким, стремительно и неудержимо накатывавшимся треском. Жаппар еще в детстве слышал о диковинных зверях, обитающих в непроходимых зарослях. Он принюхался, пытаясь уловить звериный запах, однако ничего не учуял.

Треск усилился, сливаясь в жуткий гул. Точь-в-точь косяк одичавших животных ошалело мчался в зарослях, круша все на своем пути.

Сухой ком застрял в горле Жаппара. Он хотел отнять руку от корявого пня, но не мог: пальцы свело, как в судороге.

Грохот, накатываясь, почти настиг его укрытие и вдруг, как захлебнувшись, откатился назад. Только теперь ослабли и разжались занемевшие пальцы. Упругая ветвь дрогнула, и саксаул издал невнятный шорох. Но Жаппару он померещился грохотом камня, обвалившегося с горы. На мгновение, казалось, и треск валежника на краю чащобы умолк. Может, и там услышали шорох и насторожились? Жаппар от волнения не знал, куда девать руки. Он опустился на корточки и дрожащими руками крепко стиснул колени. Недавний грохот угас, унялся, словно и не было ничего. Юноша напряг слух. Все вокруг вновь погрузилось в безмолвие.

И вдруг прямо впереди, будто рядом, ярко вспыхнул огонь. Жаппар не поверил своим глазам, крепко зажмурился. Когда он снова открыл глаза, огонь впереди разгорался еще ярче. Длинные языки пламени жадно метались по сторонам, вытягивались вверх, и нежданное ночное зарево, раздвигая мрак, заметно притупило тусклый блеск звезд. Вокруг огня мелькали фантастические тени, копошились какие-то люди. Некоторые выныривали из аспидно-черной темноты, швыряли что-то в огонь, и тогда пламя, взметнувшись, сыпало ослепительными искрами. Что за люди хлопотали глубокой ночью вокруг костра,

Жаппар не знал. От обрыва к огню, причудливо перекрещиваясь, тянулись тонкие, длинные, как шест, тени. Присмотревшись, юноша увидел на стыке света и мрака несколько оседланных лошадей. Поводья были крепко привязаны к луке. У тех, что стояли ближе к огню, сверкали при отблеске пламени ножны, навешанные на седла. Страх понемногу проходил, уступая место удивлению и любопытству. Должно быть, разбойники, если держат при себе оружие и рыщут по безлюдной пустыне под покровом ночи. Возможно, именно их опасался отец, хоронясь в тугайных зарослях? А чего ему бояться? Разбойникам с большой дороги, подстерегающим богатые купеческие караваны, брать с отца нечего...

С опаской поглядывал Жаппар из-за своего укрытия на ночных людей, безмятежно расположившихся вокруг ярко пылавшего костра. Но они даже не смотрели в сторону чащи. Уселись в круг и что-то оживленно обсуждали, головами кивали, руками размахивали. Долго следил за ними Жаппар, наблюдая за причудливой игрой несуразно длинных теней, разглядывая высокие мохнатые шапки и длинные сабли, болтающиеся на поясах. Юноша понемногу приходил в себя. Тот начальный липкий страх, настигший его вместе с мраком, отпустил его. Как ни странно, костер, горевший впереди, и эти люди успокаивали его, словно разделяя одиночество. Стая хищников с оскаленными клыками, чудившаяся недавно в его воспаленном воображении, тоже исчезла. Ощущения притупились. Вновь тяжело навалились усталость и сон. Тени по-прежнему мелькали у костра, но они уже просто казались нелепым видением; юноша недолго боролся с дремотой; сон сморил его.

Проснулся оттого, что кто-то коснулся его плеча. Рядом стоял отец. Он молча поманил пальцем. Они направились к саксаулу, где с вечера томился на привязи покладистый серый ишак. Отец повел его на поводу, пошел в сторону обрыва, по которому они спускались вчера.

Едва они выбрались из чащи, забрезжил рассвет. У опушки юноша посмотрел туда, где ночью горел костер. На том месте чернела круглая проплешина. Но ни одной живой души вокруг.

Жаппар поразился. Выходит, в полудреме он и не заметил, когда и как ушли эти странные люди. Вскоре отец с сыном выбрались на широкую караванную дорогу, по-

крытую пухляком. Далеко впереди, сливаясь с горизонтом, виднелись пестрые горы. А ближе в прозрачном утреннем воздухе темнело что-то огромное, зубчатое. Неподалеку, на расстоянии конских скачек, торжественно тянулся в сторону предгорья невиданный доселе Жаппаром красочный богатый караван. Впереди каравана, вокруг могучего слона с золотистым шатром-паланкином, гарцевали всадники-нукеры. Караван сопровождала с двух сторон конная охрана. В самом конце ехал еще один отряд, вооруженный копьями. Длинное нарядное кочевье медленно спустилось в низину, плотно окутанную голубоватой дрожащей дымкой. Отец с сыном брели позади, стараясь не упустить из виду караван, но и с опаской поглядывая на грозных воинов, вскинувших над головами острые копья. Должно быть, эти воины и разожгли прошлой ночью костер на краю чащобы. Жаппару теперь стало ясно, почему отцу понадобилось укрыться на ночь в густых зарослях тугая. Ведь все дороги и тропы, выходящие из Великих Песков, зорко охраняются вооруженными отрядами, и не приведи аллах попасть им в руки в неурочный час. Не пощадят невинного, случайного путника. Но юноша еще не догадывался тогда о том, что эти воины были нарочно высланы вперед, как дозорная часть, обязанная обеспечить безопасность продвижения каравана мимо буераков, ущелий, тугаев и прочих разбойничьих притонов. Не знал он и того, что в золотистом паланкине за шелковыми занавесками сидела новая жена великого Повелителя — младшая ханша. Обо всем этом он узнал потом, во время чаепития, из уст словоохотливого хозяина плоскокрышей приземистой мазанки, которую отец еле разыскал среди узких и извилистых, как лабиринт, улочек, зажатых между глиняными дувалами на окраине большого города.

То был бай Ахмет, хозяин дома, где и поныне проживал мастер Жаппар. Ахмет долго стоял тогда перед ними, не узнавая отца. Толстый, чернявый человек, уверенно расставив короткие ноги, застыл у двери. Маленькие, узкие глазки на широком лоснящемся лице смотрели подозрительно.

Отец обстоятельно все объяснил.

— Вы что, почтенный Ахмет? Неужто запамятовали меня? Я — гончар из Ор-тюбе. Помните? Когда вы приезжали по торговым делам, не раз у меня ночевали. Сами

еще говорили: «Будешь в городе, останавливайся у меня». Вот я и разыскал вас...

Хозяин узнал, наконец, гостя: приветливо приложил руки к груди. Потом открыл ворота. Грузно переваливаясь, провел гостей в дом. В отдельной комнатке трое мужчин долго пили чай. Тут-то купец и выложил все последние городские новости.

Отец в конце беседы сказал:

— Как видите, привел я сюда сына. Пока еще жив, хочу поручить его вам. Недавно проходил через наш кишлак один дервиш. От него я узнал, что Повелитель намерен построить в городе новую мечеть и для этого отовсюду собирает мастеров. Помогите, чтобы мой сын попал к ним.

Выяснилось, что Ахмет едва ли не всех знает в городе, кроме людей из ханского дворца. Однако после задушевной беседы за душистым зеленым чаем на базаре с такими же, как он, торговцами оба мастера-гончара из Ор-тюбе, отец и сын, за какую-нибудь неделю оказались в числе строителей новой ханской мечети. Но едва выложили ее основание, отца свалила застарелая хворь.

Всего два месяца посчастливилось юному мастеру работать бок о бок с отцом. На стенах минарета, становившихся с каждым днем все круче, он чувствовал себя, как неоперившийся птенец и сжимался весь, съеживался под любопытными взглядами. И так он беспокойно озирался по сторонам весь нескончаемый день — с того мгновения, как солнце поднималось на высоту аркана, до того, как оно, изойдя нещадным жаром, скрывалось за горизонтом. Здесь, на вершине, на виду у всех, робкий юноша испытывал скованность и неловкость, и, не смея поднимать глаза, застенчиво косился то на солнце, то на других мастеров-каменщиков, копошившихся на стенах мечети, то в сторону соседнего медресе, откуда, по слухам, наблюдал за ними, не спуская глаз, сам Повелитель.

Как на раскаленных угольях чувствовал себя Жаппар. Он изводил себя на работе; волнение, какая-то лихорадочная дрожь, нетерпение не оставляли его. Однажды вернулся он после работы домой и застал отца в тяжелом состоянии. Отец поманил его слабеющей рукой. Глаза Жаппара при виде угасавшего отца наполнились слезами; он даже не мог разглядеть его лица. Все поплыло вокруг, закачалось, замелькало, будто их комнатка невзначай по-

грузилась на дно озера. И в этом колыхающемся мире неподвижно белело беспомощное, высохшее тело старого гончара из Ор-тюбе. Из впалой груди вырывались хлюпающие звуки, не то стон, не то мольба, не то плач; они становились все реже, все слабее, а вскоре и вовсе оборвались. Сухая, жесткая рука безжизненно выпала из горячих ладоней юноши.

Теперь в большом и чужом городе он остался совершенно один. Он даже не мог вспомнить, что хотел сказать перед смертью отец. Одно только слово, без начала и конца, точно невнятный лепет, застряло в памяти: «Не уезжай!». Теперь, взобравшись на макушку минарета, он ряд за рядом клал кирпичи, каждый раз на мгновение взглядывал вперед и больше ни на что не обращал внимания. Да и на что смотреть? Все одно и то же: приземистые глиняные домики и редкие пыльные чинары. Голубоватое небо во всю свою мощь и ширь, точно упиваясь своим величием, раскинулось над огромным пестрым городом. Юноша-мастер уже заканчивал тот первый в своей жизни минарет, но с вышины его он так и не увидел ни горизонта, ни бескрайнюю бурую степь, по которой пришли они с отцом сюда.

Да-а... то было восемь лет назад.

И вот опять растил он стены нового, более высокого минарета. И снова, как тогда, кладя кирпич за кирпичом, каждый раз на миг смотрел вперед. Глиняных приземистых домиков стало еще больше, дувалы — еще плотнее, улочки — еще теснее, и — казалось — они закрывали горизонт серой, как зола, пеленой. Еще недавно соперничавшие по высоте с новой башней и расположенные неподалеку медресе, мечети, минареты теперь безнадежно остались внизу, словно осели, растворившись в мглистой дали. С невиданной высоты уже проглядывались загородние сады.

Жаппар настойчиво поднимался все выше и выше, навстречу необъятному, прозрачному небу, где не за что было уцепиться... Он был уже во власти неуемного азарта: с каждым новым рядом стремился еще дальше, еще выше. С таким отчаянием со дна омута рвется утопающий на божий свет.

И те загородные сады, темневшие вдали, с каждым днем становились ниже, неказистее, неприметнее, пока не превратились в пеструю лиловую полоску, обрамлявшую

серо-мутное пространство города. Вскоре стало возможным различить и линию горизонта, еще недавно сливавшуюся с пестрой лиловой полоской, напоминавшей грязный клок шерсти на верхушке куста. Белесое, застывшее марево над узкой полоской далеких загородных садов поредело, поразвеялось, и все отчетливее просматривалась прозрачная синь.

Как-то, после полудня, когда в прозрачном воздухе растаяла хмарь, сквозь стылую синеву вдали Жаппар вдруг углядел что-то рыжеватое. Не веря своим глазам, он положил мастерок на кладку, тыльной стороной руки смахнул пот со лба и вгляделся пристальнее. Да, он не ошибся: за густой синевой у горизонта отчетливо увидел на этот раз продолговатое рыже-бурое пространство. Так видится дрожащее дно сквозь прозрачную глубину.

Жаппар весь подался вперед, вытянул шею. Об этом мгновении он давно мечтал. Голубоватая легкая кисея горизонта, долгое время застилавшая ему даль, сейчас будто сжалилась над зоркоглазым юношей, не устояла под его жадным, нетерпеливым взглядом, дрогнула и отступила, раздвинулась. Серо-бурое пространство, притаившееся за смутным пологом горизонта, теперь ширилось, разрасталось на глазах, неумолимо вклиниваясь в низовье, обрамленное дрожащей синеватой полоской.

Поднимаясь кирпич за кирпичом, ряд за рядом выше, выше, Жаппар уже не в силах был избавиться от ощущения, будто из-за дальней дали неудержимо накатывалась грузная и могучая волна, готовая вот-вот разом накрыть, захлестнуть все на своем пути — и кусты, и непроходимые заросли тугаев, и кажущиеся издалека неприступными минареты, и голубые купола мечетей, и слепленные из желтой глины мазанки и дувалы. И еще мерещилось ему, что простор, стремительно надвигавшийся из-за открывшейся вдруг черты, спешит сюда, чтобы освободить его, одиночку, пришельца, сироту, лишившегося своей вольной степи и заживо замурованного в кирпичные стены...

Он не спустился с вершины минарета, пока не закатилось солнце и не сгустились сумерки. Наутро, чуть свет, он вновь был там же. И такое лихорадочное состояние длилось целую неделю. Лишь там, на минарете, имея возможность видеть перед собой огромное пространство, загадочно простиравшееся за столичным городом Повели-

теля, он находил себе успокоение. Однако никаких перемен в той манящей дали он не заметил. Целыми днями с нетерпением ждал Жаппар, когда улетучится дымка у горизонта — затейливая игра теней. Но лишь после полудня миражи куда-то исчезли, простор открывался, сквозил, а пустыня, о которой так тосковала душа, оставалась безмолвной, безучастной ко всему на свете, не приближаясь и не отдаляясь. Это приводило его в уныние. И она, пустыня, точно этот опостылевший город, убивала своим равнодушием пылкие мечты молодого мастера, скрывала в своем безбрежном лоне родной и любимый до боли клочок земли, делая вид, что ничего не знает и не понимает.

Радостная надежда, которой он жил все эти дни, разом погасла. Вершина минарета уже не влекла его. Раньше минарет чудился ему единственной дорогой, по которой он мог выбраться из душной теснины ханской столицы на желанный и вольный простор. Ну, что ж... из духоты и тесноты он, пожалуй, выбрался, на это он еще оказался способным, но вдохнуть жизнь в безликое пространство, избавить его от немоты и бездушия ему, очевидно, не под силу. И, выходит, напрасно он только радовался и ликовал, когда поднимался хотя бы на вершок, будто одолел горную вершину, напрасно тянул жилы, отказывая себе во всем... Одни муки достались на его долю.

Теперь он чувствовал себя человеком, который по наивности пытался перейти широкую и бурную реку, вымащивая брод камнями, но потом запоздало понял, что ничего не выйдет из этой затеи, и застрял на середине пути, не смея ни вперед шагнуть, ни назад отступить. Идя по утрам на работу, Жаппар отныне с досадой и неприязнью косился на сотворенный им минарет, который хотя и вознесся горделиво над землей, однако к поднебесью так и не дотянулся. На стены минарета он поднимался с трудом, задыхаясь. Ноги наливались тяжестью, подкашивались, голова кружилась.

Ослепительное солнце выжгло и еле различимую отсюда бурую пустыню, и недавно еще темно-синюю полосу загородных фруктовых садов, и само небо над городом и окрасило все в лиловый цвет спаленной травы-гармалы, из которой осенью женщины готовят щелочь. Казалось, некое невидимое чудовище, сказочный злой великан, засучив рукава, разводил на земле гигантский костер и сжигал все дотла, чтобы из горы пепла и щелочи варить

потом в необъятно-огромном казане черное, как деготь, мыло. И раскаленное солнце чудилось все сжигающим огнем под тем непомерно-громадным казаном.

Странная тяжесть и безразличие сковали движения. Внимание рассеивалось, мысли путались, при всем своем желании и старании он не мог сосредоточиться. Перед его глазами нет-нет да и возникало вновь давно забытое видение, от которого сладко сжималось сердце. Белесое небо на мгновение превращалось в неприглядную в своей убогости лощину, где прошло его детство. В мыслях он отчетливо видел родной кишлак. Вон и ягнята, резвясь, спешат на выпас, и над ними вьется-тянется сизый шлейф пыли... И вдруг этот тонюсенький след оборачивается туго сплетенной косичкой... Стройная, гибкая девушка, слегка покачиваясь, идет к реке. Множество косичек трепещет, извивается на ее спине. На плече девушки — кувшин. Его, Жаппара, кувшин...

Он вздрагивает вдруг, будто кто-то ущипнул его невзначай. Действительность возвращается к нему. Он встревоженно оглядывается вокруг. Все то же: полдень, изнуряющая, отупляющая жара, кирпичные стены минарета. Внизу — сонный, точно вымерший город. Над головой — выгоревшее пепельное небо.

Жаппар мысленно представляет только что промелькнувшие видения. Вспоминает родной кишлак. Почему он не остался там? Делал бы, как прежде, свои кувшины. Разве не все равно кем ты проживешь свой век в этом мире: чабаном или торгашом, горшечником или строителем ханских минаретов? В конце концов все они копошатся и суетятся ради существования. И еще неизвестно, кто больше преуспевает, кто больше наслаждается жизнью. И — кто знает — может, выгадывает тот, кто ни на шаг не отрывается от земли, живет себе, как предопределено самой судьбой, а не бросается, очертя голову, в неведомый омут, где кипят страсти, повседневно, ежечасно отчаянно борются надежда и сомнения, где на долю одинокой душе падают одни лишь муки и страдания... Жил бы он себе тихо и скромно в своей ветхой лачуге за глиняным дувалом, даже представления не имея о тоске и одиночестве, царящих в многолюдном городе. И что только так властно притягивало уже обреченного отца в этом человеческом муравейнике? Что он в нем нашел? На что надеялся? Только и хватило его здесь на полгода.

Умер на чужбине, вдалеке от родного очага. Жена и дети даже горсть земли не смогли бросить на его могилу. И все же у ворот смерти успел прохрипеть: «Не уезжай». Что это означало?

Остался Жаппар... Только много ль радостей изведал? В том ли смысл и прелести жизни, что попеременно оказываешься в объятиях то слепой, в цветастые лохмотья наряженной надежды, то убогой скуки, волочащей по земле свой измызганный, серый подол?

Почему отец так страстно желал, чтобы из его сына вышел чуткий мастер с божьей искрой в груди? Почему не обучил какому-нибудь простому, неприметному ремеслу, с каким, худо ли, бедно ли, прожил бы положенный век, не ведая ни горя, ни сомнений, ни обманчивых желаний? Помнится, отправляясь на поиски глины, отец подолгу стоял в безлюдной степи, задумчиво и отрешенно глядя куда-то вдаль. Неужели он тогда мечтал об этом городе, лежащем теперь у ног сына, несуразном, нелепом муравейнике, разморенном от зноя и покрытом пылью?!

Теперь вот и он, следуя заветам отца и зараженный его неуемной страстью, устремился навстречу миражу-мечте, все выше, выше, отчаянно ловя точку опоры в безбрежном пустом пространстве. Строить основание на зыби, искать опору в пустоте — напрасные потуги, безумная затея.

...То ли от невыносимой жары и духоты, то ли от тоски и отчаяния, отравляющих сознание, в глазах молодого мастера потемнело, и все вокруг поплыло, точно в мареве. Опасаясь упасть с высоты минарета, он поспешно спустился на две ступеньки. Странная, зыбкая пелена перед глазами словно густела, мрачнела, и шершавые кирпичики, едва схваченные раствором, еще не обмазанные глиной, тоже вдруг стали терять розоватый оттенок и будто уплывали из-под рук, растворяясь в загадочной сутемени. Жаппару померещилось, что он повис между небом и землей. И только черную зияющую полость под ногами, узкий гулкий колодец, по стенкам которого он поднимался на вершину минарета, все размывающий зыбкий мрак еще не успел проглотить. И вдруг черный, жутковатый ствол под ногами неожиданно вспыхнул ярким светом; потом, преломляясь, во все стороны устремились оранжевые лучики, по стенкам замелькали-заиграли блики; они

разрастались, приближались, принимали фантастическое обличье. Казалось, кто-то невесомый, молчаливый неслышно подкрадывался к нему. Уже почти поравнялся. Вот он встал прямо перед ним. Тоже будто завис, окутанный густой текучей хмарью, между белесым небом и серой бездонной пучиной. Казалось, коснись они невзначай друг друга, или столкнись в парении, оба неминуемо сорвутся в мглистую пропасть. Странное видение чуть пошевельнулось, сделало еще один шаг к нему... По всему телу пробежала дрожь. И тогда все таинственное, как болезненное наваждение, разом развеялось, исчезло, все стало на свои места и приняло привычное обличье и окраску. Под ногами, на деревянном настиле, валялась куча шершавых розоватых кирпичей. Мастерок, весь измазанный раствором, чудом удержался на краю кладки. Смутный, неверный мир, каким он снится порой в дурном сне, растворился, улетучился, как серебристая осенняя паутинка в жаркий полдень. Жаппар застыл, опешил, все еще находясь в полудремотном состоянии, между сном и явью, не в силах различить, где привидение, где подлинная действительность. Если это загадочное видение, окутанное колыхающимся маревом, было явью, то куда она исчезла так мгновенно? Но если явь и есть то самое мгновение, когда все окружающее — только действительность, то откуда вокруг взялась эта дивная молодая фея в золототканных одеждах? Что ей понадобилось в недостроенном, сырой, липкой глиной измазанном минарете? Ну, конечно, никакая она не фея: просто судьбе угодно пошутить, посмеяться над бедным каменщиком, сомлевшим от нестерпимой жары и духоты...

Через редкую воздушную накидку, увитую золотыми нитями, пытливо взирали на него большие, как черная смородина, жгучие глаза. И если бы не эти живые глаза и тонкие, насурмленные брови над ними, можно было б подумать, что игривый ветер занес на вершину минарета чью-то кисейную накидку. Таинственная хрупкая женщина, почудившаяся ему феей из древнего сказания, стояла безмолвно перед ним, облаченная в прозрачный, ослепительно белый шелк.

Жаппар, все еще борясь с наваждением, дерзко обвел ее глазами с головы до ног. Он должен был, наконец, убедиться: живая, из плоти и крови, женщина стоит перед ним, или прекрасное видение вновь подразнивает его.

Острый взгляд мастера мгновенно заметил удивленно раскрытые, жгучие, чуть раскосые глаза. От черных искр, мерцавших в глубине зрачков, казалось, вот-вот вспыхнет легкая накидка.

Женщина, должно быть, догадалась, что мастер от растерянности не верит своим глазам. Тоненькими пальчиками подхватила она подол длинного парчового платья, даже под легкой накидкой блестевшего в лучах солнца, мелко ступая, подошла к краю кладки, глянула вниз и испуганно отшатнулась. Рукой она при этом невольно потянулась к пышному саукеле, чтобы не уронить невзначай, и на нем, посередине, над лбом, ослепительно сверкнул рубин. Она хотела что-то сказать, но то ли раздумала, то ли не знала, что следует говорить в подобных случаях, промолчала и смущенно улыбнулась.

От этой неожиданной улыбки, от легкого стыдливого румянца белое кроткое личико с большими горящими глазами вмиг ожило и стало еще прекрасней. Улыбка почудилась Жаппару знакомой. Более того, и сама молодая женщина, и ее невинная, неземная красота напоминали что-то близкое, дорогое, увиденное уже однажды.

Все так же чуть приподняв подол платья, женщина направилась к ступенькам, ведущим вниз. На повороте под мелькнувшим платьем он увидел на миг ее тугие икры, плотно обтянутые белыми атласными шальварами.

Крохотная, легкая фигурка под пышно-прозрачной накидкой медленно удалялась, погружаясь в тьму узкого ущелья.

Жаппар все еще не мог прийти в себя. Хотя дивную женщину в белой накидке и проглотил мрак, но ее смущенная улыбка, застывшая в уголке вишневых губ и черные блестящие глаза, смотревшие в самую душу, словно навеки запечатлелись в вязком воздухе на вершине минарета. Он стоял неподвижно, боясь вспугнуть то чудное видение, что неведомой негой напоило сердце, и еще долго глядел, растерянный, ошеломленный, на пустое пространство, окутанное хмарью. Потом нехотя потянулся рукой к мастерку.

Нет, все-таки где и когда он мог увидеть эти нежные губки и угольно-черные блестящие глаза? Ведь неспроста эта загадочная женщина показалась ему такой знакомой. Кто она?.. Или кого напоминает? Даже походку ее он будто знает издавна и видел много раз. Однако с кем же

он сталкивается каждый день? С рабами, подносящими ему раствор и кирпич, с главным дворцовым мастером, с хозяевами дома, где живет уже столько времени. Выходит, ни о какой знакомой не может быть и речи. Выходит, и на этот раз просто показалось... Постой, постой... Может, это и была сама Зухра, хозяйская дочка, выданная замуж? Ведь и ее он впервые увидел точно так же неожиданно. Правда, он жил с ней в одном доме, видел, как она молча ходила, удивительно легко и неслышно, по двору, и лишь изредка смутно и отчего-то тревожно угадывался ее стройный, гибкий стан под просторным и длинным до пят шелковым платьем. А лицо ее всегда скрывалось под чадрой. На мужскую половину она, конечно же, никогда не заглядывала.

Однажды юный мастер пришел домой, когда купец с женой где-то задержались. Кто-то тихо напевал во дворе. Он оглянулся, подошел к навесу и увидел Зухру. Она, легко и высоко подпрыгивая, сбивала с урючины спелые плоды. Накидка соскочила на плечи, но девочка-подросток, увлеченная своим занятием, не обращала на это внимания. Но вскоре она, должно быть, почувствовала на себе его пристальный взгляд, быстро оглянулась и обожгла его огненным взглядом. Он оробел. Зухра вскинула брови и смерила его долгим взглядом, не то любопытно-шаловливым, не то осуждающе-капризным. Он тогда впервые увидел открытое девичье лицо, широкий белый лоб, прямой маленький нос и пухлые, цвета спелой вишни, губы. Зухра вдруг спохватилась, вспыхнула вся и, поспешно поправляя накидку, побежала к дому.Он все глядел вслед, не в силах оторваться от трепыхавшегося на ходу платья...

С того дня, приходя домой, он невольно высматривал юную байскую дочь. Обостренный слух чутко улавливал каждый шаг девушки, молчаливо хлопотавшей возле матери, и даже едва различимый шорох ее платья. В отсутствии отца и Зухра оживлялась более обычного, старалась почаще попадаться на глаза юному постояльцу и, делая вид, что помогает вечно озабоченной матери, шмыгала взад-вперед по двору. Мелькание ее просторного платья и легкой чадры, которая, казалось, слетит с ее головы от малейшего дуновения, навевало приятную, волнующую кровь истому, и в душе молодого мастера рождалось, зрело, крепло неведомое чувство счастья.

Однако в какой опустошительный и горестный огонь

превратилось то робкое и загадочное чувство, он понял лишь тогда, когда во дворе бая Ахмета навсегда умолк желанный шорох платьев Зухры. Только теперь он осознал, как незаметно, но глубоко запала ему в душу девочка-подросток под воздушной чадрой. Долго потом горело сердце от тоски и желания, долго клял себя за нерешительность и беспомощность. Со временем смирился со своей судьбой, убедил себя в том, что та мимолетная радость никогда уж к нему не вернется. Каким же образом Зухра вдруг очутилась сегодня здесь, на головокружительной вершине минарета? Как отпустил ее сюда ревнивец-муж с мрачными, кустистыми бровями? И как случилось так, что видя ее перед собой, любуясь ее красотой, он вновь не промолвил ни единого словечка? Она, возможно, простила ему ту первую растерянность, но сегодняшнюю его беспомощность, молчание она, конечно же, не простит. В ее представлении он теперь — живой труп, без огня в груди, без гордости и честолюбия. Искреннее сочувствие, до сегодняшнего дня не угасавшее в ее сердце, отныне наверняка превратится в холодную неприязнь.

Он подбежал к стенке, глянул вниз. У минарета стояли четыре крытые повозки. Женщина в белой накидке, казавшейся отсюда, с вышины, пушинкой под пепельной, выжженной землей, стремительно направилась к карете, за женщиной тянулась пышная свита. Несколько слуг бросилось вперед, распахнуло перед маленькой женщиной дверцу повозки, обтянутой золотистым атласом. Две женщины в желтых накидках, поддерживая таинственную гостью под руки, помогли ей подняться по навесным ступенькам. При входе в повозку от резкого движения белая накидка на мгновение взметнулась и тут же, словно ревниво оберегая ту, что находилась под ней, от чужого худого глаза, вновь опустилась. Поджарые кони, беспокойно перебиравшие ногами, рванули с места. Голубая шелковая занавеска на окошке трепыхалась, билась, играя со встречным ветром.

Молодой мастер зачарованно глядел вслед быстро удалявшимся повозкам. Сизый шлейф пыли, долго не оседая, волочился позади. Нарядный кортеж вскоре исчез за высокой оградой вокруг густого сада, в котором находился дворец младшей ханши. Только теперь Жаппару стало ясно, что за гостья удостоила его своим вниманием.

Все вокруг вдруг лишилось привычных очертаний. Из степей медленно наплывали вечерние сумерки, окутывая окрестность серой дымкой. Безразличный и вялый, спустился молодой мастер с минарета. Как всегда, помылся. Рабов давно уже угнали в крепость. Возле минарета ждала его одинокая серая повозка. Еще утром он по привычке бросил взгляд на голые, корявые, еще не облицованные стены минарета и поморщился как от боли: на фоне голубого чистого неба его творение казалось грубым, несуразным и даже уродливым. Со смешанным чувством удивления, досады и откровенного отчуждения смотрел он на каменную, никому не нужную громаду, тупо устремившуюся ввысь. Впервые сегодня он так явственно увидел и осознал всю ее претенциозную никчемность. Видно, одно лишь желание руководило им — скорее бы подняться над лабиринтом глиняных дувалов, чтобы увидеть простор степей, простиравшихся за городом. И ради этой одной-единственной цели он клал кирпич на кирпич, возвышаясь понемногу, ряд за рядом, и уже вполне довольствовался этим. И ночью, во сне, неотступно преследовало его вчерашнее видение: белая, невесомая, как мираж в знойный месяц, накидка и голубая шелковая занавеска, которую трепал на окошке повозки игривый встречный ветер. И этот легкий, трепетный мир, овеянный свежим осенним дуновением, прозрачным утренним воздухом и чистым, бездонным небом, казалось, грубо разрушала совершенно неуместная здесь каменная махина. И от этого несоответствия, внутреннего несогласия душа молодого мастера омрачилась, опустошилась.

Он, как всегда, вел кладку и после каждого кирпича растерянно поглядывал в сторону сада за высокой каменной оградой. Все чудилось ему, что из-за какого-нибудь окна, укрывшегося в тенистом саду дворца, смотрит на него юная ханша. И каждый раз, конечно, видя это каменное чудовище, воздвигнутое им, она испытывает боль и унижение. Уродство, должно быть, убивает хрупкую и нежную, как ее накидка-кисея, мечту.

У Жаппара опустились руки. Он швырнул к ногам красный плотный кирпич.

Прозрачный, синью пронизанный воздух застыл, как гладь степного озера после бури.

Он был раздавлен. Он не знал, как быть дальше, что делать... Его волнения, старания, многомесячные труды

неожиданно потеряли всякий смысл. Он понимал, что должен, как все эти долгие дни, продолжать кладку кирпич за кирпичом, ряд за рядом, но руки не слушались, это было уже выше его сил. Была у него цель, преследовавшая неотступно,— вырваться из тисков невзрачных глиняных дувалов и увидеть бескрайний голубой горизонт, словно выплеснувшийся из чаши вселенной. Это желание давно осуществилось. Увидел он, наконец, и долгожданный горизонт, точно через окошко глянул на беспредельный божий мир, только радость от этого оказалась недолгой и непрочной: желанная цель изо дня в день неумолимо удалялась, уплывала. Еще недавно этот минарет, дерзко устремившийся ввысь, казался ему могучей рукой доброго и всесильного великана, освободившего его из затхлого, душного мирка городской окраины и поднявшего на спасительную высоту; однако теперь минарет держал его на привязи, не позволял свободно парить в поднебесье, сковывал порывы и потому напоминал темницу-зиндан, построенную только не под землей, а под небом. Словом, мастер чувствовал себя пленником, который не в силах и на землю опуститься, и в небо взмыть... Будто дивным образом завис между небом и землей. Это, может быть, не менее мучительно, чем, скажем, заживо гнить в темнице. Там ты тоже связан по рукам и ногам, однако избавлен от любопытных глаз. А тут ни один не проходит, не взглянув на тебя. И каждый при этом волен судить о тебе, как ему заблагорассудится. А что может быть еще неприятнее чужого глаза и страшнее людской молвы? Нет такого человека, который не терялся бы под пронзительным осуждающим взглядом, способный копьем вонзиться в грудь или стрелой в затылок. И, вероятно, нет большей муки, чем знать, что именно на тебя глазеют издалека и именно о тебе ведут досужие разговоры, но не знать, не догадываться, почему глазеют и что говорят. Поневоле оказываешься в двойственном и опасном положении, словно стоишь у логова льва. Все это так, и многие об этом смутно или явно догадываются, и тем не менее большинство человеческого рода отчаянно рвется к славе. Едва ли не в каждом сидит соблазн быть на виду толпы; для многих оставаться с самим собой подобно затворничеству в темнице. А между тем, если честно признаться, большая слава и постоянная жизнь на виду — и есть подлинный ад. В темнице тебя угнетают и холод, и сырость, и бессилие, и безмолвие, и

мрак — все это так, но даже у такой жизни есть своя очевидная определенность. Но в чем прелесть и смысл мнимой свободы, если ты постоянно чувствуешь себя так, будто голым ходишь посреди белого дня по улице, ежась под бесцеремонными взглядами встречных-поперечных и гадая, почему один усмехнулся, другой выпучил глаза, а третий показал тебе вслед язык. И все-таки все жаждут славы, известности, каждый норовит показать себя. Вот эта человеческая слабость обрекла его на муки одиночества и загнала на вершину минарета, где он торчит на забаву скучающего глаза и праздного языка. Теперь ему стало совершенно ясно, что и больного отца, который вместо того, чтобы благоразумно сидеть в своем крохотном кишлаке, делать кувшины и худо-бедно доживать у родного очага свой век, пустился в далекий и опасный путь, в чужой, неведомый город, гнала, лишив покоя, опять-таки эта самая пагубная страсть — желание добиться признания и славы. Теперь вот и он, Жаппар, оседлал строптивую лошадку удачи, именуемую еще зачастую мечтой; многие безумцы хватали ее за шелковую гриву и даже до поры до времени, случалось, скакали на ней, пьянея от счастья, но потом почти всегда оказывались на земле, у ее ног.

И сегодня, ясным утром, когда солнце еще не раскалилось и воздух не лишился прозрачной синевы, стоял он — уже в который раз! — на вершине, у края кладки и потерянно озирался вокруг, не испытывая привычного нетерпеливого желания продолжать повседневную работу.

Все тот же город простирался внизу. Неказистые глиняные домики стояли там-сям, вразброс, похожие на обмусоленные мальчишкой кусочки сушеного творога на убогом дастархане. Небосвод был чист, без единого облачка, но непроницаем и равнодушен ко всему на свете. Взгляд Жаппара долго блуждал в пространстве между небом и землей и, не найдя зацепки, вновь устремился в сторону сада младшей ханши.

Дворцовая площадь, укрытая сверху пышной листвой, сегодня — совершенно неожиданно! — открылась перед ним, как на ладони. Он поразился: как он не заметил этого раньше?! Оказывается, стремясь скорее увидеть манящую полоску горизонта, он совсем не обратил внимания на то, что находилось поблизости. Между тем дворец младшей ханши, ревниво оберегаемый от постороннего глаза, днем

и ночью охраняемый вооруженными сарбазами, доступный лишь вольным птицам, прекрасно просматривался с высоты минарета. Ошеломленный этим открытием, он пригляделся пристальней и отчетливо увидел и белесые тропинки в саду, и круглые, как наперсток, зеленые лужайки, и зеркально гладкие голубые запруды — бассейны.

Нетерпеливая дрожь проснулась в нем. Руки невольно потянулись к кирпичам, сваленным у ног. Хотелось скорее поднять кладку еще выше. Поднять на такую высоту, чтобы взору его были доступны все уголки таинственного дворца. И тогда, тогда он, безымянный молодой мастер, станет во всей вселенной единственным человеком, которому с высоты птичьего полета позволено любоваться вдосталь дворцом, куда грозный и всемогущий Повелитель запрятал прелестную юную ханшу. Даже сам всесильный владыка, покоривший немало стран из трех сторон света, не может обозревать укромный сад своей жены так, как это доступно молодому зодчему.

Куча кирпичей у его ног таяла на глазах. Мастер Жаппар в этот день даже не заметил, как стемнело.

Наутро, взяв в руку мастерок, он первым долгом посмотрел в сторону сада ханши. Конечно же, подумал он, не исключено, что и юная ханша, сидя у одного из бесчисленных окошек, с любопытством наблюдает за ним. Теперь у него появилась ясная цель: он должен закончить минарет так, чтобы он нависал над головой в любом — даже самом укромном! — уголке ханского сада.

Ранее, бывало, выложив ряд, он давал себе передышку и предавался раздумьям. Теперь же работал споро, без пауз. Если будет так работаться и дальше, то через неделю минарет достигнет желанной высоты. Потом — главное — его необходимо отделать, украсить так, чтобы он удивлял и восхищал взор каждого. Нужно оживить эту несуразную каменную громаду, вырвать ее из безмолвия, придать легкость, изящество, блеск, найти особый цвет, оттенок, отражающий извечную гармонию неба и земли. Для этого сначала нужно найти форму, удачно завершающую вершину минарета. Если закончить минарет на одном уровне, ровно, это придаст ему незавершенный вид, и тогда башня при любой высоте все равно будет смахивать на обрубок. Заузить вершину, сделать ее острой, как копье,— вряд ли целесообразно. Получится будто минарет впивается своей вершиной в грудь неба. Видно, минарет следует

завершить в форме купола, голубого, как небо, чтобы не оттенять завершающую грань, а придать линиям мягкость, незаметно сливающуюся с небесной ширью. Тогда минарет обретет некую таинственность, загадочный облик, и не сразу будет понятно, то ли он устремился с земли в небо, то ли с неба стремительно летит к земле. А это как раз то, что ему, мастеру, надобно. Он вовсе не желает, чтобы его минарет своей мощью и величием внушал ужас и страх или, наоборот, казался красивой и невинной игрушкой, которую каждому хочется мимоходом забрать с собой. Важно, чтобы его красота вызывала не просто восторг и удивление, не только радовала взор, но и поражала своей таинственностью, тревожила многозначительностью и загадочностью. Перед глазами мастера вновь мелькнула шелковая занавеска на окошке золотистой повозки. Встречный ветер словно заигрывал с ней...

Счастливая мысль точно пронзила Жаппара. Он нашел, наконец, то, что так долго искал. Ну, конечно, он должен придать башне такую же легкость и игривость. Она должна явиться перед взором неожиданно и поразить сознание, казаться белой, гладкой рукой истомленной любовью красавицы, рукой, протянутой к одному из ангелов, незримо обитающих на необъятном голубом небе. Пусть даже Повелитель, возвращающийся утомленным из дальнего и опасного похода, увидит в ней руку, радостно приветствующую его.

«Нужно о синильной краске позаботиться,— подумал молодой мастер.— Надо собрать дермене[1], запастись пеплом от перекати-поля...»

И тут его охватило нетерпеливое желание скорее докончить кладку стен и приступить к осуществлению мечты, так неожиданно вспыхнувшей в его душе. Он сейчас больше всего на свете боялся лишиться того дива, так отчетливо представшего перед ним в этой прозрачной сини утреннего воздуха. От одного этого подозрения ему стало не по себе, казалось, злая рука искусителя Азезила одним движением сотрет прекрасное видение. Уже охваченный страхом, он с широко открытыми глазами посмотрел вдаль: необъятный лазурный простор зыбился перед ним.

Внизу лежал все тот же ханский сад. На открытой площади степенно прогуливались молодые женщины, слов-

[1]*Дермене* — цитварная полынь.

но разморенные негой лебеди плыли по озеру. Жаппар не заметил, откуда и когда они здесь появились. Вскоре стайка разнаряженных красавиц потянулась к зеркальному пруду на краю зеленой лужайки. С двух сторон пруда высились две подставки, похожие на башенки. Белая сетчатая занавеска была протянута между ними. На берегу пруда — то здесь, то там — кучками лежали красные яблоки.

Женщины подошли к пруду и начали раздеваться. На зеленую травку белыми островками легли пышные парчовые платья. Из-под белоснежного белья враз вынырнули, купаясь в розоватых лучах утреннего солнца, статные, как на подбор, молодые нагие женщины. Уже в следующее мгновение, ликующе взвизгнув, они попрыгали с бережка в лазурный пруд. Взбурлилась, заискрилась белая гладь, точно иссеченная градом коралловых бус. Замелькали над водой белые руки, вздымая тучи брызг. Порезвившись, несколько купальщиц выбежали на берег и принялись швырять в пруд темно-красные наливные яблоки. Остальные с хохотом ловили их, высоко выпрыгивая из воды. Забава разгоралась; женщины, барахтаясь в пруду, затеяли шумную возню, отталкивали и хватали друг дружку, стараясь поймать падающие на головы яблоки. Вместе с женщинами расшалились и волны; белогривый гребень волн, накатываясь, жадно целовал тугие острые груди, на мгновение мелькавшие над вспененной водой. Черные блестящие волосы купальщиц рассыпались по смуглым гладким плечам, шее и грудям, словно оберегая их от настойчивых ласк водяного гребня. Сонный пруд в ханском саду заколыхался, взыграл волнами, будто в него разом пустили тысячу серебристых сазанов, и выплескивался на берег. Юные купальщицы, одна другой краше, подзадоривая друг дружку, выпрыгивали высоко, красуясь здоровой и гибкой статью. Жаппару почудилось, будто перед ним резвятся упругие белые волны. Веселая зыбь обычно тихого ханского пруда взволновала сердце молодого мастера.

Наконец, купальщицы угомонились; успокоился и пруд, вновь засверкал зеркальной гладью. Сорок красавиц уселись вокруг пруда, опустив ноги в воду, стали на солнышке греться-загорать, друг дружку волосы расчесывать, косы заплетать. Потом опять все разом вскочили, направились к лужайке, где белела их одежда. Нежная матовая плоть, слегка порозовевшая на солнце, мигом

скрылась под парчовыми белыми платьями. Истомленные, разморенные, пошли красавицы степенно ко дворцу.

Работа опять застопорилась. Жаппару казалось, стоит только на одну пядь поднять кладку, и ему уже никогда не увидеть подобной красоты. Все эти долгие месяцы башня неуклонно рвалась ввысь, а теперь она, будто достигла желанной вершины, ни на вершок не хотела подниматься.

Отныне каждый раз, когда юная ханша и ее свита купались в пруду, мастер не спускал с них глаз, надеясь, что они посмотрят в его сторону. Однако ни одна из сорока прелестных купальщиц, резвящихся в воде и загоравших на бережку, ни разу не глянула на возвышающийся неподалеку минарет. С обидой и надеждой следил он за ними и тогда, когда они одевались и ленивой размеренной походкой удалялись во дворец. Купальщицы точно сговорились: никто не оборачивался, не удостаивал ни его, ни башню взглядом.

Когда сорок красавиц, медленно ступая, скрывались за кустами, ханский сад мгновенно пустел и терял нарядность и привлекательность. Тускнел и зеркальный пруд, словно посыпанный пеплом. Гасли живые краски многоцветных, ярких, как иранский ковер, клумб.

Пусто и грустно становилось и на душе молодого мастера. Опечаленными, как у верблюжонка-сироты, глазами подолгу смотрел он на еле заметную, извивавшуюся внизу белесую тропинку, по которой только что прошла со своей свитой юная ханша. Но тропинка, ревниво скрывавшая даже следы ханши, загадочно молчала и будто ухмылялась ему в лицо. Мысленный взор молодого мастера одиноко плутал по песчаной тропинке, нырявшей в заросли перед дворцом, тосковал по сорока красавицам, но не решался преследовать их дальше, растерянно бродил возле зеленых кустов и возвращался назад ни с чем.

И эти душевные муки продолжались изо дня в день. Жаппар с опаской поглядывал на солнце, желая, чтобы оно не спешило, не заходило, надеясь, что ханша со своей свитой выйдет на прогулку. Однако после утреннего купания ханша уже не показывалась в саду. Извелся джигит от тоски и уныния. Горячий, строптивый скакун, понесший было его к яркой мечте, вдруг вновь обернулся рабочей клячей, понуро бредущей по извилистым тропинкам повседневной жизни. Только теперь Жаппар явственно

осознал, что ему, невольнику и бедняку, с малых лет копающемуся в глине, даже думать о ханше и грезами будоражить свою душу — уже кощунство и непростительный грех. И он, пугаясь самого себя, озирался по сторонам: не догадался ли кто о его смятении и предосудительном смутном желании? Однако кому какое дело до одинокого мечтателя, томящегося на вершине минарета под самым небосводом? Ведь по существу он все равно, что отбившийся от стаи взъерошенный воробей на ветке чинары. Никто его и всерьез не принимает. Не потому ли ханша и ее свита, ничуть не стесняясь, догола раздеваются на его глазах и, вдоволь накупавшись, возвращаются во дворец, даже не взглянув в сторону минарета?..

Значит, для того, чтобы обратить на себя взор гордой ханши, он должен придать своему минарету такое великолепие, какое обитатели страны Двуречья и не видывали. Если бы только удалось воплотить свой замысел — построить минарет таким, каким он почудился ему однажды в счастливый миг,— тогда и ханша поневоле залюбовалась бы им. Разве устоит она, если сорок красоток из ее свиты начнут, поцокивая от восторга языками, расхваливать на разные лады его творение?! Нет, наверняка будет сгорать от любопытства, и тогда — кто знает!— может, восхитится и величественным минаретом, и построившим его молодым зодчим.

Сердце вновь забилось пылко, нетерпеливо. Мастер твердо решил отделать свой минарет так, чтобы им не могли не восторгаться ханша и ее свита. Он заставит их смотреть на себя и говорить о себе!

По его велению неподалеку от минарета построили десяток глиняных печей-тандыров, каждая величиной с шестикрылую юрту. В них стопили целые горы цитварной полыни и красильного корня, а из золы потом сготовили лазурь. Несколько мастеров обжигали мозаичные плиты, шлифовали их, красили в небесно-синий цвет, переливающийся в лучах солнца. Уже через месяц десять мозаистов, поддерживаемые канатами, приступили к облицовке минарета. Сам зодчий, не находя себе места, бегал вокруг своего творения, постепенно облачавшегося в голубой наряд. Иногда он уходил далеко, на расстояние кочевья, и оттуда отрешенно взирал часами на преображающийся минарет. Издалека он казался тонким шестом, смутно виднеющимся на дрожащем бледно-синем фоне. Окутанный маревом

минарет словно подавал таинственные знаки и силился что-то сказать.

Долго смотрел Жаппар на безмолвного своего первенца, пытаясь понять, угадать, что же ему хочется высказать. И, сидя в повозке, не отрывал от минарета взгляда. И, стоя на земле, все что-то высматривал. Часто, приставив ладонь ко лбу, пристально следил за солнцем, которое со сдержанной улыбкой плыло по ясному небосводу. Случалось, задумывался, замирал в тихой безлюдной степи, прислушивался к чему-то, всматривался в небо, будто оттуда ожидая сокровенное знамение.

Потом, вдруг спохватившись, садился вновь в повозку и мчался в другую сторону. И здесь он опять застывал в полной отрешенности, точно завороженный чьей-то могущественной волей и молча взывал к таинственному духу, растворенному в прозрачном и вязком воздухе и видимому только ему, одному зиждителю. Иногда лицо его искажала презрительная гримаса, будто что-то недостойное, низменное оскорбляло выношенное в душе прекрасное видение, он качал головой, отплевывался, а то и вовсе закрывал лицо руками и садился на корточки. Должно быть, на него находило черное отчаяние, и ему уже ничего не хотелось видеть вокруг себя. Скулы обострились, желваки бугрились на исхудалом лице, он молчал и скрипел зубами, словно изгонял из себя джина сомнения и неверия и старался забыть мелочную суету, губившую вдохновение. Причудливые пестрые тени и видения, мельтешившие перед глазами, постепенно уплывали, растворялись в густеющем мраке, а вместе с ними куда-то исчезало и то, что приводило его в смятение, и он, понемногу успокаиваясь, осторожно открывал глаза, смотрел на голубевший вдали минарет и вдруг вскакивал, как безумный, вспыхивал от неожиданной радости, открыв что-то неведомое и очень важное для себя, что страшно было расплескать, потерять.

Повозка мчала его к минарету. Домчавшись, он, как одержимый, поднимался по лестницам к мастерам-мозаистам, облепившим крутые стены башни, что-то долго и горячо им втолковывал, от нетерпения размахивал руками, потом спускался вниз, внимательно разглядывал мозаичные плиты и, прихватив охапку, спешил к тандырам-печам для обжига.

За эти месяцы он изнурил себя до неузнаваемости. Лицо обрело пепельный цвет. Кожа, казалось, приросла к

костям. Одни глаза лихорадочно поблескивали, смотрели строго и пытливо, все время что-то беспокойно выискивали.

Еще недавно громоздкий и неуклюжий минарет, бездушно возвышавшийся над землей, теперь неузнаваемо преображался на глазах. Все чаще оглядывались и засматривались на него прохожие, убеждаясь, что новый минарет совершенно не похож на другие минареты в городе, однако никто не мог определить его загадочные особенности. Поражали игра цвета, причудливые переливы оттенков, бесконечно меняющихся в зависимости от местоположения солнца. Все это казалось таинственным, непостижимым.

Отделку купола Жаппар завершил сам.

Прошла еще одна зима, куцая, как всегда в этих краях, и без холодов. Наступила ранняя, но теплая весна, когда даже ночью не застывает жир. Деревья в ханском саду распустили почки, потом дружно зацвели, окутались сиреневой дымкой, воздух стал густым, вязким, и в нем запорхали бесчисленные синие, белые, оранжевые бабочки — лепестки цветов.

Приближалась пора, когда юная ханша в сопровождении пышной свиты совершает по саду утренние прогулки. Те дни Жаппар ждал с нетерпением. Вскоре наступили и они. Однажды из-за куп густо-зеленых деревьев перед дворцовой площадью показалась группа молодых женщин в воздушных белых платьях. Они сделали несколько шажков и остановились. Потом спохватились и торопливо, вразброд, направились к зеркальному пруду на краю лужайки. Чем-то взбудораженные, они, казалось, сбились с привычного размеренного мелкого шага. Дойдя до пруда, они не разделись и не прыгнули в воду, как прежде, а уже не скрывая изумления, с открытыми ртами уставились на минарет. То-то же, гордые красотки!.. Заметили, наконец! Ну, ну, смотрите, любуйтесь, восторгайтесь!.. Жаппар злорадно и самодовольно усмехнулся. То ли от удовлетворенной мести, то ли от долгожданной радости, распиравшей грудь, он почувствовал вдруг странную слабость, и на мгновение серый туман застил глаза.

Только со стороны дворца зиял еще зазор под куполом. Отсюда Жаппар незаметно наблюдал за ханским садом.

Он не спешил заделывать зазор. Жалко было расставаться с дивным видением, которым судьба одаривала его

ежедневно. Стоит заложить кирпичами небольшую щель под куполом, и сорок красавиц, похожих на гурий в саду эдема, исчезнут для него навсегда.

На зеленой лужайке возле пруда чинно прогуливались сорок изнеженных красавиц. В середине, выделяясь белоснежным саукеле, увитым жемчужными нитями, плыла прелестная ханша. И когда она со своей свитой, сбившись в тесный круг на берегу пруда, долго и восторженно смотрела на минарет, молодой мастер чувствовал себя самим создателем, всевышним творцом, из райского сада благоговейно взиравшим на дело рук своих. Каменный минарет, не однажды омрачавший душу и разбивавший его мечты, теперь вновь обернулся крылом счастья, взметнувшим его в недосягаемую высь. Но когда он вспоминал о том, что счастье это мимолетно, обманчиво, что через несколько дней оно его покинет навсегда, молодой мастер становился сам не свой, душа его ныла, обливалась кровью, будто ее рвали зубами собаки.

И тогда он принял отчаянное решение. Он не спустится с минарета и не заделает зазор под куполом, пока не придет палач с секирой в руке и не уведет силком его отсюда.

Вскоре на вершину минарета поднялся сам главный мастер. Должно быть, он догадывался о том, что творилось в душе Жаппара. Главный мастер сообщил весть: Повелитель возвращается из похода. К его приезду следует закончить минарет и дочиста убрать вокруг весь строительный хлам. По словам путников, новый минарет хорошо просматривается уже у границы Великих песков. Вернется Повелитель, проведет невиданный пир в честь очередной победы, одарит драгоценностями своих бесстрашных бахадуров-воинов, а вместе с ними наверняка и зиждителя храма-минарета, и тогда слава о нем облетит весь подлунный мир.

Жаппар молчал, понуро опустив голову, будто и не слышал, о чем говорил главный мастер. Заметив, что говорит впустую, главный мастер умолк, пытливо выставился на молодого напарника, точно ощупал его опытным, проницательным взглядом и сразу сообразил, что тот находится во власти какого-то всепоглощающего чувства. Он покосился туда, куда устремился застывший, отсутствующий взгляд молодого зодчего и увидел там, далеко внизу, на зеленой лужайке ханского сада, юную ханшу

со своей свитой, которые с любопытством разглядывали минарет.

Главный мастер ушел, не проронив ни слова.

Весть о скором возвращении Повелителя мгновенно облетела весь город. Жители той части города, где жил Жаппар, и строители, помогавшие заканчивать минарет, с утра до вечера только об этом и говорили. И лишь одному Жаппару, казалось, не было дела до этой новости.

Между тем горожане каждое утро, поднявшись с постели, первым долгом смотрели на новый минарет и всякий раз видели все еще не заделанный зазор под куполом. Однако ни один из смертных, не желающих видеть холодный блеск секиры в руках палача ни наяву, ни даже во страшном сне, не говорил о том ни единого слова, смутно догадываясь о тайне зазора. И опять-таки лишь сам зодчий ничего не чувствовал, не слышал. Даже ханша, наверняка не знавшая, о чем думают горожане, была встревожена дерзостью молодого мастера.

В тот день, когда к Повелителю отправили нарочного, утром из ханского сада выехали две повозки и понеслись в сторону минарета. Жаппар, стоявший на вершине башни, все видел. Через некоторое время издалека, будто из-под земли, послышались глухие шаги, эхом отзывавшиеся внутри полого минарета. Кто-то поднимался по узкой винтовой лестнице. Молодой зодчий насторожился, прислушался: загадочные шаги слились со стуком его сердца. Он метнул взгляд в сторону ханского дворца: на зеленой лужайке не было ни души. В безмолвии застыли и купы деревьев; густая тень покорно лежала у их ног. Казалось, весь мир, затаив дыхание, вместе с ним, Жаппаром, прислушивался к четкому, глухому стуку, приближавшемуся, как неотвратимый рок, откуда-то снизу, из мрачной глубины минарета.

Зябкая дрожь пробежала по спине Жаппара. Неведомое чувство — не то страх, не то ужас, не то покорность и смирение перед неминуемым — охватило его. Должно быть, так чувствует себя человек в предсмертный час, слыша, как приближается к нему, грохоча железным скипетром, ангел смерти. Молодой зодчий не шелохнулся, держался стойко и спокойно прислушивался к грозным шагам, готовый, если это нужно, принять смерть.

Он, не отрываясь, глядел себе под ноги, где зиял мрачный бездонный колодец. Все громче становился звук ша-

гов. Жаппар весь напрягся, мышцы будто окаменели, жилы натянулись, напружинились. Вот, вот, сейчас... сейчас сверкнет что-то во мраке... Ну, конечно, секира палача. Ведь кто осмелится встретить грозного Повелителя так, как он, недостроив башню, оставив, как вызов, зияющий зазор под куполом?! Какой владыка потерпит такую дерзость? Сейчас услужливый палач одним махом отсечет голову строптивцу и прикажет немедля заделать зазор главному мастеру.

Как завороженный, смотрел Жаппар в зловещую черную пасть под ногами. Звуки, доходившие снизу, становились резче, жестче и словно сверлили темя. «Терпи,— уговаривал себя Жаппар,— все вытерпи!» Мысли путались, и сейчас у него не было другой опоры, другого утешения, кроме этих слов. В горле пересохло; в глотку точно загнали кляп, он задыхался; сознание помутилось. «Ну и пусть... пусть,— обреченно подумалось.— Так даже лучше. Сейчас, увидев секиру палача, даже не вскрикну. В одно мгновение душа покинет тело. И никто этого не увидит, не услышит. Пусть... хорошо!»

Шаги уже были рядом. Он с усилием повернул онемевшую шею, глянул в сторону ханского сада.

Хоть бы увидеть ее в последний раз... увидеть, перед тем, как ее палач снесет ему голову... На зеленой лужайке по-прежнему ни живой души... А солнце стоит уже в зените... И зеркальный пруд застыл в безмолвии... Значит, и на прогулку сегодня не выйдет, и купаться не станет... Но куда исчез зловещий стук шагов?..

Холодный свет блеснул перед глазами, Нет, то был не блеск отточенной секиры в руках палача. Тут же он уловил легкий шорох, что-то белое промелькнуло рядом и укрыло тусклый блеск жемчужины на руке.

«Ах, она сама пришла... Да, да, она... сама!»

Прямо перед ним, точно такая же, как тогда, в первый раз, стояла юная ханша. То же белоснежное парчовое платье, та же прозрачная невесомая сетчатая белая накидка... Она не поднялась на последние ступеньки лестницы, будто опасалась, что там, на вершине, ее может сдуть ветром. Большие, влажные, как у верблюжонка, глаза смущенно улыбались... Пухлые и красные, как две вишенки, губки чуть вздрагивали... С него будто разом свалился тяжелый железный обруч, сковывавший его с раннего утра. Он, обезумев, бросился к ней.

Пылкость молодого мастера испугала ханшу; она отшатнулась, отступила еще на две ступеньки. Только теперь он опомнился и, устыдившись своего порыва, застыл на месте.

Она глядела на него доверительно и нежно. Юная, прелестная женщина, почти еще девочка, с большими невинными глазами. Что-то неуловимо трогательное было в ее взгляде, не то испуг, не то смущение, не то какая-то затаенная боль, которую невозможно было выразить никакими словами. Точно так же, с какой-то неясной тревогой и надеждой, бывало, взглядывала на него и Зухра. Да, да, совершенно такой же взгляд — взгляд-обещание, взгляд-тревога, взгляд-нежность... Только у Зухры не пылал надо лбом крупный рубиновый камень и не белела так ослепительно драгоценная накидка. И если сейчас... сейчас же, в этот миг, он не скажет ей свои сокровенные слова, то и она, как когда-то Зухра, исчезнет для него навсегда. И тогда он всю свою жизнь промается, как неприкаянный, с болью, тоской и досадой в сердце...

Жаппар осторожно откашлялся, пытаясь что-то сказать, но голоса не было. Ханша с затаенной печалью глядела на него. Он протянул к ней руки, она не отстранилась, не противилась. Он сам не заметил, как осторожно притянул ее к себе, как она, мягкая, хрупкая, легкая, покорно прильнула к нему, вся исчезла в жарких объятиях. Он вдруг со сладкой болью почувствовал, что это и есть единственное мгновение счастья, отпущенное скрягой-судьбой, что уж больше никогда оно не повторится и не вернется. Он сильнее прижал к себе маленькую, податливую фигурку ханши, прильнул сухими, жесткими губами к ее пухлым, сочным, как спелая вишня, губкам, чувствуя, что млеет, тает от восторга и счастья...

Минарет был завершен в обещанный срок. Он возвышался спокойно и горделиво, сияя и купаясь в лучах солнца, ждал возвращения грозного Повелителя, чтобы приветствовать его издалека, еще за несколько перевалов до столичного города.

Потом Жаппар узнал, что Повелитель соизволил лично осмотреть новый минарет, что он долго и в задумчивости стоял возле него, любовался им и уехал, приятно пораженный и довольный. Однако проходили дни, а из ханского дворца не было никаких вестей.

И однажды, когда в знойный полдень прискакал за ним нарочный, чтобы немедля доставить его в ханский дворец, Жаппар сразу понял, что там его ждут отнюдь не почести и подарки. И когда угрюмый серолицый старик, одиноко восседавший, нахохлившись, как стервятник, у мраморного хауза в середине сумрачного и прохладного дворца, выставил на него колючие, пронизывающие насквозь и все видящие глаза, молодой зодчий ничего не мог утаить...





Часть третья

ЛЮБОВЬ

За последние три месяца младшая ханша заметно исхудала. От бесконечного томления у окна, сквозь разноцветную мозаику которого сочился мертвенно пестрый свет, личико ее осунулось, побледнело. Нежная, упругая шея, еще недавно соблазнительно вздрагивавшая от каждого движения, теперь увяла, утончилась. Обострились и скулы, а под глазами даже сквозь густые белила проступали темные тени, такие же, как стойкий сумрак в ее одинокой опочивальне...

Ханша с досадой и неприязнью отвернулась от круглого зеркала, которое, точно злорадствующая соперница, подчеркивало каждый ее изъян.

Ни звука, ни шороха, кроме бесконечного монотонного шепота фонтанчика в круглом хаузе посредине огромного пустующего зала. Днем и ночью, ночью и днем бормочет, нашептывает он свое нескончаемое буль-буль-буль. Иногда на нее накатывалось слепое отчаяние и она подбегала к хаузу, готовая сокрушить его в безумии, но при виде покорной, в бездушный мрамор зажатой прозрачной струйки ярость мгновенно гасла, как свеча на сквозняке, уступая место печали и беспросветной тоске. Ханша бессильно опускалась на мраморное возвышение, покрытое толстым, пышным ковром. Так она сидела долго, потерянная, раздавленная...

Стоило чуть удалиться от хауза, как невинно капавшие

чистые слезы фонтанчика вновь сливались в таинственный шепот, который, точно искуситель, приводил в смятение ее измученную душу. Случалось, ханша засыпала прямо на ковре возле хауза. Она боялась отходить даже на шаг от мраморного возвышения. Всюду ей мерещился злорадный шепот.

Тихий лепет прозрачной воды, вскипавшей где-то в глубине, но с покорной вялостью сочившейся из узкого отверстия, казалось, перекликался со скользким, неуловимым шушуканием старухи-привратницы, рабов-евнухов и придворных девиц за огромной дубовой дверью, обитой золотом. Более того, ханше чудилось, что и бесчисленные листья на деревьях в саду шелестели, перешептывались, рассказывая друг другу что-то нехорошее о ней. Порой ханша отправлялась на прогулку, выбирая дальние, одинокие тропинки в ханском саду, и, случалось, из-за деревьев с любопытством взирали на нее косули и пятнистые олени, и в их влажных, круглых глазах будто стояло немое удивление: «Ах, это и есть та самая молодая ханша, о которой нынче сплетничают все?!»

В последнее время она уже не выходила из своих покоев.

И властелин упорно не давал о себе знать. Каждое утро она со смутной надеждой заглядывала в глаза служанок, приходивших ее одевать, но они подозрительно отмалчивались. С какой-то необъяснимой робостью заходили они к ней и так же смущенно удалялись, пряча глаза, словно боялись, что ханша подслушала невзначай их тайный разговор в прихожей.

А совсем еще недавно, когда она только переступила порог ханского дворца, они все души в ней не чаяли и радостно увивались вокруг. Даже угрюмая старуха служанка с бычьим загривком при ней становилась необычно приветливой и доброй. Бывало, в канун многолюдных ханских торжеств старуха хлопотала изо всех сил, стараясь, чтобы ее ханша по пышности и великолепию нарядов, свиты и церемоний перещеголяла ненавистную старшую ханшу. И когда в Большом дворце, во время высоких приемов, две враждующие старшие служанки с нескрываемым высокомерием и злорадством косились друг на дружку, юная ханша еле сдерживала смех...

Да-а... сумрачная старуха любила и лелеяла ее, как родную дочь.

Сердечно привязаны были к ней и другие служанки и девушки из свиты. Почти все они были старше ее. И, должно быть, потому ее не столько почитали, как жену Повелителя, а больше обхаживали, как младшую подругу. Никто, казалось, не завидовал ей, а все только радовались, будто их единокровная младшая сестренка вышла замуж за всесильного хана. И не было для них большего удовольствия, чем одевать ее, наряжать, расчесывать волосы, втирать в ее гладкую кожу благовония. Поднимаясь на рассвете, они ходили на цыпочках, толпились у двери, с нетерпением ожидая, когда она проснется.

Едва она открывала глаза, как в опочивальню к ней врывалась стайка разнаряженных девиц и начинала весело порхать вокруг, точно пестрокрылые бабочки. Юная ханша смущалась под их бесцеремонными взглядами, зарывалась в подушку, укутывалась в одеяло, но множество рук тянулось к ней, подчиняя своей воле. И когда ее нежного, горячего со сна тела касались мягкие ладони служанок, она вся замирала от истомы.

Как-то раз после вечерней трапезы старуха служанка разогнала всю свиту и осталась с юной ханшей наедине. У старухи странно блестели глаза. Тонкие лиловые губы под вислым, крючковатым носом беспрестанно шевелились, змеились, шлепали, шелестели. Ханша, ничего не понимая, со смутным страхом выставилась на старую служанку. А та, казалось, нашептывала таинственную молитву, намекала на что-то неведомое, постыдное и при этом точно буравила ханшу бесцветно-проницательными глазами. Вечерние сумерки вокруг быстро сгущались, скользили, а вместе с ними будто кружилась и сама опочивальня.

Вскоре старуха, как заведенная, отвешивая поклоны, попятилась к выходу. И когда она вышла, опочивальню накрыл плотный таинственный сумрак. Казалось, свет от бесчисленных свечей вдоль стен разом весь скопился на высоченном потолке. Зыбкий мрак, все теснее обступая обмиравшую ханшу, усугублял загадочность старушечьих речей. Она почувствовала вдруг слабость, головокружение, непонятная тошнота подкатывала к горлу, и ханша уже направилась было к хаузу, как увидела выходившего к ней Повелителя. Странная, смутная темень, окутавшая опочивальню, сразу развеялась. И уже ничего не кружилось вокруг, словно все обрело извечную определенность и твердость, едва нога Повелителя коснулась пола ее покоев.

Она застыла, безмолвная, растерянная, и со страхом смотрела на приближавшегося к ней властелина. Вот он уже подошел на расстояние протянутой руки, и тут она вспомнила, что следует поклониться великому Повелителю, и ханша поспешно склонилась в неумелом покорном поклоне, но кто-то подхватил ее под локоть, бережно приподнял. Вконец смутившись, она вскинула голову и встретила спокойный, ласковый взгляд Повелителя...

Наутро она проснулась чуть свет и с волнением, непонятным беспокойством ожидала приход служанок. Лицо ее пылало, голова кружилась, она еще никак не могла осознать, что же с ней случилось, с робостью и кротостью прислушивалась к своему телу и сильнее зарывалась в пуховые подушки.

Вскоре распахнулась дубовая дверь. Сначала надменно вплыла старуха служанка, за нею впорхнула радостно возбужденная свита.

При виде толпы женщин юная ханша мучительно покраснела, сжалась, стыдливо отвернула голову, спрятав лицо в рассыпавшиеся густые волосы.

Свита была оживленней и веселей обычного. Девушки кинулись целовать ханшу, подняли целый переполох. А потом, позже, когда великий Повелитель несколько ночей кряду удостоил своей любовью ханшу, свита и вовсе ликовала.

Однажды, вслед за этим, заметив на себе косые взгляды со стороны служанок и свиты старшей ханши во время приема послов в ханском дворце, юная жена впервые ощутила ледяной холод женской ревности. Тогда она устремила осторожный взгляд на старшую ханшу и заметила на ее надменном лице тень грозного гнева. Она сама не знала, почему, но именно это сразу успокоило ее разволновавшееся сердце и принесло какое-то сладостное удовлетворение.

О том, что соперничество — тайное или явное — горше яда и слаще меда, она узнала значительно позднее. Но с этого дня она вдруг враз избавилась от скованности и смущения перед служанками и свитой, смутно и неожиданно ощутив в себе уверенность и даже некоторое превосходство. Ей вдруг во всей ясности открылось, что тяжелый, многими драгоценностями украшенный тюрбан молодой и любимой ханши кажется легче птичьего пуха, когда ловишь на себе восхищенные или завистливые взгляды.

Теперь она с особым вниманием и жадностью прислу-

шивалась к россказням старухи служанки и девиц из свиты, охотно обсуждавших пышность и благолепие дворца старшей ханши.

Накануне своего нового похода Повелитель перебрался в свой одинокий дворец в центре столицы. О том, что он делает, как живет, доходили до юной ханши разные кривотолки. Ей доносили даже то, что говорили на верховном совете, как выступал тот или иной наместник, когда и на какое ханство двинет свои полчища великий Повелитель. Почти все эти вести оказались потом заурядной сплетней. Но один слух подтвердился полностью: Повелитель действительно готовился к походу и решил забрать с собой внуков и старшую жену. Тем самым можно было догадаться, что поход продлится не год и не два, а значительно дольше. Юная ханша, узнав об этом, лишилась покоя. Несколько раз она порывалась пойти в ханский дворец, но так и не осмелилась. Весть о том, что Повелитель остановил свой выбор на старшей жене, угнетающе подействовала и на юную ханшу, и на свиту. Они уже не смотрели друг другу в глаза. Ходили как в трауре. Прекратились и недавние безмятежные прогулки в ханском саду.

Мучительная неопределенность длилась несколько месяцев, и вдруг однажды, в вечерний час, Повелитель пожаловал сам. Когда служанка шепнула ей, что великий властелин уже выходит из повозки, остановившейся у входа, она еле удержалась, чтобы не выбежать ему навстречу. Но Повелитель не сразу вошел к ней, а направился в свои покои. И опять заставил ее терпеливо ждать до ночи. Юная ханша не находила себе места в огромном дворце; потерянно слонялась из угла в угол. Потом уже, в безнадежной печали, встала у окна, прижалась лицом к холодному стеклу и тут услышала легкий скрип двери. Забыв про приличия, для самой себя неожиданно осмелев, она радостно бросилась ему навстречу.

Но и потом, посреди ночи, оставшись на брачном ложе наедине с размякшим, ласковым Повелителем, она не могла вспомнить ни одного слова из тех, что давно уже хранила в сердце. Только и спросила, набравшись храбрости:

— Сколько продлится ваш поход, мой Повелитель?

Он долго и пристально посмотрел ей в глаза, потом погладил ее тонкие, дрожащие руки и спокойно ответил:

— Это знает один аллах...

На другой день город оглушила дробь походных барабанов. Повелитель выступил в поход.

Пригорюнилась юная ханша, почувствовав вдруг себя совершенно одинокой в многолюдном ханском дворце. И тогда ей неожиданно открылось, что единственно близкий человек, который связывает ее с непостижимо огромным миром — суровый и угрюмый Повелитель, по годам намного ее старший, в чьих серых, пронзительно-холодных глазах при виде ее вспыхивают где-то в уголке искорки нежности и ласкового сочувствия. При нем она не испытывала такой жуткой опустошенности.

Видя, как озабоченно хмурит бровки юная ханша, приуныли, притихли и служанки, и девушки из свиты.

Вот так в семнадцать лет убедилась она в древней истине: нет на свете страшнее муки, чем одиночество.

Одинокие, длительные прогулки в пышном ханском саду тоже не утешали. Плоды наливались жизненными соками, и — казалось — каждый листик, каждая веточка торжествовали радость бытия. Благолепие и наслаждение жизни неутомимо воспевали и крошечные птахи, порхавшие с дерева на дерево, и бесчисленные озабоченные пчелки, собиравшие нектар с цветов. Время от времени налетал шальной ветерок, и тогда, охваченные трепетом, возбужденно перешептывались и ликовали листья.

Вместо желанной бодрости от таких прогулок юная ханша обретала усталость, очутившись помимо воли на извилистой, глухой тропинке неутоленной страсти, неведомых желаний, неясных томлений, изводивших душу и навевавших грусть и тоску, сковывавших все ее порывы и стремления, словом, ее охватывали безысходность и неопределенность, незаметно, исподтишка подтачивавшие волю, и она в смятении возвращалась в сумрачный, опостылевший дворец и подолгу сидела, уставившись в безмолвное пространство.

Желая вывести ее из дурного расположения, девушки из свиты выказывали перед ней все искусство. Но величаво-тягучая мелодия только усугубляла тоску, задевая чуткие, ей самой неведомые струны души и навевая щемящую скорбь; а полные истомы танцы казались ей фальшивой забавой. Ей чудилось, что все веселятся и смеются только через силу.

Наигранное веселье не могло развеять смуту на душе. Наоборот, она испытывала неловкость от того, что доставля-

ет свите столько хлопот. Она выдумывала всякие причины, твердила о головной боли, недомогании, отсутствии настроения и всячески избегала подобных развлечений.

Видя, что ни прогулки в саду, ни забавные представления во дворце не в силах вывести юную ханшу из затянувшейся хандры, свита растерянно примолкла. Угнетающая тишина и уныние овладели дворцом.

Старуха служанка совсем сбилась с ног, не зная, как еще угодить юной ханше, и водила ее то в сад, показывала ей диковинные цветы, клумбы, то расстилала перед ней со всех сторон света привезенные тюки редких материй — мафис, рауия, шамсия, шадда, машад, тафсила, гульстан, мисрия, абиария, лулиа, сабурия, мискалия, сафибар, кидн, атлас, парча, шелк,— предлагая сшить платья на любой вкус и фасон; то старалась обрадовать ее взор драгоценными камнями, кольцами, перстнями, серьгами, подвесками, ожерельями, браслетами, кулонами, подаренными самим ханом, полководцами, правителями, наместниками, послами и родственниками; то предлагала выбрать себе шубку из редкого меха — соболя, песца, выдры, барса, белки, красной лисы; однако ко всему юная ханша осталась безразличной и холодной.

Вконец убедившись в том, что никакими драгоценностями ханшу не соблазнить, старуха наведывалась к ней в часы одиночества и заводила нескончаемые разговоры обо всем на свете. Однако ничто, даже дворцовые слухи и сплетни ничуть не волновали ханшу; казалось, она, смурая, отрешенная, не внимала ее словам.

И все же многоопытная, хитрая старуха нашла-таки ключик к омрачившейся душе своей подопечной. Стоило ей однажды заговорить о том, какие почести воздаются старшей ханше в далеких завоеванных странах, как на юном безучастном личике вдруг обозначилось оживление. В черных, погасших глазах, бессмысленно устремленных в угол огромного зала, промелькнуло любопытство. Тогда старуха, не скрывая своего ликования, начала обстоятельно рассказывать обо всем, что приходилось ей видеть и слышать во дворце старшей ханши, которой прислуживала долгие годы. Имя высокородной ханши старуха, однако, не осмеливалась трепать своим грешным языком, зато уж досталось вдосталь ее служанкам и спесивой свите.

По словам старухи выходило, что с тех пор, как Повелитель зачастил во дворец младшей ханши, старшая жена

и ее приближенные исходят злобой и ненавистью. К тому же бесчисленные подарки, текущие со всех сторон света, достаются отныне не одной старшей жене, как прежде, и с этим она никак не желала смириться. И сама старшая ханша, и ее многочисленная прислуга в последнее время только и шушукаются про то, что, дескать, великий Повелитель все самое ценное и редкое, поступающее из покоренных стран, отправляет в дар своей младшей жене. За это они больше всего и ненавидят юную счастливую соперницу.

Старуха осторожно косилась на юную ханшу, но не замечая на ее грустном личике ни тени гнева, с истовым усердием продолжала рассказывать. Тонкие, дряблые губы под крючковатым носом, испещренные сеткой мелких, как паутинка, морщин, неустанно шевелились, подрагивали, точно озабоченные пауки плели таинственную вязь; казалось, они не угомонятся, пока не оплетут невидимой сетью простодушную ханшу.

Теперь старуха живописала, будто на нить нанизывала все, о чем сплетничали во дворце старшей жены. Там якобы утверждали, что единственное достоинство младшей ханши — ее юность и красота. И не красота даже, а просто смазливость. А в остальном ее, дескать, со старшей ханшей и сравнить невозможно. Предки ее неродовиты. Она всего-навсего дочь заурядного, захудалого торе; во всем ее роду не найдешь именитых; да и Повелитель взял ее в жены без особого желания, просто исполнил предсмертную волю матери: да и ей, новоиспеченной ханше, нечего задирать нос; Повелитель, конечно, велик, и на троне золотом восседает пока прочно, но никто не может скрыть, что он старик, и вряд ли она, молодуха, способна понести от него, только промается зазря, не испытав женской радости и материнского счастья; а когда, не приведи создатель, случится непоправимое, всю жизнь проведет в одиночестве и тоске, в горести обнимая собственные колени...

Старуха тотчас догадалась, что задела, наконец, ханшу за больное место, но, прибегая к извечной женской уловке, прикинулась невинной и начала поспешно и, конечно, тщетно развеивать ею же посеянные подозрения.

Недаром, должно быть, говорят, что ревность обжигает и льдом и огнем. И впрямь: какая же это ревность, если от нее не огнем горит лицо, и не льдом застывает сердце!

И, разумеется, пустоголовые служанки старшей ханши, дочери богатого и влиятельного рода, богом данной супруги самого Повелителя, привыкшей к почестям и славе, принимают ее, младшую жену, за несмышленую девчонку с необсохшими от материнского молока губами и намереваются подчинить ее своей воле. Как бы не так! Ох, и заблуждаются же они, бедняжки! Придется им, пожалуй, довольствоваться тем, что шушукаться по углам и в бессильной ярости кривить губы.

Уж коли сам всемогущий Повелитель покровительствует ей, своей юной и прекрасной возлюбленной, то холуйские сплетни и кривотолки во дворце старшей ханши — все равно что шелест ветра или писк мошки. Пусть не больно кичится старшая ханша тем, что она первая. Пусть прикусит свой длинный язык. Не погасить ей очаг любви и сладостных утех, где сам великий из великих предается отдохновению...

Священное негодование заполыхало в дряхлой груди старухи. Тонкие ноздри трепетали, губы змеились, голос наливался силой. Редкие, жесткие щетинки под крючковатым носом грозно встопорщились...

Заметив, что старая служанка в своем усердии распалялась все больше и больше, ханша смерила ее удивленным взглядом. Старуха спохватилась(а может, и впрямь перестаралась, хватила лишку?), умолкла на полуслове и вскочила, будто вспомнив какую-то неотложную работу.

Рассказ старой служанки, полный неведомых намеков, недомолвок и тайн, всколыхнул душу юной ханши, точно шквалистый степной ветер, развеял мутную тоску на сердце. Непонятная, непостижимая тяжесть вдруг враз свалилась с нее, и бодростью и силой налилось ее маленькое, упругое тело.

Вкрадчивая речь об интригах, злословии во дворце старшей ханши, об ее повадках и замыслах точно разорвали веревки равнодушия и безразличия, сковавшие молодую женщину. Казалось, все ее мысли и желания, увядавшие в безнадежном тупике, вырвались, хлынули неожиданно на вольный простор.

Оставшись наедине с собой, она попыталась обдумать, осмыслить спокойно и трезво все, о чем ей так прозрачно намекала старуха. Старшая ханша, находясь за тридевять земель, умудрилась-таки больно поранить ее невинное сердце и разбудить в нем недобрые помыслы. Видно,

своенравная старшая жена вообразила себе, будто младшая ханша — всего-навсего бессильный, безвольный ребенок, хотя и возлежит на ложе Повелителя в пышном дворце.

И, несмотря на свою юность и неопытность, младшая ханша поняла, вернее, почувствовала каким-то прозорливым, сугубо женским чутьем, что утешить отравленную душу можно, лишь ответив болью за боль, местью за месть. По припухлому чистому личику ее пробежала холодная тень. В глубине черных, как смородина, влажных зрачков блеснул жестокий лучик, похожий на искорку на острие обнаженного кинжала. Неведомая ярость взбодрила тело. Движения стали уверенными, походка — упругой, стремительной.

Зоркая свита мгновенно заметила перемены, происшедшие в ханше. Все ходили радостные, оживленные, хотя никто и не осмеливался выражать свой восторг с прежней непосредственностью.

Ханша распорядилась доставить ей во дворец немедля все драгоценности, меха и материи, которые она еще вчера отвергала.

Она придирчиво перебрала товар, выбрала себе, что по душе, растолковала старой служанке, из чего, что и как необходимо ей шить. Старуха охотно внимала ее распоряжениям и даже подбадривала осторожными и дельными советами. Ханша при этом не удивлялась, как прежде, не застывала, как наивная девчонка, с разинутым ртом и не соглашалась поспешно, а слушала с важным видом, выражала сомнение, задумывалась и лишь потом великодушно кивала головой.

Дошлая старуха в душе ликовала, убежденная, что юная ханша отныне познала упоительный вкус власти. Она увивалась вокруг своей воспитанницы, всячески угождала ей, суетилась, легко управляя своим рыхлым, грузным телом. Она усердно докладывала ханше о богатстве ее личной казны, о том, чего следовало бы раздобыть еще, из каких краев и стран.

Ханша незамедлительно отправила ее к главному визирю, поручив достать все необходимое, все редчайшее из ханской казны.

Во дворце старшей ханши поднялся невообразимый переполох, когда туда докатилась весть о том, что юная

соперница пригласила лучших портных и шьет для себя диковинные наряды.

С нетерпеливой жаждой деятельности принялась младшая ханша за новое и приятное дело. Слухи об этом, обрастая подробностями, дошли вскоре и до старшей жены, находившейся при Повелителе в далеком походе. И оттуда, из той неведомой дали, доходили до младшей жены слова старшей, полные яда и ревности. Юная ханша торжествовала, узнав о том, как беснуется старшая соперница, и рана в сердце, нанесенная злыми сплетнями, понемногу затягивалась. Она впервые испытывала ни с чем не сравнимую сладость утоленной мести и с неиссякаемой женской изворотливостью придумывала все новые, еще более изощренные способы отмщения.

Торжественные прогулки в сопровождении свиты участились. Едва припекало солнце, как ханша спешила к пруду, подолгу купалась и затевала веселые игры в воде. Каждый день, спозаранок, слуги складывали на берегу пруда, под легкими, разноцветными тентами кучи румяных, только что снятых яблок. И в полдень, когда яблоки источали вязкий, густой аромат, юная ханша отправлялась со своими девушками к хаузу.

Резвясь в прохладной прозрачной воде, по которой плавали краснобокие яблоки, ханша испытывала сладостную истому от соприкосновения упругих, жадных до ласки волн к изнеженному, напоенному дурманом назойливых желаний и беззаботной юности зрелому женскому телу. Здесь, в глубокой воде хауза, она предавалась безумной, пьянящей свободе молодой плоти, ее уже не тяготили ни показная спесь величественной ханши, ни необходимость подчеркивать исключительность своего положения, ни пышные, постылые одежды, увешанные тяжелыми драгоценностями, и ей хотелось, чтобы это ощущение свободы и влекущей жажды загадочных желаний длилось долго, долго, и она не спешила выходить из воды.

Потом, приятно утомленная, с тревожным волнением в крови, она ложилась на мягкую подстилку под легким шатром на берегу хауза. В вязкий аромат ханского сада вливались сладкие запахи духов и нежных мазей: молодые служанки принимались растирать смугло-розовое тело ханши. Но легкое прикосновение их пальцев вызывало лишь щекотку, а разгоряченная плоть жаждала более гру-

бых, сильных ощущений. Опытные женщины знали, по каким ласкам тосковало тело юной ханши. Они не жалели силу своих рук, их пальцы как бы невзначай, мимолетно касались потайных мест, и ханша вздрагивала, вытягивалась, замирала от удовольствия и нестерпимого желания. Руки служанок проворно мелькали над ней, искусно втирали в нежную, гладкую кожу заморские благовония. У ханши кружилась голова, мутнели зрачки, тяжелели веки и чуть вздрагивали длинные ресницы; тело млело от мучительной истомы, пальцы судорожно сжимались. Медовая услада окутывала ее. И чудилось ей, что нежится она в саду эдема, и девушки из ее свиты — истинные гурии. Ну, конечно, разве можно на грешной земле испытать столько счастья, столько наслаждений сразу? И уму непостижимо, даже просто нелепым кажется, что ее всесильному супругу нужно затевать какие-то опасные походы и месяцами, а то и годами пропадать где-то за тридевять земель, когда здесь, рядом, под боком, находится сказочный рай. Живи, радуйся и наслаждайся. Но тут она спохватывалась, вспомнив, что сомневаться в праведности и разумности всех деяний и замыслов великого властелина — кощунство, непростительный грех, и поспешно пресекала преступную мысль, невольно вырывавшуюся на простор. В такие мгновения все свои сомнения и подозрения, чем-то напоминавшие вдохновенную гончую собаку, вот-вот настигавшую верткую добычу, она переключала на ненавистную соперницу — старшую ханшу, обвиняя ее во всех смертных грехах. Несчастная! Уж чего-то она потащилась-поплелась за Повелителем в чужие дальние страны?! Сидела бы уж дома...

...Язвительная мысль о сопернице доставляла юной ханше такое радостное облегчение, точно мгновенное удовлетворение самого жгучего, самого нетерпеливого желания, вызванного крепким, однообразным растиранием бедер и поясницы. Ей вдруг чудилось, что не раскаленное полуденное солнце смотрит на нее с вышины, а глаз подлой соперницы, от злобы и ненависти наполненный кровью. Ну, ну, смотри, смотри, тварь ползучая, любуйся тем, чего у тебя нет, пусть гложет тебя зависть, пусть изводит тебя ревность, ну, смотри, смотри же!.. Ханша проворно переворачивалась на спину, подставляла гладящим ее женщинам острые, упругие груди с коричневыми набрякшими сосцами. Разве старая ее соперница обладает такой

красой? Разве есть у нее такое молодое, чистое, полное соблазна тело? Как бы не так! Потому она и завидует ее молодости. Потому она и ревнует так дико Повелителя к ней. И проклинает ее таинственное очарование, вырвавшее златоголового властелина из ее постылых объятий. Проклинает свою судьбу за то, что та обрекла ее на одиночество у потухающего очага. И, должно быть, в полном отчаянии, однако еще надеясь добиться благосклонности Повелителя, она на старости лет послушной собакой поплелась за ним в поход. На что только рассчитывает, несчастная? На что она пригодна? Чем она сможет угодить Повелителю?

Нет уж... не видать ей отныне властелина... Ради чего он станет наведываться к ней? Ради домашнего очага, вокруг которого копошится его многочисленное потомство?.. А вот к ней, юной, прелестной ханше, он заедет в первую же ночь после долгого, изнурительного похода, приедет, как к желанному пристанищу, как к приюту любви и ласки, для отдохновения души и тела. Да, да... именно так... в этом нет у нее никакого сомнения... Но будучи великим Повелителем может ли он позволить себе такую роскошь — днем и ночью пребывать со своей возлюбленной, точно пылкий юноша? Конечно, нет. Стоит ему, грозному властелину, от одного имени которого трепещут все четыре стороны света, оставить своих подвластных на два-три года в покое, как презренная челядь с тайным злорадством начнет шушукаться о безволии хана, о том, что он изнежился и обленился подле жаркотелой бабы... От одной этой догадки у юной ханши больно сжималось сердце. О, нет! Она, богом данная супруга великого властелина, не позволит, чтобы вонючеустая толпа трепала его славное имя. Ей в это мгновение стало совершенно очевидным, что недавняя мимолетная мысль о бессмысленности и бесплодности опасных и продолжительных ханских походов,— женская слабость, непростительное кощунство.

Нет, она отныне не осмелится осудить властелина за его походы. Более того, и потом, когда он вернется домой, она не станет силком удерживать его возле себя на том лишь основании, что имеет счастье быть его избранницей. Ведь весь этот люд, окружающий их, не спускает глаз с великого властелина и его юной жены. Каждое слово, каждый жест, даже малейший намек — все-все на виду. И потому вполне уместно, если Повелитель время от времени

посетит свою старшую жену, заслуга которой хотя бы в том, что она наградила его детьми, а те — в свой черед — внуками. К тому же, надо полагать, привлекает его отнюдь не стареющая жена, а долг отца, деда и свекра, высокий долг проявлять заботу и выражать высшую волю и мудрость в непростых семейных отношениях. Ради этого, должно быть, он забрал с собой в поход и старшую жену. Ради этого наверняка изредка советуется с ней. И она, юная ханша, прекрасно понимает, что все это показное, что делается все для посторонних глаз и легковерной молвы. Что она, старшая жена, подозрительная, ревнивая баба, может посоветовать мудрому властелину? Больно нуждается он в ее советах! Разве найдет он здравомыслие в ее иссохшем от ревности и зависти дряхлом сердце?! Уму непостижимо, о чем, они, оставшись наедине, могут беседовать...

Мысли юной ханши оборвались, спутались. Сладкая истома, охватившая ее молодое, трепетное тело, точно истаивала, улетучивалась, и ей хотелось открыть глаза, оторвать голову от подушки, однако тут же опомнилась, спохватилась, боясь выказать свое смятение перед служанками, усердно растиравшими ее тело, и она, еще крепче зажмурив глаза, старалась поймать и связать нити оборвавшихся мыслей.

Да, да... на что еще способны пожилые супруги, кроме длинных и нудных разговоров? И, видимо, старшая жена умеет искусно поддерживать беседу. Должно быть, при виде властелина не теряется, не лишается дара речи, точно неопытная девчонка, или, как она, молодая, неискушенная жена.

Тогда, перед выступлением Повелителя в поход, она с нежной кокетливостью пыталась поведать ему свою печаль и тоску предстоящего одиночества — не поведала, не смогла. Наутро, в минуту прощания, пыталась прильнуть к нему, обнять, выказать ему свою верность и преданность, достойную юной ханши,— не осмелилась, не решилась. Застыла у порога, робко взглядывая на выходившего из ее опочивальни властелина. Должно быть, он почувствовал на себе ее взгляд: на полпути он круто остановился, пристально посмотрел на нее, хотел что-то сказать, однако покосился вбок, в сторону, чуть нахмурился и пошел дальше. Юная ханша перехватила его взгляд, тоже покосилась вбок и увидела чинный ряд евнухов, склонив-

шихся в подобострастном поклоне. Только теперь она поняла, вернее, женским чутьем своим почувствовала всю нелепость, бестактность своего растерянного вида и, смутившись вконец, быстро закрыла дверь. Однако в мимолетном взгляде властелина, полном сочувствия, нежности и необыкновенной доброты, она уловила то, чего — как ей почудилось в этот миг — не увидела в его обычно холодных, суровых глазах еще ни одна женщина. Может, это и было любовью... Радостное, счастливое чувство точно опалило ее сознание. Ну, конечно, такой сочувствующий, проникновенно-нежный взгляд может исходить только от любящего сердца. Значит... значит, Повелитель любит ее...

Щеки ханши зардели, запылали. Дыхание ее прерывалось, она точно окунулась на мгновение в таинственное озеро наслаждения, точно захлебнулась от неги и истомы.

«А что потом... потом... потом?» — лихорадочно стучала мысль. Потом, когда пройдет, исчезнет куда-то невысказанная нежность? Потом, когда потухнет страсть в глазах? Какое же чувство придет на смену ослепительного счастья любви? Неужели возникнет в душе пустошь, похожая на вытоптанную, вытравленную, заброшенную стоянку былого кочевья?

Эта догадка показалась ей верной и справедливой, однако сознание отчего-то внутренне сопротивлялось ей, упрямое сомнение, затаившееся где-то в глубине сердца, лишало ее покоя, смущало желанную благость души и невольно навевало противоречивые думы.

Если былому страстному чувству между стареющими супругами суждено увядать, почему они все-таки до самой смерти не в силах расстаться? Или, быть может, их преследует просто страх перед закатом жизни и одиночеством старости?

Однако подобный страх испытывают, скорее всего, лишь заурядные смертные, чья власть и влияние не распространяются далее скудного семейного очага. Но великому Повелителю, подчинившему своей воле половину вселенной и до последнего часа окруженному вниманием, заботой, любовью преданных ему народа, войска, единокровных родичей и возлюбленной, такой низменный страх, конечно же, неведом. Значит, его влечет к старшей жене какое-то иное чувство. Какое?

Да-а... в душе стареющих супругов, должно быть, остается нетленный след былой искренней, горячей любви.

Может, этот след — горсть стынущей золы — называется привязанностью или уважением? И, возможно, окончательно остынет и превратится в пепел эта горсть золы лишь тогда, когда сам человек обернется тленом?

Она вся вспыхнула, обрадовавшись тому, что легко нашла ответ на давно уже мучивший ее вопрос. Но радость тут же погасла, ледяной холод опалил грудь. Выходит, между Повелителем и старшей женой не все еще кончено. Остались душевная расположенность, взаимная привязанность. Сердце ее больно кольнуло. Тело, разомлевшее под мягкими, упругими пальцами служанок, мгновенно обмякло, обвяло. Казалось, если она сейчас же, немедля не встанет, чужие, безжалостные пальцы, точно когти хищника, разорвут ее онемевшее тело в клочья. Юная ханша вскочила. Тонкое шелковое платье обожгло ее холодом, словно впивалось невидимыми колючками. Она еле дождалась, пока служанки расчесали ей волосы и заплели косы. Она спешила уйти отсюда, от этого места, где только что предавалась блаженной истоме.

И опять обрушилось на нее уныние. Она вдруг ясно осознала свое одиночество, впервые так остро, обнаженно ощутила свое бессилие, свою немощь перед уверенной и могущественной старшей женой Повелителя, успевшей пустить надежные корни в лице своих детей и внуков. Боль и зависть, ревность и тоска, точно пламя, обожгли ее юное существо. Пусть, пусть, твердила она себе с отчаянным злорадством, пусть сильнее разгорится это пламя и дотла выжжет всю ее душу, тогда, может, избавится она от невыносимых мук и обретет, наконец, желанный покой. И уже чудилось ей, что вот-вот мольба ее дойдет до всевышнего, и случится это страшное и непоправимое.

Она старалась ни о чем не думать. Но беспорядочный рой мыслей, помимо ее воли, словно назойливые мухи, мельтешил перед ее глазами, и она, с тщетным усилием подавляя в себе тошнотворную слабость и отвращение, отбивалась от него, крепко-накрепко зажмуривала глаза. Мысли дробились, дробились, точно наваждение, преследовали ее, сводили с ума, окутывали ее плотной завесой докучливой, прожорливой мошки. Противная дрожь, как в лихорадке, охватила юную ханшу. Она все усиливалась, дрожь, трясла, колотила ее знобко, и уже невозможно было с ней сладить. Ханша испугалась, в ужасе широко

раскрыла глаза. «Боже! Не заболела ли я? Не схожу ли и впрямь с ума?!

Уже плохо помня себя, она кинулась в угол к зеркалу и, едва увидев себя в нем, удивилась. Ничего страшного с ней не случилось. И никакая кара ей не угрожала. Все в ней оставалось прежним. Может, только волосы распушились, да слабо, второпях, заплетенные косы чуть распустились. Но это, наоборот, придавало ее лицу свежесть, приятную новизну. Шея, грудь, щеки блестели от благовонной мази, которую щедро втирали в ее кожу служанки. На щеках горел румянец, должно быть, от волнения, от постоянной борьбы сомнений и надежды, а вот гладкий, высокий лоб был бледен и измучен. Небольшой точеный носик с чуткими трепетными ноздрями брезгливо морщился, будто неприятен ему был блеск алых щек. Робкий, задумчивый взгляд влажных глаз под манерно насурмленными бровями подчеркивал выражение печали и подавленности на юном лице.

Ханша долго и пристально всматривалась в зеркальное отражение, словно не веря, что несчастная, удрученная горем девчонка — она сама. Поразительно, что с этаким видом она еще живет на этом свете. Глядя на нее, разве мыслимо испытывать хотя бы подобие любви, или уважение, или — на худой конец — простое любопытство? Нет, конечно! Она может вызвать только жалость, сострадание, долгий сочувствующий вздох: «Ах, бедняжка, сиротинушка!..» И напрасно она вообразила, что искорки в глазах великого Повелителя — выражение мужской любви к ней. Какой там?! Самая заурядная жалость к слабому существу. Просто удивительно, что этот чахлый убогий цветок до сих пор не затоптан своенравной львицей — старшей женой Повелителя...

Разве такой беспомощный, жалкий цыпленок, как она, в состоянии взволновать закаленное в кровавых походах сердце сурового властелина?! Просто любимая жена, состарившись, уже бессильна удовлетворить его мужскую потребность, и он взял в жены юную ханшу, как говорят, для обновления запаха ложа. А она, глупая, неопытная, приняла обыкновенную жалость, сочувствие пожилого человека за необыкновенную любовь. Нет, нет, не думай и не мечтай, смирись со своей судьбой, довольствуйся тем, что тебя взяли, как юную, чистую, смазливую самку, да, да, самку, и благодари всевышнего за то, что тебе принад-

лежат один из ханских дворцов и редкие, считанные ночи близости с великим Повелителем. Не тебе, дорогая, соперничать со старшей женой, ибо ей одной безраздельно принадлежат и уважение, и привязанность, и подлинная любовь властелина половины вселенной. И не надейся, что и тебе уготована подобная судьба...

С таким несчастным, горемычным видом разве в состоянии ты, как старшая ханша, привлечь к себе внимание равнодушного ко всем сплетням и слухам Повелителя здравомыслием и задушевными беседами? Разве всеблагий наградил тебя таким щедрым даром, чтобы Повелитель нуждался в твоем уме и мудрости, твоей близости в далеких и опасных походах?

Тягостные думы, точно занудливый осенний дождь, все усугубляли тоску, и юная ханша не находила в себе силы противостоять ей.

Она почувствовала за спиной чье-то дыхание. Обернулась испуганно: неужели кто-то посторонний застиг ее в таком растрепанном виде... Старая служанка держала в протянутых руках коричневую шкатулку. Заметила ужас в расширенных зрачках своей подопечной и жутковато улыбнулась, раздвигая сетку морщин и редкие жесткие щетинки возле дряблых губ.

— Вот это принес сейчас старший визирь. Подарок, говорит, от великого Повелителя...

Еще во власти недавних назойливых дум, ханша с недоумением уставилась на старуху, соображая, что ей сказать и как поступить.

Старуха осторожно опустила шкатулку на постель. Потом схватила растерявшуюся ханшу за руку и подвела ее к ней, точно малое дитя. Открыть шкатулку старая служанка, однако, не решилась. Достала откуда-то из глубины длинных рукавов крохотный блестящий ключик и сунула его в холодную ладошку ханши. От волнения ханша никак не могла попасть в отверстие замка. Тогда старуха сама открыла шкатулку. Открыв ее, смутилась, заколебалась: то ли глядеть ей на ханшу, то ли на содержимое шкатулки.

В глазах ханши зарябило. Она даже не посмела прикоснуться к тому, что открылось ее взору. Наконец, извечное женское любопытство взяло верх, она посмотрела пристальней и от восторга затаила дыхание. Переливавшийся всеми цветами радуги бриллиант, матово-загадочно

поблескивающие кораллы, ослепительный жемчуг, диковинные алмазы, благородно-холодный агат, белесо-желтый стыдливый яхонт, прозрачный, как осеннее небо, сапфир, текучий, чистый, как капля родниковой воды, изумруд, багрово-красный, как стынущая кровь на снегу, рубин, сдержанно-ровная, нежно серая яшма и многие-многие другие драгоценности, названий которых она даже не знала, покоились в продолговатой ореховой шкатулке. А поверх всего этого благолепия скромно лежал маленький белый цветок, точно лилия на глади роскошного пруда.

Ханша схватила нежный цветочек, еще не потерявший свежести и аромата, и порывисто прижала его к груди. Железный обруч, холодом сковавший ее душу, мгновенно лопнул, и слезы, с утра застывшие в ее глазах, вдруг неудержимо полились, хлынули, точно благодатный, весенний дождь. Сердце, отяжелевшее от обиды и тоски, вдруг вновь обрело прежнюю неощутимую легкость.

Ханша сейчас уже не замечала старой служанки, и не стыдилась своих слез, и не испытывала никакой неловкости, оглушенная неожиданным счастьем. Она чувствовала, как жуткий страх, облепивший ее, точно ненасытные пиявки, медленно покидал ее, удалялся, крадучись по-кошачьи. Спаситель-всевышний и великий Повелитель-благодетель вовремя почувствовали ее безысходную тоску и бездонную муку, терзавшие ее неокрепшую душу. Сомнения и подозрения, уязвленное самолюбие и обида, одиночество и необоримое желание — все они услышали, обо всем догадались. Вспомнил Повелитель о ней и за тридевять земель прислал гонца, чтобы утешить юную ханшу, передать ей подарок.

Ханша поднесла цветок к губам и расцеловала каждый лепесток.

Старая служанка догадывалась без слов, что творилось сейчас в душе ханши, и тихо вышла.

Ханша прилегла на постель. Точно ребенок, любующийся новыми игрушками, перебирала она драгоценности, раскладывала на груди, улыбаясь диковинному блеску белых, красных, голубых, зеленых, черных камней, переливавшихся разноцветными каплями сказочного дождя.

Недавняя печаль в груди ханши развеялась, как тучи после ливня. Светлое, неведомое чувство, как тихая гладь

озера, охватило ее. О, она бы сейчас высказала, выплеснула из самой глубины сердца всю свою горячую благодарность щедрому супругу, но он ведь не услышит. Будь он рядом, забыла бы про робость и женскую стыдливость, отдалась бы ему без ума, без оглядки, вся, вся, подставила бы распаленные жаждой любви белые тугие груди, прижала бы страстно его к своему знойному телу, истомленному, измученному, как степь после долгой засухи. Только не осуществиться ее желаниям в этом безмолвном, огромном и унылом зале...

Излить бы свою душу в письме — стыдно. Доверить свою тайну гонцу — невозможно. Так как же она выразит, как передаст идущую от чистого сердца признательность, любовь и безмерную благодарность великому Повелителю, благодетелю, возлюбленному, супругу? Это еще когда вернется он из похода и переступит порог этого дворца? И кто знает, когда еще наступит тот желанный день, позволяющий ей на пышном супружеском ложе доказать всю нежность и страсть, томящие ее юное тело? Как она сбережет свое неуемное чувство к нему? Чем утолить ей неизбывную жажду любви, от которой кровь вскипает в жилах? Как, каким образом она известит ненавистную кичливую старшую ханшу, бесчисленных дворцовых слуг, вскормленных сплетнями и интригами, самого Повелителя и весь этот необъятный мир о своей готовности в любой миг принести себя в жертву ради владыки вселенной, единственного и желанного? Об этом должны непременно все узнать сегодня, самое позднее — завтра, иначе сердце ее разорвется от счастья, не вынесет бурной радости. Как ей прожить столько долгих, изнурительных дней в тоскливом ожидании, пока вернется из похода Повелитель? Как ей пережить столько бесконечно длинных ночей в неутоленном желании, в неутихающей, сжигающей страсти? Как она уймет волнение, охватившее ее пылкую душу? Ведь отныне низменная цель досаждать старшей ханше, всевозможными уловками отравлять ей жизнь не может ей служить единственным утешением. Большое искреннее чувство должно выразиться в благородном поступке.

Она сейчас же, не медля, собралась бы в путь и отправилась бы хоть в какую даль вслед за Повелителем. Но такой поступок наверняка уронил бы честь властелина и вызвал бы многоликие сплетни среди праздной толпы.

Разложив все драгоценности на постели, ханша при-

легла с краю и предалась мечтам. Чем она отплатит за столь щедрое внимание возлюбленного? Чем она обрадует его завтра, когда он, усталый, возвратится из дальних стран? Какая жалость, что слишком коротка была их супружеская жизнь, что не успела вдосталь утешить жаркую плоть! Хоть бы понесла она от Повелителя до отправления его в поход. Тогда бы она не ломала голову, гадая, чем ответить за его доброту. Прислушиваясь к каждому толчку созревающего в материнском лоне плода, она испытывала бы пьянящее блаженство и, конечно же, не ведала бы ни изматывающих дум, ни неизбывной тоски. Тогда у нее был бы повод ежедневно писать супругу. К его приезду она благополучно разродилась бы сыном и вышла бы навстречу Повелителю с крохотной плетеной люлькой в руках, и тогда она безраздельно и навсегда завладела бы благосклонностью его и тем самым лишила бы соперницу, старшую ханшу, ее единственного преимущества перед нею. Но увы! Всевышний не проявил этой милости, не дано было осуществиться этой красивой мечте, и, подумав об этом, ханша опять на мгновение растерялась.

Да, да, нечего предаваться грезам. За доброту и внимание Повелителя она может воздать только верной и искренней любовью. Больше ей нечем платить. Значит, она должна придумать нечто такое, что доказало бы ее великую любовь и преданность Повелителю не только перед ним, но и перед всеми живущими на земле. Она должна построить памятник, величественный и прекрасный, который поведал бы возвращающемуся из похода Повелителю о ее любви, душевной тоске, нежности и верности.

Она не станет дрожать над этими драгоценностями, как старшая жена Повелителя, не присвоит их себе. Она построит на них небывалый памятник — башню любви, от которой не сможет оторвать взор сам властелин. Ее башня будет возвышаться над всеми минаретами города. И люди должны любоваться ею, восхищаться силой любви, верности и умом юной ханши.

В ту ночь она впервые за долгое время спала спокойно.

Наутро она отправила порученца за старшим визирем. Тот, выкатив большие, как плошки, смоляные глаза, выслушал ханшу с почтением и долго молчал. Неясно было, то ли удивлялся он намерению ханши, то ли одобрял про себя ее благородный порыв. Когда ханша, закончив свой сбивчивый рассказ, умолкла, старший визирь приложил

белые холеные руки с длинными растопыренными пальцами к груди и низко поклонился.

«Будет сделано, высокородная ханша!»

Через две недели пришел главный зодчий и доложил, что новый минарет поручено одному из тех мастеров, которые принимали участие в строительстве мечети в честь старшей жены великого Повелителя.

Ханша встрепенулась: отныне у ней была забава. Каждый день она отправляла своего порученца к старшему визирю и от него узнавала все подробности новой стройки. Особенно радовалась она тому, что минарет решено было построить неподалеку от ее дворца.

Медленно тянулись караваны дней... Однажды, встав с постели, ханша увидела в окно что-то пестро-красное, высовывавшееся из-за верхушек деревьев. В недоумении подбежала она к окну и тут только догадалась, что это и есть минарет, строящийся по ее милости. Минарет воздвигали уже около года. Кто-то маленький, едва заметный, будто мураш, копошился на вершине крутых стен. Минарет уже поднялся над оградой ханского дворца и сравнялся с самыми высокими деревьями в саду.

С того дня кирпичная громада за окном неотступно преследовала ее. Каждое утро ханша с нетерпением подбегала к окну и мысленно прикидывала, на сколько выросли стены минарета. Ей казалось, что стройка идет излишне медленно. Еще недавно она ликовала: мечта ее становилась явью, в столице Повелителя рождалась новая невиданная по высоте и красоте — башня, но теперь радость сменялась тревогой. Крохотный мураш на вершине минарета с утра до вечера торчит на одном и том же месте. Только много ли прока оттого, что он там копошится? Эдак не скоро осуществится ее мечта. Может, и не суждено ей увидеть своей башни во всей ее величественной красе. Будет, как вечный укор, маячить перед глазами людей эта шершавая невзрачная каменная глыба, точно грязное пятно на прозрачной небесной сини. Ханше захотелось вблизи увидеть строящийся минарет, подняться на его вершину, встретиться с нерасторопным, нерадивым мастером, что, как назло, застыл на одном месте, и — если надо будет — уговорить, умолить его ради всего святого быстрее закончить башню. Однако ханша долго колебалась, кому и как поведать о своем желании. Она осторожно, намеком, поговорила со старой служанкой, и та, всегда гото-

вая услужить любимице, на этот раз отчего-то смешалась, посоветовала не торопиться, подождать, послать сначала слуг, чтобы они все подробно выяснили. Так и сделали. Не один раз отправляли к мастеру верных людей. И ответ был один и тот же: «Стройка идет как задумано. В день укладываются сотни и сотни кирпичей. Уже сейчас минарет выше всех строений в городе. На такую высоту и кирпичи поднимать непросто. Подгонять мастера невозможно. Он и без того измучен».

Но все эти речи казались ханше простой отговоркой, желание утешить ее, как несмышленое дитя. Нет, она должна сама, собственными глазами осмотреть башню. Иначе она не найдет себе успокоения.

И однажды, решительно отмахнувшись от всех опасений старой служанки, она отправила порученца к старшему визирю: ей, юной ханше, угодно самолично осмотреть минарет. В назначенный день в сопровождении старшего визиря, главного зодчего и большой свиты она отправилась к строящейся башне.

Едва торжественный и нарядный кортеж выехал из ворот ханского сада, ханша увидела минарет во всем его величии. Обычно лишь краешек стены выглядывал из-за верхушек пирамидальных тополей, а здесь, на просторе, при стремительном приближении мягко катящейся повозки, башня вырастала на глазах, словно горделиво ввинчивалась в голубизну неба. А когда кортеж остановился у ее подножия и ханша со своей свитой вышла из крытой повозки, громадина из темно-коричневого кирпича, казалось, скрыла от восхищенного взора половину вселенной. Ханша почувствовала сразу облегчение, по жилам прокатилась легкая радостная дрожь. Ей чудилось, что если бы девушки из свиты не поддерживали ее под руки с двух сторон, она могла бы, словно пушинка, взлететь до самой верхушки минарета. Ханша вдруг решительно направилась к башне. Рабы, работники, дворцовые слуги, свита учтиво расступились перед ней и согнулись в покорном поклоне. Она никого не замечала, никого не удостоила взглядом. Так же стремительно вошла в башню, за ханшей, стараясь не отстать, ринулись главный зодчий, старая служанка и еще человек пять из свиты. По крутым каменным ступенькам быстро поднялась наверх. Сердце колотилось все громче, в груди горело. Сзади слышалось надсадное дыхание девушки из свиты. Остальные, должно

быть, отстали. В узкой, тесной башне становилось все темней, все мрачней, пламя светильника в руках девушки-служанки отбрасывало зыбкий отсвет. Внутренние стенки были сплошь в густой, жирной саже от лучинок, скудным светом которых пользовались рабы-носильщики, доставлявшие наверх кирпичи. Ханша, подхватив длинный подол, упорно поднималась вверх по крутым ступенькам. Мрак уже заметно рассеивался, а еще через мгновение ослепительно засияло над головой полуденное солнце. Ханша достигла, наконец, вершины башни. Девушка-служанка, державшая светильник, остановилась на несколько ступенек ниже.

То ли от непривычной высоты, то ли от неожиданно яркого света, обдавшего ее со всех сторон, ханша почувствовала слабость и головокружение. Однако она пересилила себя, подавила тошноту и быстро оглянулась. Огромный город, беспорядочно раскинувшись, лежал далеко внизу. Неприступно горделивые минареты, пышные мечети и дворцы отсюда, с высоты, казались невзрачными и неказистыми, словно игрушки в руках ребенка.

От радости вновь всколыхнулось сердце ханши. Выходит, напрасно она волновалась и тревожилась. Из этой башни, ее башни, и впрямь получится диво. Уже сейчас она овладела половиной небесной шири над столичным городом. Любуясь необъятным простором, открывшимся с вышины минарета, ханша на мгновение скользнула взглядом вдоль кладки и увидела у краюшка стены едва приметную фигурку мастера. Он был весь, с головы до ног, измазан глиной и, должно быть, стеснялся своего вида, потому что, как испуганный мальчишка, застыл на месте. И было странным, что юноша-мастер, своими руками сотворивший эту громадину, забился в угол, словно со страху онемевший зайчишка; у ханши — то ли от неожиданной женской жалости к его несчастному виду, то ли от любопытства и удивления — невольно чуть дрогнули губы. И хотя здесь, на вершине минарета, кроме их двоих не было ни одной живой души и никто во всем мире их сейчас не видел, ханша тут же спохватилась, смутилась и с усилием потушила непрошеную ласковую улыбку. Чутье подсказало ей, что дальше задерживаться здесь, рядом с незнакомым юношей,— неприлично, и она, подхватив пальчиками подол, нехотя направилась вниз, по ступенькам, где со светильником в руке поджидала ее девушка-служанка.

У самого спуска она еще раз обернулась и явственно разглядела мастера: он был совсем еще юн, строен и худощав, смуглолиц, большие печальные глаза таинственно лучились...

Ханша осторожно, чтобы не оступиться, пошла вниз. Каждый ее шаг эхом отзывался в узкой мрачной башне.

Садясь в повозку, она еще раз покосилась на вершину минарета и сразу же нашла глазами маленькую, одинокую фигурку мастера на краю кладки. Она вспомнила его робкий, покорный взгляд, огромные печальные глаза и тихо улыбнулась.

С того дня судьба башни уже не тревожила ее. Она вновь вернулась к своим прежним забавам, возобновила забытые прогулки по саду и купание вместе с девушками в дворцовом пруду. После купания и игр в воде усталую ханшу долго растирали услужливые девушки, и ханша, предаваясь истоме, не удручала себя изнурительными и бесплодными думами, как прежде, а спокойно вглядывалась в знакомые очертания изо дня в день все заметней возвышавшегося минарета. И вот однажды она не увидела знакомой фигурки мастера на краю кладки и всполошилась. Но в тот же день слуги ей доложили, что мастер закончил кладку и теперь приступает к отделке стен.

Прошло лето. Скупыми дождями отшумела осень. Осталась позади и очень короткая в этих краях сырая зима. Грубо оголенная кирпичная громада сначала оделась в леса, потом через квадратные решетки, похожие на соты в ульях, нежно заголубела глазурь.

Отныне ханша в сопровождении свиты подолгу гуляла по саду и все любовалась преображающейся на глазах башней.

Сначала башня оделась в лазурь. Она словно растворялась в синеве неба. И уже казалось, будто маленькие фигурки мозаистов, копошащихся на лесах, заняты украшением не стен башни, а самого небосклона. Линии минарета незаметно сливались с безбрежной небесной синью. Юная ханша ликовала.

Каждое утро, проснувшись, она спешила к окну, вкушая радость от причудливой игры красок, которыми украшали башню крохотные человечки на лесах.

А голубая башня и впрямь менялась по сорок раз на дню. Вначале на место тяжеловесной корявой кирпичной громады проявился тонкий прямой гладкий столб, точно

подпирающий небо, а теперь с каждым днем он обретал ласкающую взор красу. Ханше что-то напоминала эта башня, что-то очень знакомое, близкое, но она никак не могла вспомнить — что. Потом ей померещилось, будто башня похожа на красивую оголившуюся женскую руку, маняще вскинутую над головой. И поразила ее догадка: как точно, как зримо изобразил юный мастер нетерпеливую тоску ее по желанному супругу, так долго задерживающемуся в далеком и опасном походе!

И еще ей казалось, что голубая башня похожа на удивительно нежное, загадочное деревце, впитавшее в себя лучшие соки земли, взлелеянное чуткой и доброй природой и обласканное живительным весенним ветерком. И уже жалость пробуждалась в сердце ханши к этой башне, томили ее сочувствие и сострадание к ней, как к живому, беззащитному существу. Как выстоит это хрупкое, одинокое, неземное растеньице потом, когда задуют свирепые бури ранней весной и в предзимье, когда обрушится на нее нещадный летний зной?

Каждый день минарет удивлял своим новым обличьем. То он казался невинным и робким творением, то напоминал шаловливого дитя, то выказывал озорную игривость, то застывал в горделивой неприступности. Иногда он точно заглядывал в окно, навевал тоску и печаль, жаловался будто на одинокую судьбу свою, но на другой день становился замкнутым и холодным, дерзко устремлялся к самому небу.

Сколько бы ни разглядывала ханша башню, она не могла понять секрета ее многоликости, не могла постичь тайну ее неотразимой прелести. Особенно ее озадачивал сам мастер, который почему-то явно оттягивал завершение башни и долго копошился у зазора на самой вершине.

Ранее, бывало, ханша ничуть не смущалась маленького человечка, изо дня в день мельтешившего на краю кладки, и ежедневно свободно купалась в хаузе. Теперь она робела, стеснялась раздеваться и обнаженной входить в воду, чувствуя на себе пристальный взгляд мастера, наблюдавшего за ней через маленький зазор под куполом.

Теперь, выходя на прогулку, она останавливалась на берегу хауза и подолгу смотрела на минарет. Казалось, и башня глядела на нее, пытаясь сказать что-то сокровенное, сказать без слов, одними намеками, игрой красок, чтобы ни одна живая душа вокруг ни о чем не догадывалась.

Должно быть, башня уже привязалась к юной ханше и тосковала по ней. Стоило ханше исчезнуть за стенами дворца, как башня тотчас окутывалась зыбким маревом и тихо грустила за окном. Но едва ханша показывалась в саду, башня точно пробуждалась, стряхивала с себя неведомую печаль и встречала ее сияющей улыбкой.

Минарет будто безмолвно подкрадывался к юной ханше. Будто вплотную придвинулся к высокому дувалу вокруг дворца и сада и даже пытался перескочить через него, но никак не решался.

Это становилось наваждением. Минарет точно заворожил юную ханшу, лишил ее воли. Она смотрела на него целыми днями, словно пыталась по буквам, по слогам прочитать некое загадочное письмо, написанное ей на незнакомом наречии.

Иногда башня до боли напоминала саму ханшу. Может, она была ее безмолвным отражением? И у ней был цветущий, нарядный вид; и все же сквозь внешнюю красоту проглядывала затаенная, непроходящая печаль. Неведомая боль, неизбывная тоска, тщетно скрываемая от себя и от других, подспудно подтачивали ее; робкое желание, неуемная страсть, подавляемая изо дня в день, застыли в ее обличье. Такое выражение глубокой душевной скорби вместе со страстным сердечным влечением встречается нередко в задумчивых глазах несчастных, неуверенных, замкнутых людей. Нет, эта башня вовсе не была отражением самой ханши. В минарете был выражен немой упрек. Он словно говорил ей: «Ну что ты?... Неужели ты не можешь понять меня?» И только теперь ханша заметила: да, да, точно такое же выражение, такой же мягкий укор, такую же ласковую мольбу она прочитала тогда при мимолетной встрече в покорных и милых глазах молодого мастера. Выходит, зодчий сумел вложить в свое творение душу, выразить в немом, бездушном камне свою затаенную мечту...

Только что это за мечта? О чем хочет поведать ей загадочная башня, так преданно и терпеливо заглядывающая в ее окно? В чем она ее упрекает? За какой проступок заслужила юная ханша ее немилость? Не может же молодой робкий мастер, который даже не осмелится поднять на нее глаза, быть в душе таким придирчивым, сварливым, жестоким. Нет, не может. Для зодчего, для подлинного мастера нет большего счастья, чем показать всем людям, всему миру свое творение, свое искусство. Мастер, построивший

удивительной красы башню, которая с недосягаемой высоты взирает на столичный город, не может быть подозреваем в недобрых помыслах. Тогда почему он оттягивает завершение стройки? Почему на виду у всех оставил под самым куполом зияющий зазор?

Ханша приказала заложить повозку и отправилась смотреть минарет.

Поразительно: по мере приближения башня теряла свой смиренный, кроткий вид и становилась неприступно холодной, заносчивой. Вблизи она и вовсе походила на кичливую, своенравную красавицу. Ханша на этот раз не стала подниматься на вершину минарета. Только поинтересовалась у главного зодчего, почему не заканчивают строительство, ведь осталась самая малость, на что тот, чуть подумав, с достоинством ответил, что, мол, мастер никак не может добиться чего-то очень важного, желанного, задуманного, что вот-вот ему, бог даст, откроется заветная тайна и тогда, в тот же день, башня будет завершена.

Возвращаясь во дворец, ханша продолжала смотреть на башню из окошка крытой повозки. И опять она поразилась: по мере удаления башня теряла заносчивый, неприступно холодный вид и становилась смиренной, кроткой. А потом, когда ханша глянула из окна своей опочивальни, башня и вовсе показалась удрученной, печальной.

Ханша окончательно убедилась, что все эти загадочные превращения неспроста, что за этим кроется глубокая тайна.

Молодой зодчий, конечно, безошибочно понял и точно выразил ее чистую любовь, неуемную тоску по любимому супругу — великому Повелителю. Он сумел угадать затаенный смысл ее желания, которое побудило построить этот минарет. Потому — если смотреть издалека — башня и кажется такой грустной, потому и вызывает она невольное сочувствие, жалость. Должно быть, на расстояние дневного пути она мерещится путникам манящей рукой истосковавшейся по любимому женщины. Она, видимо, чудится выражением страстной любви. «Спеши же, милый... Скорей приезжай... Скорей...» Но откуда эта вызывающая гордость вблизи? С какой стати этот надменный, высокомерный вид, когда взираешь на нее с близкого расстояния? Разве не вызовет это справедливый гнев у властелина? Может, и он соскучился по возлюбленной за долгую разлуку, но вряд ли его обрадует кичливость и

холодная сдержанность башни, построенной в его честь. И почему она грустит, скорбит, когда смотришь на нее из дворца? Ведь она, казалось бы, должна выражать ликующую радость, счастье юной ханши, обретшей свою любовь после стольких лет одиночества.

Не может быть, чтобы молодой даровитый зодчий, неспособный разве что источить слезу из камня, не понял этого. Значит, он сознательно наделил башню такой странной двойственностью. А что, если его подступное желание, его глубоко упрятанную тайну увидит, разгадает, почувствует праздная и болтливая толпа?

Ханша не на шутку встревожилась. Посоветовавшись со старой служанкой, решила отправить на базар своих людей, чтобы они послушали и донесли, что говорят горожане и приезжие о новой башне. Однако ничего любопытного тайные соглядатаи не сообщили. Оказалось, что базарный люд ничего предосудительного или крамольного в новом минарете не усмотрел, что все только восхищены благородным поступком юной ханши, решившей в честь своего далекого возлюбленного воздвигнуть невиданную доселе башню, и божественным даром неизвестного молодого зодчего.

Хотя ханша и несколько успокоилась после донесения верных людей, однако странная тревога, недовольство своей мнительностью и подозрительностью ее не покидало.

А ведь и впрямь нет никаких оснований для волнения. Глядя на башню, народ может воочию убедиться в искренности ее чувства к далекому супругу. И сам великий Повелитель, возвращаясь из похода, уже издалека увидит ее неуемную тоску по нему, а подъезжая к башне, может по одному ее горделивому, надменному виду догадаться, что его молодая жена осталась верной и на всем белом свете, кроме него, властелина, ни перед кем не преклонялась.

Выходит, молодой зодчий зорко проник в самую ее душу, понял без слов и сумел выразить в камне и красках все ее порывы и чаяния. Значит, и великий Повелитель не найдет в построенной по ее воле башне ни единого изъяна. О, всемогущий! Так пусть же наступит скорее тот желанный день — день встречи, день счастья. Она встрепенулась бы, как сказочная невинная птаха в райском саду, вспорхнула бы в предвкушении мига наслаждений,

светом радости озарила бы высокую душу своего изнуренного походом супруга. И тогда... тогда и старшая ханша, извечная соперница ее, оказалась бы посрамленной, униженной, и ничего бы ей не оставалось, как корчиться от жгучей, испепеляющей ревности. Можно себе представить, как распирают ее гордость и чванство от того, что столько лет неразлучно сопровождала в походах Повелителя, деля с ним тяготы, славу и ложе, увидела столько диковинных стран и что следуют за нею караваны слонов и верблюдов, груженные несметным богатством. Но нетрудно себе представить также, как ликующая ее душа вмиг погаснет, сорвется с вышины, точно подстреленная, когда она неожиданно увидит перед собой дивную башню, подпирающую небосвод. И сам великий Повелитель в этот миг невольно убедится в том, что его старшая жена, с которой он прожил столько лет и которую он всюду и постоянно всячески ублажает и возвеличивает, еще ни разу не додумалась до того, чтобы с таким же почетом и торжеством встретить возвращающегося из похода мужа и таким образом восславить победоносный дух его, что она, несмотря на всю свою высокородность и показное благородство, только и способна копить добро, трястись над своими драгоценностями и кичиться тем, что в молодые годы удосужилась, как плодовитая, вислобрюхая сука, нарожать ему детей.

Властелин, видящий каждого человека насквозь, без слов поймет, что юная ханша не только искренна, чиста и верна в своей любви, но еще и умна, мудра и способна своей душевной зоркостью удивлять людей. Она не станет высокомерно задирать голову, дескать, глянь, великий из великих, любуйся и оцени, какой подарок я тебе подготовила, а встретит его скромно и смиренно, как и прежде. И страсть свою, тоску и желание, накопившиеся за столько лет одиночества и переполнившие теперь ее истомленную душу, она не обрушит на возлюбленного сразу, точно неукротимый поток, а будет сдержанной в ласке и любви, робкой и стыдливой, неумелой и трогательной, как в ту первую брачную их ночь. Но даже при этой сдержанности она сумеет без назойливости подчеркнуть, что нет для нее более великого счастья, чем быть вместе с всемогущим владыкой, разделять с ним ложе и, щедро отдавая себя, исполнить свой извечный женский долг.

Лишь бы настал скорее тот день... О, каждый уголок

этого огромного унылого дворца наполнился бы радостью и ликованием...

Благодаря голубому минарету скоро должна осуществиться ее взлелеянная мечта. И ханша готова расцеловать каждый палец чудодея-мастера, воплотившего ее мечту в этой башне. Только бы быстрее завершил он свое творение. Только бы скорее заделал он тот зазор под куполом, раздражающий, как бельмо в глазу. И чего он там мешкает, чего он там, на самой вершине, застрял вдруг безнадежно? И почему, когда смотришь из дворца, минарет кажется таким хмурым и подавленным, будто обидел его кто-то? Разве этот его облик не насторожит Повелителя? Может, он, Повелитель, мгновенно разгадает недоступную ей загадку? Поймет какой-то неведомый ей намек? Ну, конечно, он, владыка, подчинивший своей воле все четыре стороны света, сразу же обо всем догадается и все поймет при первом же взгляде. Только что придет ему на ум, когда он увидит из опочивальни юной ханши минарет, заглядывающий в ее окно печально и умоляюще? Несомненно Повелитель решит про себя, что молодой искусный мастер, способный одухотворить безмолвный камень, выразил своим минаретом то, что не осмелился бы высказать словами, ибо понимает, что за это ему непременно отрезали бы язык. Так что же получается? Выходит, робкий преданный взгляд юного мастера тогда при их встрече на вершине минарета означал необоримую любовь к ней.

Да, да... любовь! Теперь-то ей все понятно. Теперь-то она разгадала загадку, над которой тщетно ломала голову столько времени. И уж коли ей открылась эта тайна, то тем более не ускользнет она от всевидящих и всепонимающих глаз Повелителя.

Ханша опешила от этого очевидного предположения, словно кто-то грубо и неожиданно ворвался к ней в неурочный час.

Минарет, казалось, еще ближе придвинулся к ее окну. «Верно, верно... наконец-то, все поняла... угадала,— словно твердил он в нетерпении,— ну, ну, что же теперь скажешь, что мне ответишь?..» И столько настойчивости, столько отчаяния чувствовалось в минарете, что юная ханша поневоле зажмурила глаза и отшатнулась. Ей на мгновение померещилось, что минарет вот-вот перемахнет через высокий дувал вокруг дворца, разметет все преграды и ворвется к ней в опочивальню.

Она отпрянула от окна, собралась с духом. Она не знала, как ей поступить, как быть с безумцем, днем и ночью с непостижимой мольбой взиравшим на нее в окно.

Первое, что пришло ей в голову: необходимо немедля наказать дерзкого мастера, нарочно затягивавшего завершение минарета. Несомненно, этого юнца попутал бес, и ему самому неведомо, должно быть, что он себе вообразил. Значит, его следует наказать так, чтобы он не только про любовь, но и про бренное свое существование забыл.

Гнев и чувство ущемленного самолюбия овладели теперь всем существом еще недавно растерянной ханши. Посмотрите только, что взбрело в безрассудную голову юнца, едва осмеливающегося поднять свои воловьи глаза на молодую жену властелина! То-то же, неспроста, видно, уселся, как сыч в дупле, на вершине минарета и день-деньской неотступно следит за ней... Нет, от него нужно избавиться. И как можно скорее, пока еще бесчисленные сплетники столичного города не пустили скользкий слух по всем закоулкам. Сумасброда, решившего достать луну на небе, следует тотчас поставить на место. Где это видано и слыхано, чтобы низкородный холуй, нищеброд безымянный, черная кость, позволял себе хотя бы в черных мыслях своих возжелать белотелую невинную жену земного владыки?! Как он только посмел — пусть в своей поганой душе — осквернить священное ложе Повелителя? Если хоть одна живая душа догадается о его преступном желании, о его дерзкой мечте, то, стремясь возвеличить и увековечить честь своего супруга, она, помимо своей воли, обесчестит на века его славное имя. Нет, юная ханша обязана пресечь это безумие, обязана своими руками задушить робкий росток надежды, воплотившейся в минарете. Сейчас она вызовет порученца, тот обо всем доложит визирю и старший визирь еще сегодня заточит строптивца в мрачное подземелье-зиндан. А там он и пикнуть не успеет, как палачи секирой отрубят ему башку. Вот так бедолага-мастер, соорудивший чудо-минарет, станет жертвой собственной слепой страсти. Что ж... пусть пеняет на себя. Мог бы вовремя обуздать свое низменное вожделение. Она, юная ханша, не виновата в его печальной участи ни перед богом, ни перед людьми. И не надо откладывать своего решения. Уже пришла весть: Повелитель держит путь на родину. Пока не доползли до него сплетни, следует погасить свет в очах молодого зодчего и распорядиться, чтобы главный мастер

сам завершил строительство минарета. Но... разве минарет, словно коварный искуситель, не будет продолжать смотреть в ее окно, как прежде, преданно и умоляюще? И разве великий Повелитель не поймет его намека, не разгадает его сокровенной тайны?

От досады ханша больно прикусила губу. Как же теперь быть? Может, выпустить из крепости и подземелья всех рабов и пленников и заставить их разнести, разметать этот зловредный минарет дотла? Но что тогда скажет словоохотливая толпа, которая пока ничего не подозревает? Сколько кривотолков родится мгновенно по поводу того, что юная ханша приказала до основания разрушить минарет, построенный по ее же распоряжению! И сумеет ли она убедить Повелителя в правильности своего решения?

Ханша вновь подошла к окну. Минарет по-прежнему преданно и печально взирал на нее. На самой вершине, в черном зазоре, что-то мельтешило. Что делать? Как же быть? Кто сможет искусно заделать крохотный зазор, видный, однако, отовсюду? Да что зазор, когда сам минарет всему белому свету открыл ее сокровенную тайну?! Тайну, которую она скрывала даже от себя! Нет, отныне уже никто не в силах ее скрыть. Это может сделать только сам молодой зодчий, вдохновенный творец дивного храма любви. Однако он этого не сделает... не сделает даже во имя их великой тайны, пока не осуществится его дерзкое желание. Живо предстал перед ее глазами смуглый робкий миловидный юноша, умоляюще смотревший на нее на вершине минарета. Чистый, пылкий юнец, видно, влюбился в нее без ума. Он, слепец, даже сам не понимает, на кого позарился. Ему, несчастному, и невдомек, что овладела им губительная страсть. Юная ханша вдруг очень ясно себе представила, что молодым зодчим руководило одно-единственное желание — воплотить в минарете свою слепую любовь. Да, да, только это, только это. Он, бедняга, давно уже забыл, по чьей воле строится минарет, что от него требовала младшая жена великого Повелителя, и он едва ли не с самого начала оказался в плену своих же пылких, по-детски нетерпеливых чувств, которые заглушили в нем трезвый рассудок. И вот получилось, что помимо своей воли он вдохнул в этот минарет свою душу, выразил в нем свою безнадежную любовь, свою необузданную страсть, свое немыслимое желание, ради которых и угроза смерти ему не страшна. Вот почему

так невыносимо тоскует минарет вдали, ибо прекрасно сознает, что недоступен ему предмет его обожания. Неразделенная любовь, невозможность любви привели молодого зодчего в отчаяние. Он теперь оттуда, из своего укромного гнездышка на вершине, не уйдет. Нужно встретиться с ним, убедить в бесплодности, бессмысленности его упрямого намерения, предостеречь от безрассудства, объяснив, что его дерзость стоит ему жизни, а для юной ханши обернется бесчестьем. И если любовь его искренна, он не может не внять ее мольбам. Секира палача, конечно, убережет потерявшего рассудок юнца от пагубного искушения, однако его слепая страсть, как вечный укор ханше, останется запечатленной в минарете. Значит, только испытанным женским лукавством можно вернуть его на путь благоразумия. И только в тот день, когда ханша утолит его неодолимую жажду наслаждения, утешит его истомленную душу или осчастливит хотя бы обещанием исступленной радости, минарет перестанет, наконец, взирать днем и ночью с укоризной, жалостью и печалью, молчаливо вымаливая ласку и любовь. И если божьим даром отмеченному зодчему удалось выразить в каменном минарете неуемную боль, охватившую его душу, то оно с такой же силой сумеет выразить и ослепительный миг счастья. Вот именно это звездное мгновение и должен воплотить молодой мастер в своем творении. И тогда и сам великий Повелитель, и бесчисленная черная толпа, не подозревающие пока о дерзком поступке ошалевшего от любви юнца, воспримут это символом радости и счастья ханши, заключившей в свои объятия долгожданного возлюбленного. К этому она и должна стремиться. И да пусть утешится несчастный юнец, пусть в желанной радости захлебнется его буйная истовая плоть, ханша уступит его строптивой прихоти...

Ханша, казалось, вновь поймала повод разбежавшихся мыслей и приняла твердое решение. На другой день, с утра, она пригласила к себе старую служанку. И горничные, и свита растерянно толпились за дверью.

Старуха вышла из опочивальни лишь около полудня. Она попеременно в упор вгляделась в каждую, кто с утра томился возле тяжелой входной двери, потом велела одной из самых смазливых служанок остаться, остальных отпустила по комнатам. Девушки, озадаченно пожав плечами, разошлись.

В тот же день, после обеда, крытая повозка ханши в сопровождении дворцовой свиты направилась к минарету. Там, у его подножия, довольно долго стоял нарядный кортеж...

На следующий день, выйдя по обыкновению на прогулку, ханша сразу обратила внимание на то, что мозоливший всем глаза зазор под куполом был уже наполовину заделан. А еще через три дня строительство минарета было, наконец, завершено. Из окна своей опочивальни ханша любовалась совершенно новым обликом минарета: он приветливо улыбался, весь светился счастьем.

В честь возвращения с победой великий Повелитель провел пышный пир, и на том пиру в числе многих одарил и юного зодчего целым подносом золотых динаров.

Принимая дар, он незаметно покосился в сторону младшей ханши. Она смутилась, быстро отвела взгляд, посмотрела туда, где чинно восседала старшая жена со своей свитой, и успокоилась, решив, что никто не обратил внимания на неосторожность молодого мастера. Казалось, никому не было дела ни до него, ни до юной ханши, никто ни о чем не догадывался, и сердце ханши после стольких сомнений и волнений вновь забилось ровно, размеренно.

А когда прошел многодневный пир, и Повелитель поселился в ее дворце, она от счастья не находила себе места. Весь бесконечно длинный день она следила за солнцем. Казалось, назло ей, оно никогда не зайдет. Ханша вся измучилась от ожидания, от духоты, от жары, и лишь когда раскалившееся светило нехотя скользнуло за горизонт, она облегченно перевела дух. Теперь уж скоро, вот сейчас наступит тот желанный миг утешения души и плоти — долгожданная плата за долгие годы тоски и одиночества. Она прислушивалась к каждому шороху, не спускала глаз с тяжелой, золотыми пластинами отделанной двери.

Так и промаялась ночь напролет, с болью и обидой озираясь в сторону входа. Утром, как всегда, вошли к ней горничные, и вид у них был растерянный и смущенный. Ханша прочла в их глазах слабое утешение: «Ничего... не отчаивайся. Утомился ведь Повелитель после опасного похода и шумного, многодневного пира. Видно, неудобным ему показалось, подобно нетерпеливому юнцу, в первую же ночь переступить порог твоей опочивальни».

В тягостном томлении провела ханша день. Как невме-

няемая, слонялась из угла в угол. Надумала было поразвеяться на прогулке, однако тут же отказалась от этого намерения, вспомнив, что Повелитель любит одиночество у родника в саду и боясь неожиданной встречи с ним.

Первые дни ханша успокаивала себя тем, что Повелитель, должно быть, и впрямь устал, и старалась возбуждать в себе жалость к нему. Но проходили дни и ночи, и она все так же настороженно прислушивалась к шагам за тяжелой дверью, ждала, ждала до полного изнеможения, а Повелитель не показывался и никаким образом не давал о себе знать. Ночами напролет ворочалась ханша на душных перинах, будто они были усеяны колючками.

Отныне она пытливо заглядывала в глаза старой служанки и горничных. И у них был подавленный, удрученный вид. Ничего у них ханша выпытать не смогла, наоборот, казалось, они сами ждали от нее какие-то объяснения. Ханша изо всех сил старалась не подавать виду. Однако служанки, без слов понимавшие каждый порыв и каприз своей госпожи, конечно же, обо всем догадывались. Притихла свита, улыбалась через силу, ходила на цыпочках.

С того дня, как Повелитель поселился в ее дворце, ханша уже не выходила на прогулку; целыми днями томясь в опочивальне, все думала, думала до головной боли, до умопомрачения, а потом часами смотрела в окно. Казалось, она без слов жаловалась минарету на свою судьбу, на продолжающееся одиночество, на то, что великий Повелитель охладел к ней после похода, еще ни разу не удостоил ее своим посещением. Но минарет самодовольно сиял в лучах солнца, играл разноцветными бликами и взирал на ханшу восторженно-радостно. Куда только исчез его недавний жалостливый, умоляющий взор? Он выражал теперь уверенность, удовлетворенность, будто упивался желанной удачей. Ханша содрогнулась: сколько холодной надменности и равнодушия к ее душевным мукам, к ее нескончаемым страданиям было в этом величественно-прекрасном минарете, который по вершку, по кирпичику рос столько лет на ее глазах. Казалось, он мстил ей за что-то, откровенно злорадствовал. То-то же, голубушка, вроде говорил он, помнишь, с каким высокомерием глядела когда-то на меня, как задирала нос, как упорно не внимала моим мольбам?.. Сколько лет я вымаливал твое внимание!.. Как долго мучила меня своей безразличностью!.. Ханша представила себе молодого зодчего. Она еще раз внимательно рассмотре-

ла его тогда на пиру, когда он принимал щедрый ханский дар. Навсегда запечатлелся в памяти его облик: гладкий широкий лоб, прямой, правильной формы нос, чистое смуглое лицо, необыкновенно большие печальные глаза, сосредоточенный, загадочный взгляд. Чем он живет теперь, вдохновенный юноша? Не может быть, чтобы он ошалел от радости, получив полный поднос золотых динаров. Он, кажется, не из тех, кто гонится за житейским благом. Не крохобор. Наверное, и он еще не охладел к своему творению. И его сердце, должно быть, сладко сжимается, когда он смотрит на минарет или вспоминает тот памятный для обоих день...

Стоит юной ханше вспомнить о том забавном и трогательном случае, как ей сразу становится легко и светло, словно весенним половодьем омыли ее душу, и в невольной доброй улыбке растягиваются ее губы. Смешно: до чего же чист и неопытен пылкий юноша! Думая о том невинном розыгрыше, о поступке ошалевшего от неожиданного счастья молодого зодчего, она испытывала одновременно и жалость и сочувствие, и неведомую нежность к нему. Он ненасытно ласкал ее, обнимал, шептал жаркие слова: «Не уходи... не отпущу... останься... навсегда... навсегда...» Смотри чего ему захотелось! Видно, не прочь всю жизнь тискать в своих объятиях младшую жену великого Повелителя...

Рассказывая потом подробно ханше об этом, молодая смазливая служанка звонко хохотала, и вместе с нею смеялась и ханша, но тут же, опомнясь, резко обрывала свой смех. Нет, вовсе не потому, что ей было неловко перед своей служанкой. А скорее потому, что, слушая предназначенные ей сокровенные слова влюбленного юноши из уст разбитной, довольной служанки, ханша почувствовала на миг, как ледяной холод больно кольнул ее сердце. Стараясь скрыть эту неожиданную для самой себя пронзительную боль, она придирчиво и ревниво расспрашивала служанку обо всем, что происходило между ними там, на вершине минарета, и тщетно силилась при этом сохранить легкую усмешку на губах. И чем больше подробностей выведывала она у служанки, тем ощутимей становилась боль в груди. Каждый поступок, каждое слово, каждый жест страстного юноши живо отзывались в ее сердце.

Так же пристально и с тайной завистью разглядывала она чуть-чуть смущенную юную служанку, ревниво отме-

чая про себя здоровую алость ее тугих щек, черный озорной блеск больших глаз, сочность полных, пылающих губ, стройность легкой, осанистой фигурки. Ханша даже заметила на ее лице следы особой, необычной радости — не такой легкомысленной, бездумной, как у других служанок. Это была та самая таинственная радость, которую она сама, будучи ханшей, не постигла, не изведала. Это ликование души и плоти, упоение радостью, торжество, которыми наполняется все существо женщин в редкий миг счастья и любви. Этим блаженством скряга-судьба одаривает женщину лишь однажды за всю ее жизнь, а чаще всего и вовсе не одаривает. Редкой счастливице удается познать эту высшую радость. Суждена ли ей, ханше, такая доля? Ведь, говорят, счастье мимолетно. Упустишь из рук желанный миг — и будешь казнить себя всю жизнь... А она предназначенную ей любовь по собственной воле уступила другой. В тот день, когда она чутким женским сердцем ясно осознала вдруг сокровенное желание молодого зодчего, ханша долго и откровенно советовалась со старой служанкой. Тогда-то они и договорились прибегнуть к невинному розыгрышу. Старая служанка выбрала из свиты ханши самую смазливую, юную и хрупкую девушку. Ее нарядили, как ханшу, и отправили на вершину минарета на свидание с молодым зодчим, потерявшим от любви голову. И вот теперь сидит она, юная служанка, перед ней, сияющая, веселая, довольная, еще не остывшая от тех жарких объятий, еще взволнованная нежными и страстными словами, которые вовсе не ей предназначались, но колдовскую силу которых она изведала сполна.

Ханша старалась подавить в себе непрошеную досаду и боль, взять себя в руки, ибо она вспомнила чьи-то слова, что женская ревность и зависть — всего лишь признак собственной слабости. Ей не хотелось быть слабой. Ей, ханше, не пристало быть мелочной. Она не желала вспоминать о том, что случилось, хотела скорее и навсегда забыть тайну, известную лишь ей, старой служанке и смазливой девице из ее свиты. И когда на следующий день она увидела, с какой поспешностью молодой зодчий заделывал зияющий зазор на вершине минарета, ханша почувствовала желанное облегчение, и вчерашняя досада уступила место удовлетворенности и душевному покою. А потом вернулся из похода великий Повелитель, увидел и похвалил минарет, и, узнав об этом, ханша сразу забыла все свои недав-

ние тревоги, тоску и отчаяние. И вот теперь неожиданно они вновь захлестнули ее. И все, конечно, потому, что пусто на душе, потому, что властелин забыл дорогу в ее опочивальню. А подавленная душа все равно что голодный бездомный щенок, обнюхивающий каждую помойку и поневоле натыкающийся на всякую дрянь. А она, высокородная ханша, любимая жена великого Повелителя, не какая-нибудь долгополая занюханная бабенка, ищущая низменные утехи на стороне.

Но напрасно подстегивала она свою гордость. Горькая усмешка искривила ее губы, когда она вспомнила, что судьбой ей уготовано возлежать на ханском ложе в объятиях всемогущего Повелителя. Как бы не так! Не больно жалует ее властелин своей любовью. Не больно щедро одарил ее лаской. Это только считается, что она проводит счастливые ночи в неутомимых объятиях коронованного владыки. Все это жалкое утешение, самообман, ложь. Сколько бессонных ночей ворочается она в постылой постели? Догадывается ли о ее муках хоть одна живая душа? Какой смысл в подобном прозябании? Неужели так ничтожна плата за долгие годы тоски? За верность и преданность? За то, что она, подобно крохоборствующей старшей жене, не дрожала над своими драгоценностями, не умножала ненужное ей добро, а щедро все потратила на строительство голубого минарета?.. Напрасные надежды... обман... ложь. Пустая затея, рожденная страхом перед одиночеством. Все живое на этом свете, даже самые ничтожные, низменные твари, живут парами. И только ей одной не дана супружеская жизнь. И все это время она только и занята тем, что сама себя утешает, сама себя уговаривает и обманывает. Самую обычную жалость богом данного супруга она приняла за любовь. Самый заурядный подарок посчитала знаком особой признательности и душевного влечения. А что такое шкатулка драгоценностей для Повелителя, покорившего половину вселенной?! Так себе, мелочь, крохи, которые он в добром расположении духа может, не задумываясь, швырнуть первому встречному нищему. Если бы Повелитель действительно любил ее или хотя бы испытывал к ней неукротимую мужскую страсть, разве мог бы он, находясь с ней столько ночей рядом, под одной крышей, в одном дворце, ни разу не заглянуть в ее опочивальню?

Вспоминая теперь те сладостные, счастливые картины,

которые она в душе связывала с возвращением Повелителя, так обстоятельно и любовно вынашивала в своем воображении, ханша испытывала стыд и досаду и упрекала себя за наивность и легкомыслие. Было невыносимо жалко расставаться с той красивой мечтой. Лучше бы не наступило отрезвление. Лучше бы вновь вернулись те бесконечные дни и ночи смутных ожиданий и зыбких грез. Тогда рядом с пустоглазой тоской неизменно теплилась хоть какая-то надежда, вера в недалекое счастье, сполна вознаграждающее ее за все муки. Эта вера, эти наивные мечты утешали ее даже в отчаянии.

Где они теперь, те дивные грезы? А с какой стати она внушила себе, что так безумно любит Повелителя? Может, и ее любовь — пустая выдумка? Разве может женщина, не познавшая подлинной любви другого, почувствовать в себе силу неодолимой страсти? Вряд ли... Ведь это слепое пьянящее чувство должен кто-то в ней возбудить. Не может же она воспламениться сама по себе. И великий Повелитель, кажется, не успел заронить в ее сердце искорку неуемной страсти. Тогда каким образом она вообразила невиданную любовь между ними? Может, это и не любовь вовсе, а выдуманное подобие любви, лишь смутное желание, навеянное истомленной измученной душой? Или обманчивое чувство, похожее на неосуществимую, немыслимую надежду молодого зодчего?

Ханша испугалась. А что, если ее догадка — истина? И разве не кощунство так думать? Не сомневается ли она в самой божественной силе, во всемогуществе всевышнего? Ханша трижды помянула создателя, поспешно прошептала спасительные молитвенные слова. Однако подозрение, возникшее так неожиданно, не оставляло ее.

В этот день она почувствовала себя еще более разбитой и подавленной. Словно тень, слонялась из угла в угол просторной опочивальни. Ноги подкашивались, тело ныло, она будто подламывалась под непостижимой, неимоверной тяжестью. Еле дождалась вечера. И то ли сказались долгие бессонные ночи, то ли вконец измытарили ее горестные думы, но едва она коснулась головой подушки, как ленивое, сонное безразличие мягко окутало ее. Приятная усталость медленно проникала во все поры. Это было странное, неиспытанное состояние между сном и явью. Разморенная сладостным предчувствием, она покорно и радостно отдалась истоме. Казалось, невидимые лучи наслаждения с

небесной вышины пробивались в ее огромную, одинокую опочивальню, грели и ласкали ее изнуренную плоть, пробирались до костей и растапливали ледяной наст в душе, рассеивали, растворяли тоску, печаль, боль, гнев, горестные думы, отчаяние и досаду, накопившиеся за все эти гнетущие годы, нежно нашептывали, приговаривали: «Успокойся, милая, отдохни, ни о чем не думай, не расстраивайся, не изводи себя напрасно», гладили ее чудодейственной мягкой ладонью, избавляя от непосильных мук и терзаний. Глаза ее сомкнулись; плотная белая пелена зыбилась вокруг, сознание погрузилось в дрему, и ханша сама уже не понимала, спит она или бодрствует...

И все же какая-то частица сознания стерегла вечернюю тишь, зорко вглядывалась в дрожащий веселый луч. Сердце, уставшее от волнений, понемногу успокаивалось; тяжелый, все усмиряющий сон, неумолимо подкрадываясь, все увереннее заключал ее в свои теплые объятия. Разнежившись, ханша безмятежно раскинулась в постели, но крохотный очаг сознания не дремал, продолжал бодрствовать, осторожно оберегая ханшу от любопытствующего взора...

И вот в несуразно огромную опочивальню, бесшумно открыв отделанную золотом грузную дверь, вошел кто-то, крадучись на цыпочках. Даже не вошел, а словно вплыл, растворяясь в сумраке, и нерешительно застыл у порога. Неожиданный ночной гость испугал ханшу, она пыталась вскочить, вскрикнуть, но что-то сковывало ее, как бы пригвоздило к постели, не позволяло шелохнуться. Даже руки были ей неподвластны, точно связанные. Она силилась разглядеть того, кто, словно призрак, неподвижно стоял возле двери, вглядывалась до боли в глазах, но белесая, дрожащая мгла, словно плотной кисеей, скрывала черты его лица. Она видела лишь смутные очертания его фигуры, точно под толщей колыхающейся воды. Вот он, таинственный пришелец, шелохнулся, медленно, неслышно направился к ней, но по-прежнему не различить его лица, он точно плывет, то приближаясь, то удаляясь в серовато-мутном потоке... Ближе... ближе... почти уже рядом. Но кто он... кто? Ханше он чудится знакомым. Да, да... где-то она его видела. И эти глаза, большие, круглые, с загадочным блеском в глубине зрачков. Взгляд, по-юношески открытый и смелый, отуманен неведомой печалью. Он будто жалуется ей, о чем-то умоляет, и невыразимо больно

смотреть в эти кроткие, преданные глаза. Она их знает, она их видела часто, может, даже каждый день. Но чьи они? Отчего ей так грустно и одновременно тепло от них? Отчего печаль в его глазах так созвучна, так понятна ее горю? Почему ее душа так нежно, так чутко отзывается на безмолвную ее мольбу?.. О, всемогущий, всеблагий!.. Почему она не может очнуться? Где и когда она видела эти колдовские глаза? Нет... ей только померещилось. Никто никогда нигде не заглядывал так проникновенно в ее душу. И все же откуда она их знает?.. Кто он, этот искуситель? Почему она не может вспомнить его? Ведь он и раньше смущал ее покой, приводил в смятение, в отчаяние...

Тянущая истома, блаженная нега вдруг вновь уступили место лихорадочной тревоге. Ну, наконец-то, вспомнила... все вспомнила. Да, да... только у молодого зодчего она видела такие печальные глаза. Такую же грусть и безмолвную мольбу выражал еще недавно и построенный им минарет. Теперь она узнала не только покорно-кроткий взгляд, но и смуглое, овальное лицо, прямой, резко очерченный нос, полные, пухлые губы. Конечно же, это был он, юноша-зодчий, творец голубого минарета. Но... как он проник в ханский дворец, в который не залетит незамеченной даже муха?.. Как пропустили его многочисленные охранники и слуги?.. Она считала, что он навсегда охладел к ней после того случая. Выходит, не угасла в нем страсть. Выходит, напрасно она затеяла невинный розыгрыш с юной служанкой. И вот он сам пришел к ней в опочивальню. Что будет, если застанет его здесь старая служанка? Безумец, он же не только сам подставляет голову под секиру палача, но позорит еще и ее честное имя.

Ханша порывалась накричать на зарвавшегося наглеца, наказать его за назойливые приставания, позвать слуг, но у нее не было голоса, будто кляпом заткнули рот. Однако молодой зодчий, должно быть, догадался о ее гневе: подойдя почти вплотную к постели, он вдруг отпрянул, отшатнулся, заспешил к выходу. Большие печальные глаза округлились, как у испуганного ребенка. Сердце ее зашлось от жалости. Она подала знак: « Не уходи... постой... Иди ко мне...»

Нежданный ночной гость растерянно застыл у двери, не зная, какому капризу ханши повиноваться. Она протянула к нему обе руки, позвала настойчивей, и он, еще не веря, робко шагнул навстречу. Теперь ее охватило жгучее

нетерпение. Ну, скорей же, смелей... В глазах его мелькнули испуг, надежда и желание. Все еще робея, он неслышно добрался до постели, осторожно коснулся ее пальцем. Они окинули друг друга быстрым смущенным взглядом. В это же мгновение ханша почувствовала страх. Если она сейчас упустит этот миг, то навсегда лишится нерешительного, чистого юноши с покорными, печальными глазами. Преодолевая стыд и робость, она вся подалась, потянулась к нему, обвила его руками и откинулась назад, задыхаясь, обессиливая от судорожных, нетерпеливых объятий. В воспаленном сознании мелькнула вдруг догадка: все эти годы, изнуряя свою душу и плоть, она, оказывается, желала, ждала только его, его одного, его неумелую ласку и тихую преданную любовь. И вот то, по чему она томилась долгими бесплодными ночами, нежданно сбылось, и теперь она уже никогда, никогда, никогда не выпустит его из своих объятий, никакая черная, злая сила не разлучит их, не отнимет его, желанного, любимого, единственного. Она изо всех сил, как в безумии, прижимала его к себе, словно хотела слиться с ним, раствориться в нем, и он, все более распаляясь, чутко и благодарно откликнулся на ее немой зов.

Тела их сплелись, сплелись в ненасытной жажде и ярости, и, сливаясь в единую плоть, в единую душу, покорно отдались могучему потоку страсти, уносившему их от всех тревог и волнений обыденной жизни... Ханша не сопротивлялась, она радовалась этому неведомому, необузданному желанию, от которого мутился рассудок и сладкая нега огненной волной растекалась по жилам. Она чувствовала, как наливалось тугой силой упругое, гибкое тело юноши, как все больней стискивали ее крепкие молодые руки, как сильно, толчками колотилось его сердце. Она, как могла, подбадривала его, радовалась его истовости, пылкости и твердила, как заведенная: боже, не дай иссякнуть этому огню, этому буйству, пусть это блаженство, этот сладкий миг продлится долго, долго, долго... до конца отпущенных судьбой ей дней... навсегда... И уже чудилось ей, что дошла до всевышнего горячая ее мольба, что не будет конца этому безумству, великому торжеству плоти, как вдруг ощутила она странную слабость, разбитость во всем теле и разжались как-то сразу огненные тиски...

Долго лежала ханша вконец опустошенная, измученная, будто после тяжкого приступа. Только что огнем пы-

лавшую грудь обжег ледяной холод. Она медленно открыла глаза. Мягкий, робкий свет зыбился в опочивальне. Она протерла глаза, повела вокруг взглядом — ни единой живой души. Странно. Тускло мерцала вдали тяжелая, золотом обитая дверь...

Чувствуя, как в ней вскипает беспокойство, ханша посмотрела в сторону окна, потом взгляд ее скользнул по хаузу в середине, по сумрачным углам. Ни намека на то, что кто-то был здесь ночью. Только теперь ханша обратила внимание на измятое, скрученное пуховое одеяло, на истерзанную постель. Не веря своим глазам, она оглядела себя, задумалась на миг и вдруг с брезгливостью и ненавистью отшвырнула ногой скомканное одеяло, словно то был уж, подползавший к ней.

Вновь охватила ее ярость, холодным обручем скрутила, и злые слезы покатились из глаз. Уже через мгновение от слез грудь стала мокрой. Она не вытирала, не сдерживала их. Казалось, горячие слезы, стекая на грудь, растапливали в ней коросту тоски и муки и приносили желанное облегчение.

Ханша плакала долго, исступленно, вздрагивая худенькими плечиками. Потом, выплакавшись, враз обессилела, затихла. Голова раскалывалась, больно жгло в груди. Казалось, слезы, приносившие обманчивое облегчение, отравой проникали в сердце.

Так до утра и не сомкнула глаз. В тот день она словно прозрела, поняв причину загадочной тоски, неотступно преследовавшей ее столько времени. Лишь в этот день, после полудня, впервые и как-то неожиданно мужественно созналась она в своем несчастье и окончательно смирилась с тем, что счастье покинуло ее, покинуло, может, навсегда, а скорее, оно и не посещало ее вовсе и суждено ей до конца жизни прозябать в тоске и скорби.

Утром, как всегда, распахнулась грузная дверь, и вслед за старой служанкой ввалилась в опочивальню попрежнему беззаботная, радостная свита. Девушки шумно подбежали к постели, окружили ханшу. Она с недоумением и досадой отметила про себя их бездумную оживленность, незыблемое довольство жизнью и собой, а девушки, ни о чем не догадываясь, растерянно выставили на нее подкрашенные глазки, разглядывали ее, осунувшуюся, побледневшую, погасшую за одну ночь; глаза ввалились, в глубине зрачков застыли тоска и смирение,

покорность перед своей сирой участью. Старая служанка подала знак, чтобы все немедля вышли, и прижала к груди изнуренную маленькую госпожу, как ребенка, и погладила ее по волосам.

— Что с тобой, милая?! — зашептала старуха.— На тебе лица нет. Неужто великий Повелитель невзначай обидел? Какой-то хмурый, странный вышел он от тебя ночью... Что же могло случиться?..

У ханши округлились глаза. Что тут мелет старуха?

— Что-о?... Великий Повелитель? Он... разве был здесь?

— Ну, да... Ночью... Только уж больно скоро он вышел...

Ханша, как подкошенная, рухнула в постель. Старая служанка испугалась, склонилась над помертвевшей ханшей, смекнула, что та в беспамятстве...

Лишь к обеду ханша пришла в себя. У старухи, сидевшей у ее изголовья, она ни о чем не спросила. Старуха тоже не осмелилась допытывать госпожу. Только время от времени бросала на нее встревоженный и виноватый взгляд.

Да-а... за всю свою жизнь ханша лишь однажды согрешила перед мужем — великим Повелителем. И случилось это не наяву, а лишь во сне. Но даже это ее единственное прегрешение было мгновенно замечено зоркоглазым властелином. Потому он и не задержался ночью в опочивальне, ибо собственными глазами видел, как предавалась она во сне низменному блуду. Потому и вышел он гневным из опочивальни, ибо понял, что в воображаемых объятиях другого мужчины бьется в сладостных судорогах юная его жена...

Глухое, неутешное горе, как тяжкая, неподвижная духота в знойный полдень, затмило сознание ханши. Она не обронила ни единого словечка, даже подавляла легкий вздох, не желая, чтобы кто-то догадался о ее боли и смятении. Жизнь отныне протекала как в тяжелом сне. Все вокруг лишилось смысла и притягательности. Ханша в душе смирилась со своей виной, осознала свой страшный грех и была готова к любому наказанию. Перед великим Повелителем виновата она одна. Молодого зодчего никто ни в чем не может упрекнуть. Он безрассудно любил ее, но не прикоснулся к ней даже пальцем. Даже во сне она отдалась ему сама, по собственной воле, в порыве слепого, неподвластного чувства. Кто знает, как бы она повела

себя, случись это наяву... Но теперь она хоть поняла, какое желание изводило ее так долго и как называется та дикая страсть, затмевающая рассудок. Поняла: то, что она считала возвышенной, чистой любовью к великому Повелителю, было на самом деле низменным томлением бабьей плоти, жаждущей крепких и грубых мужских объятий. И если бы молодой зодчий каким-то образом сумел проникнуть в ханский дворец и пробиться через все преграды в ее опочивальню, она — очень может быть — поступила бы так же. Вряд ли даже наяву нашла бы она в себе силы противостоять жадному зову плоти, устоять перед горячей мольбой пылкого юноши и обуздать неодолимое желание, от которого кровь вскипает в жилах. Что бы там ни говорили, а исконную бабью суть не скроешь никакими пышными ханскими одеяниями. Искушение, ввергающее во сне душу в грех, непременно скажется и проявит себя и наяву. И потому ханша не отрицает свою преступную вину в супружеской неверности, в измене, в бесчестии и покорно примет любое наказание, самую страшную кару за бабью слабость, за все содеянное ею.

Если бы сейчас великий Повелитель вошел к ней и отодрал бы за волосы, как последнюю девку, избил, истоптал, как поганую тварь, исполосовал ее шкуру и переломал все кости и швырнул бы ее грешное тело на съедение шакалам, она не противилась бы, а покорилась судьбе и даже осталась бы довольной; может быть, такая позорная смерть была бы лучше ее теперешнего прозябания.

Долгими-долгими днями, томясь от одиночества и скуки, и нескончаемыми безрадостными ночами, предаваясь изнуряющим думам, она не раз с жутким наслаждением размышляла о том, как погасить тот крохотный живой лучик, упорно мерцающий где-то в укромной глубине ее давно остывшего, безжизненного тела. Она находила много способов разом покончить со всеми муками, и, казалось, обладала достаточным мужеством и решимостью для осуществления любого из них, но почему-то так и не осмеливалась переступить заветную межу. Нет, нет, в душе она сознавала, что это не от страха и не от того, что слишком дорожила лживой жизнью на этом свете. Низменное прозябание, именуемое жизнью, ей так же омерзительно, как и ее грешная, жадная плоть. Она окончательно смирилась с тем, что ее недавний чувственный сон был последней вспышкой так и не разгоревшейся страсти, последний по-

рыв, последнее стремление души и плоти к счастью, к жизни. Сейчас, вспоминая подробности того сна, она уже не испытывала ни стыда, ни досады, но прекрасно сознавала, что мечтать о том мгновении так же бессмысленно и кощунственно, как бессмысленна и кощунственна сама жизнь без душевного огня, без желания. Значит, цена ее дальнейшей жизни — ржавая монетка. Сейчас она с покорностью и даже с радостью восприняла бы любое наказание, к которому приговорил бы ее великий Повелитель. А сама она не смеет покушаться на свою жизнь, как бы ни была она бессмысленной. Ханша, конечно, не может точно знать, как истолковали бы ее роковой шаг люди, но хорошо чувствует, как опозорила бы она своим поступком честное имя Повелителя. А самовольной смертью своей она не омрачит славную жизнь богом данного супруга.

В один из этих невыносимо тягостных дней ханша позвала старую служанку и в сопровождении свиты отправилась на прогулку. И встречные слуги, и привратники, и караульные воины по-прежнему учтиво кланялись ей. Но чудилось ханше, что не проявляют они былого подобострастия, что взирают на нее незаметно с жалостью и состраданием. Впрочем, и она старалась не задерживать ни на ком взгляда. Однако, отворачиваясь, чувствовала, как горит затылок, словно кто-то вслед ей показывал язык. И веселье, обычная оживленность девушек из свиты казались ей наигранными.

Ханша сейчас избегала тех мест в придворцовом саду, где еще недавно, в отсутствии Повелителя, бывало, так беззаботно резвилась со свитой. Теперь ее невольно притягивали укромные уголки и заглохшие тропы, где не преследовали любопытные взоры. Но и там ей становилось не по себе. Казалось, сам воздух, точно всевидящий глаз соглядатая, впивался в нее иголками. И ханша поспешно возвращалась во дворец.

Как смоляная нить, тянутся бесконечно-унылые дни. Еще томительней и тревожней нескончаемые ночи. Ночь — пытка, когда ханша сама себе становится одновременно и ангелом добра, и ангелом зла, подвергает себя мучительному допросу, выносит себе беспощадный приговор. Ночью поневоле размышляешь о том, о чем при божьем свете и вспоминать опасаешься. Сейчас ханша презирала и не выносила не только себя, но и того влюбленного юношу, который всему белому свету выказал свою сокровен-

ную тайну, и голубой минарет, построенный руками этого безумца, и тот памятный день, когда Повелитель прислал ей шкатулку с драгоценностями и у нее впервые возникла мысль о постройке невиданного минарета, и девиц из свиты, и преданную старую служанку, так горячо поддержавших ее намерение, и старшую ханшу, чванливость и ревность которой оказались первопричиной всех ее несчастий. Велика была ее обида даже к отцу-матери, произведшим ее на свет, ввергнувшим ее в этот проклятый мир.

И потому... потому будь проклята черная ночь, безмолвным призраком заглядывающая в окно! Да будет проклят холодный мраморный хауз с его болтливо-монотонным фонтанчиком-искусителем! И постылая постель, травящая и без того измученную плоть, и пухово-душное одеяло, подстрекательски выведавшее в ту ночь ее глубоко захороненную женскую тайну,— будьте прокляты!.. И вам, небесам, равнодушно взирающим на весь земной ад,— проклятие! И тебе, многотерпеливой страдалице земле, покорно сносящей все беды и горести,— проклятие! И да будет проклят весь этот непостижимо-огромный и презрительно-холодный мир, в котором бесследно гаснут лучшие человеческие порывы и возвышенно-светлые мечты.

Охваченная отчаянием и мгновенной, как вспышка, яростью, ханша неистово проклинала весь белый свет и, не боясь самой страшной кары, помянула недобрым словом самого всевышнего, сотворившего эту юдоль печали, и даже в таком безумии только одного-единственного человека не коснулись ее проклятия — великого Повелителя. Ханша сама удивилась этому. И она не могла объяснить себе причины. Разве не он, великий Повелитель, превратил ее жизнь в ад? Вот уж сколько времени мытарствует ее душа в одинокой опочивальне! Разве он не догадывается о ее беспросветной тоске? Разве ему неведомо, как каждый день она казнит себя? И если он сам убедился в ее греховности, то чего он медлит? Или он понимает, что мучительно медленная смерть от постоянных душевных терзаний, от собственной боли, ярости, досады, гнева и отчаяния — более суровая кара, нежели секира палача? Может, он решил насладиться именно такой изощренной местью?

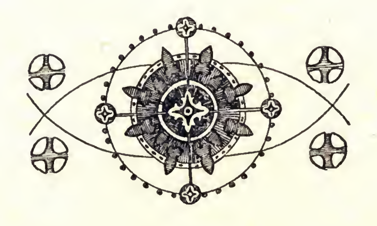
Только в чем она, услада? Разве от ее мук ему станет легче? Разве мутная людская молва и пересуды не доставляют ему такую же боль, как и ей? Но если ее муки при-

носят ему утешение, то пусть ее мучает и впредь, сколько душе угодно. Пусть услышит, пусть узнает то, чего никогда не было и не могло быть... Пусть пеняет на себя. Так ему и надо. Ведь это он загубил, растоптал ее молодую жизнь, обрек на непосильные муки... Ну, и пусть знает. Пусть сам и расплачивается...

Ханша спохватилась, испугалась этой кощунственной мысли. Боже милостивый, что она мелет?! Прости низкородную бабу, прости ее подлый, злой язык, осквернивший ее невинную душу!.. Как она могла забыть, что ей, благородной супруге великого Повелителя, недостойно, подобно долгополой бабе-служанке, опускаться до мелких склок и грязной мести?!

И, испытывая к себе все большее омерзение и даже гадливость, она поспешно прошептала затвердившиеся в памяти беспомощные слова молитвы и умоляла всевышнего сурово наказать ее за все прегрешения, но простить ее только за то, что она, поддавшись слабости и отчаянию, вдруг позволила себе кощунственные мысли о великом Повелителе. И, понемногу обретая душевный покой после недавнего смятения и ярости, вкладывая все остатные душевные силы в жаркие покаянные слова, она со всей искренностью, на которую было способно ее истерзанное сердце, просила всевышнего — пока чистую душу ее не осквернили подлые и низменные думы — призвать ее скорее к Страшному суду, к тому очистительному святилищу, где она сгорит в огне собственных грехов.

И горячая эта мольба, проникая, просачиваясь в самую душу, казалось, растапливала ледяной наст сомнений и скорби, и крупные, прозрачные слезы вновь хлынули из ее глаз.





Часть четвертая

КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

I

На берегу могучей реки он вышел из крытой повозки и пересел на верховую лошадь. И когда повозки начали грузить на паром, он в сопровождении свиты направился к броду. Верхушка лета с нещадным зноем была позади. В эту пору могучая река смиряет свой буйный нрав, не бурлит, не бушует, как в весеннее половодье, размывая глинистые берега, а течет спокойно и величаво. Обычно бурая, мутная вода ее к этому времени заметно светлеет, обретая местами синеватую прозрачность.

Брод оказался на неглубоком месте, там, где крутой, обрывистый берег вдруг становился пологим, а река, разлившись вширь, образовала множество узких протоков, похожих на косички юной красотки. Раньше через этот брод переправлялись бесчисленные торговые караваны с востока на запад и с запада на восток, но такого огромного войска древняя река и такой же древний брод еще не видывали. И, возможно, потому в удивлении и испуге сбились в кучу на том крутояре груженые караваны, арбы с дынями, арбузами и фруктами, а также разноликий черный люд из прибрежных кишлаков — конные и пешие, на ишаках и кривоногих верблюдах,— спешащий, должно быть, на базар.

Толпа, с опаской озираясь на грозных воинов из головной части, прокладывающей дорогу несметному войску,

жадно пялила глаза на великого Повелителя, восседавшего на ослепительно белом, со смоляной челкой жеребце, в плотном кольце копьеносцев-телохранителей.

Великий Повелитель, казалось, не замечал любопытных взоров; откинув голову и вглядываясь в далекое марево, он сидел в седле прямой, неприступный и непроницаемый. Серебряная лука седла и стальные стремена, поблескивая в лучах солнца, как бы подчеркивали суровое выражение его лица.

Могучая река Джейхун, берущая свое начало от снежных вершин гор, катила крутогрудые волны. Здесь, у брода, волны, казалось, давали себе передышку, замедляли бег и тихо улыбались, резвясь на солнышке, но когда кони вошли в воду, улыбка эта мгновенно исчезла, как бы растворяясь в поднимавшейся из-под копыт мути.

Повелитель сохранял невозмутимый вид, словно ничего вокруг не замечал. Он слегка отпустил поводья, и конь боязливо переступал ногами, поеживался от ледяной горной воды, обжигавшей щиколотки. Конь благополучно одолел все бесчисленные узкие протоки, но когда остался последний широкий ручей на дне лощины, неожиданно споткнулся. Великий Повелитель, расслабившийся в седле, вдруг резко покачнулся, взмахнул рукой, в которой зажал рукоять камчи, и тут же почувствовал, как что-то соскользнуло с указательного пальца. Сердце Повелителя дрогнуло. Он поспешно покосился на руку и не увидел большого серебряного перстня, украшенного редким камнем, напоминающим кошачьи глаза, который встречается лишь в стране зулуссов. Много лет тому назад этот перстень подарил ему старший тесть, находясь на смертном одре и назначая зятя вместо себя Верховным эмиром.

Он долго смотрел на бледный след, оставшийся от драгоценного перстня на указательном пальце. Двое телохранителей, заподозрив неладное, услужливо кинулись к Повелителю с двух сторон. Он полоснул по ним гневным взглядом и выпрямился в седле как ни в чем не бывало. Руки привычно натянули повод. Лицо обрело прежнее непроницаемое выражение. Телохранители поспешно отвели глаза и приотстали на положенное расстояние.

Повелителю, однако, стало как-то не по себе. Он был в недоумении: не знамение ли судьбы это? С серебряным перстнем, украшенным редким камнем, он никогда не расставался — ни в изгнании, ни в далеких походах. Он слу-

жил ему священным талисманом. И то, что он сегодня вдруг так неожиданно спал с пальца, было явно не к добру. Особенно в самом начале нового похода это можно расценить только как дурной знак.

Раздражение и мнительность вновь проснулись в нем. Он злился сейчас на караульных воинов, посланных заранее вперед, пока еще войско находилось в городе. Как могли они так оплошать? Собрали эту чернь, эту бесчисленную толпу у самого брода, как на зрелище. На этот раз он выступил в поход совсем не так, как прежде. Ему не нравилось в день выступления быть на виду праздной толпы. А сегодня, как назло, по обе стороны противоположного берега толпился черный сброд, и караульные части не смогли (а может, не хотели?) вовремя разогнать его, то ли по причине поспешного выступления, то ли потому, что брод находился как раз под стольным градом на пересечении девяти дорог, где бывает многолюдно в любое время года. Ранее, бывало, он особенно заботился о том, чтобы по пути прохождения войска и — в первую голову — там, где проезжал он сам со своей свитой, не попадался на глаза ни один случайный даже путник. И это не было просто капризом. Ведь, что ни говори, а далеко не каждый рвется в кровавый бой и жаждет ни за что, ни про что сложить свою голову на чужой стороне. И нетрудно догадаться, что творится на душе того, кто не по доброй воле своей отправляется в далекий поход, и дабы черные мысли не подкрадывались в его опечаленную голову, лучше ему держаться подальше от мирной толпы. И потому, когда кернаи своим призывным оглушительным ревом оглашали столичный город и дробь барабанов проникала во все закоулки, жители, не выходя из дворов, в окна, щели, через заборы наблюдали, как многотысячное ханское войско выступает в поход. И стражники заблаговременно прогоняли всех, кто попадался на протяжении двухдневного пути. Так бывало всегда. Так не вышло на этот раз. Подобная мелочная забота ему и в голову не приходила. И вот, чем это обернулось. Выходит, ни в чем нельзя оплошать и никому нельзя давать спуску. Стоит лишь на мгновение закрыть глаза или смолчать, как мигом все трещит по швам, и каждый норовит выйти из повиновения. Повелитель был зол сейчас на тысячника, предводителя головной караульной части, однако сдерживал себя, крепче стискивал зубы. Ничего, попадись ему только на глаза и покаешь-

ся, ох, как покаешься, голубчик, за непростительную оплошность...

Повелитель искоса поглядывал по обеим сторонам. Белый жеребец выбрался на сушу. Справа и слева стройным рядом застыли стражники, воздев к небу копья. Сквозь тесные ряды копьев, как сквозь решетки, колыхалась черная толпа. От арбузов и дынь, наваленных горой на арбы, от мешков, туго набитых изюмом и сушеным урюком, от корзин и ящиков с виноградом и ягодами струился в воздухе дурманяще-сладкий аромат. И этот запах, такой мирный, земной, приятно щекотавший ноздри и напоминавший тепло родного очага, как бы обессмысливал грозный, ощетинившийся вид огромного ханского войска. Запах земных даров навевал щемящую грусть, говорил о добре, о человечности, о разлуке — и разлуке, может быть, навсегда, навсегда...

Повелитель, все так же надменно закинув голову, чутко вслушивался в каждое слово, в глухой ропот, доносившиеся по краям. Вначале он ничего не мог различить сквозь частокол копьев, но потом черная, безликая толпа за стражниками словно поредела, пешие, конные и арбы-двуколки куда-то исчезли, и он явственно увидел ряд длинношеих дромадеров, опустившихся на колени. Купцы-чужестранцы в пестром, диковинном одеянии благочестиво склонили перед ним головы. Как скошенный камыш, прижимались к пыльной обочине полосатые круглые шапки, поярковые папахи, плотно облегающие тюбетеи, мохнатые ушанки, белоснежные чалмы, и все это напомнило Повелителю пышный пестрый луг, по которому только что прошлась коса. Взгляд его привычно скользил по склоненным головам и спинам и вдруг споткнулся о что-то, одиноко торчащее на арбе, запряженной ишаками. Повелитель поневоле вкогтился взглядом в этого дерзкого смельчака, продолжавшего стоять во весь рост, когда все кругом пали перед ним ниц в прах. Он был сух и жилист, и стоял на низенькой двуколке в какой-то напряженно-скованной позе. Кожа точно приросла к костям, голова сильно откинута назад, длинные, костлявые руки сложены на груди, лицо обращено к небу. Между покатым, открытым лбом и широкими, обострившимися скулами зияли черные провалы. Ах, вон оно что... Этот высокий, тощий человек, застывший на двуколке камнем-стояком, оказался слепцом. И Повелитель тут же узнал его. Узнал по скулам и бугристым

вискам. Да-а... горе не пощадило его. Иссушило юное, сильное тело. На тонкой шее выпирал большой хрящеватый кадык.

Тогда, при той первой и последней встрече, он был по-юношески нежен и красив. На костлявых теперь руках играли тогда упругие мышцы. И тогда, помнится, он сразу же обратил внимание на этот чистый лоб.

II

Он вошел чуть смущенно и низко поклонился. Как у каждого, кто появлялся перед великим Повелителем, на его лице тоже отразилось волнение. Однако в нем не чувствовалось ни самодовольства или особой гордости за совершенное, ни — тем более — холопской угодливости или подчеркнутого подобострастия. Со сдержанным достоинством и милым юношеским обаянием он отвесил учтивый поклон и присел на колени. И поклон был коротким; юноша тут же выпрямился и открыто посмотрел на Повелителя.

Зодчий был юн и красив; взгляд внимательный и искренний; движения мягкие и уверенные; он, несомненно, обладал благородной возвышенной душой. Повелитель это сразу понял, и ледяной холодок подкатил к его сердцу. И еще заметил Повелитель, что в миловидном юноше скрыта таинственная сила, непостижимо-загадочное обаяние, которые способны мгновенно околдовать, пленить любого человека.

Правда, Повелитель не сразу догадался, в чем заключается эта таинственная сила. Юноша сидел спокойно, сосредоточенно, будто прекрасно сознавал, для чего вызвали его сюда. Он не ерзал, не озирался затравленно, не оправдывался клятвенно, не просил пощады. Он выражал готовность и даже презрение к любой участи, к любому приговору.

Пытливый взгляд Повелителя долго буравил юношу, молча допрашивал его. Тот не дрогнул, не шелохнулся. Тогда Повелитель подал знак главному зодчему, сидевшему у порога. Старый мастер поспешно подошел к юноше, дернул за рукав. Юноша, как бы очнувшись, поднял голову. И тут Повелитель увидел под высоким чистым лбом его огромные, влажные глаза, излучавшие мягкий, спокойный свет. Как ясное ночное небо в летнюю пору

вбирает в себя отражение мерцающих звезд, так в больших черных зрачках его сосредоточилось в единый пучок отражение многих самых противоречивых человеческих чувств. И молчаливое удивление, как бы означавшее: «Неужели ты выпустишь меня отсюда живехоньким и здоровым?!», и мгновенно вспыхивавшая в душе радость, и бесконечная благодарность и признательность, и предельная честность и откровенность, не способная утаивать самый ничтожный грех, и искренность, по-детски наивная и трогательная, и сомнение в подлинности того, что с ним происходит, и страх и надежда,— все-все разом отражалось в глазах юноши. И они, глаза эти, навсегда врезались в душу великого Повелителя. Открытый, честный взгляд молодого зодчего сразу развеял все сомнения и подозрения, омрачившие сердце владыки, и убедили его в том, на что так усердно намекала старшая ханша, присылая ему червивое яблоко. С этого мгновения большие, как плошка, лучистые глаза неотступно преследовали Повелителя и раскаленными угольями жгли ему сердце.

Он знал, конечно, великий Повелитель, что юноша, сидевший перед ним, обречен, что пройдя через все железные и дубовые двери, он больше не увидит солнца, ибо отправится в каменное подземелье, куда не проникает ни единый лучик. И пытливо вглядываясь в черные, влажные, как у верблюжонка, зрачки, выражавшие полную покорность судьбе, Повелитель, однако, не испытывал жалости. Наоборот, два зрачка — два раскаленных саксаульных уголька еще немилосердней жгли ему грудь.

Да-а... видно, такими и бывают колдовские чары, о которых рассказывают в сказках и поют в песнях. Они смотрят искренне, преданно, умоляюще и навевают сладкую печаль, взывают к жалости и состраданию. Колдовской взгляд приносит нетерпеливому мужчине гибель, а у нетерпеливой женщины отнимают честь. И гибель, и бесчестие происходят от жалости, от душевной мягкости и слабости. Вероятно, от них идет и пагубное стремление у иных безумцев переступить через законы и порядки, установленные великим Повелителем на благо презренного человеческого рода. Повелителю, конечно, неведомо, где обитают духи сомнения и соблазна, Иблис и Азазель, о которых говорится в священных книгах, но упорно чудится ему, что эта нечистая сила свила себе гнездовье в тайниках человеческой души.

А что еще способно смутить легко ранимую душу, кроме слова и глаза? Думая об этом, Повелитель каждый раз испытывал смятение и тревогу. Он долго еще не мог оторвать взгляд от двери, закрывшейся вслед за юношей. Светлый, чистый взор его будто остался здесь, рядом, в ханском дворце. Глаза с ярко полыхавшим огнем в глубине зрачков, будто не мигая, следили за каждым его шагом, за каждым движением.

Повелитель тревожно оглянулся вокруг. Он не решился повернуться спиной к двери, за которой только что исчез молодой зодчий с большими, все понимающими и все видящими глазами. Он медленно отступил назад и присел возле мозаичного хауза с говорливым прозрачным фонтанчиком. Он не знал, как отделаться, как избавиться от назойливого, точно наваждение, преследующего взгляда. Неужто до конца дней своих не даст ему покоя этот клейкий, в самую душу проникающий взор? Должно быть, такое же смятение испытывала и юная ханша, впервые встретившись с молодым зодчим. Видно, эти глаза с таинственной поволокой взбудоражили и ее неокрепшую душу, и она не однажды впадала в отчаяние, не зная, как избавиться от их колдовских чар. Только что проку от отчаяния слабой женщины?! У ней даже нет силы, чтобы дать отпор подлому искусителю. У всякой самки всегда один выход, одна расплата. Там, где мужчина зачастую жертвует головой, женщина откупается ценой чести...

Ладно... не о том сейчас речь... Как должен в таком случае поступать грозный Повелитель, не знающий пощады к своим врагам,— вот о чем следует поломать голову.

Мысль, точно норовистый неук, вырвалась было на волю, но Повелитель, как опытный наездник, круто осадил ее. Губы скривились в ухмылке. О чем тут еще думать? Разумеется, он его прикончит. Песком засыпит жадные глаза, позарившиеся на чужое добро.

Однако и это неожиданное решение не утешило душу Повелителя. Разве он посмеет замахнуться мечом на невинного юнца, спокойно и добродушно взирающего на своего господина?! Разве он не привык карать жестоко только кровного врага, полного мести и злобы? Естественно желание погасить блеск ненависти во взоре противника. Только взгляд, разящий, как отравленная стрела, способен возбудить кровь и подстегнуть слепую ярость. Тогда священный гнев душит тебя, как захлестнувший шею

мокрый волосяной аркан, и скрежещут зубы, будто рот набит песком, и кровь упругими толчками бьет в виски. И эту огненную ярость в силах погасить лишь потоки поганой крови врага. Черная кровь, сочащаяся из рваной глотки противника, смывает глухую злобу и ненависть, обложившие грудь цепью кряжистых гор, и спадает пелена с воспаленных глаз. А рубить покорно склоненную голову — все равно, что отсечь булатной саблей хвост чесоточного ишака. Пролить кровь беспомощного горемыки так же омерзительно, как раздавить невзначай жабу под ногами. А ведь в темных очах юного зодчего не было даже намека на ненависть. И это обескураживало и раздражало Повелителя больше всего.

Нелегкая и опасная, как острие меча, судьба выпала на долю Повелителя, и жизнь он прожил богатую на события и испытания, однако с таким случаем он столкнулся впервые. Он очутился вдруг на распутии и не мог подчинить волю свою ни гневу, ни холодному рассудку. Сколько бы он ни думал, решение не возникало. В какую бы сторону ни рванулась лихорадочная мысль, она всякий раз наталкивалась на беспощадный и неразрешимый вопрос. Точно такие же огромные, с застывшей печалью и тайным укором глаза он, помнится, видел еще у кого-то. У кого? Когда? По какому поводу? Это был невинный, почти детский взгляд, такой доверчивый, наивный, умоляющий, что при одном воспоминании о нем заходило сердце.

Невинный взгляд... Острая мысль Повелителя, настойчиво подбиравшаяся к истине, каждый раз спотыкалась на этом слове. Да-а... невинный взгляд... Откуда?.. Где?.. Какая там, к дьяволу, невинность, если этот взгляд нагло шныряет по твоей супружеской постели? Похотливый взгляд, устремленный на подол твоей богом данной супруги, разве не опасней, не кощунственней вражеского копья, нацеленного на твой очаг? Разве это не высший стыд, не самый страшный позор для любого мужчины, не говоря уже о нем, всемогущем владыке вселенной? К чему его запоздалые земные поклоны, если он до того опозорил его златокоронную голову? И почему он должен прощать там, где не простит даже последний нищеброд? Разве не высшая честь и назначение мужчины оберегать покой и мир родного края, почитать везде и всюду священный дух предков и сохранять святость и крепость домашнего очага, верность и любовь супруги? И как мог так оплошать Ве-

ликий Творец, сделав честь и достоинство высокородного мужчины всецело зависимыми от мотыльковой прихоти низкородной бабы — рабыни собственной низменной чувственности и страсти?! Видно, в этом заключается единственное ущемление в отношении мужчины, допущенное всемогущим Творцом...

Повелитель вскочил в досаде и, тяжело ступая, направился к окну. Были бы сейчас перед ним эти лживо-невинные глаза, он выколол бы их собственноручно. Взглянув в окно, Повелитель опешил: с тем же печально-пристальным выражением во всем своем облике, словно ничего не подозревая, смотрел на него голубой минарет. Ах, вон, оказывается, где он видел еще эти глаза! Да, да, еще тогда, при первой же встрече, его поразило что-то таинственное, непостижимое в минарете, и теперь он вдруг сразу понял, что тайна эта — в скорбно-молчаливой мольбе и укоре, так искусно выраженных зодчим в камне. Вот так, конечно же, минарет-искуситель днем и ночью вглядывался и в опочивальню юной ханши. И та, должно быть, тоже была вначале поражена и обескуражена и лишь потом, возможно, догадалась о подлинной тайне, заключенной в его облике. Выходит, в своем творении зодчий выразил себя, свое сокровенное желание, сказав тем самым то, что он не осмелился выразить словами. И, надо полагать, в душе надеялся что со временем юная ханша сама поймет его молчаливый намек. Выходит, не такой уж он невинный и безобидный, этот скромный с виду юноша, если он так тонко, исподтишка, словно червь, подтачивал чужие души.

Э, что там говорить, поистине мужчину приводят к беде слова, а женщину — глаза. Мужчина — часто невольник слов своих, ибо не может от них отречься, женщина в плену глаз своих завидущих, ибо не может успокоиться, пока не заполучит того, что ей понравилось. Значит, неспроста наши предки, защищая хрупкую душу мужчины от недоброго слова, всячески оберегали женщину от постороннего взгляда. Значит, знали священные прадеды наши, что открытый женский взор допустим лишь на супружеском ложе, а в остальных местах жадные, любопытные глаза ее должны быть для ее же пользы укрыты под черной накидкой. Ибо нет у ней воли, чтобы совладать со своим желанием. Все, все теперь Повелителю понятно и ясно. Юная ханша вначале была поражена голубым минаретом. Потом в ней вспыхнуло неодолимое любопытство

и желание увидеть молодого зодчего, сотворившего чудо, полное тайны. И вот она увидела его и с того мгновения смутил ее покой проникновенно-печальный взор юноши, и заворожила ее вдохновенная его красота...

Выходит, уже ничто не могло удержать ее от греховного соблазна: ни честь, слава и могущество супруга, ни священное благословение родителей, ни глухая молва праздной толпы. Даже грозный гнев и ярость великого Повелителя, в страхе и повиновении державшего всех в подлунном мире, не могли ей стать преградой. Значит, все это вместе — честь, слава, сила, богатство, страх расплаты — не могло заменить крохотную накидку, сплетенную из конских волос. Что же тогда получается? Допустим, нельзя доверять низкородной самке, жалкой рабыне похоти, но куда смотрела многочисленная вооруженная стража, обязанная не пропускать во дворец ханши даже муху, не говоря уже о любовнике?! Где была свита, сопровождающая ее повсюду?! Где находилась старая опытная служанка, не спускающая с нее денно и нощно глаз?!

Ночь напролет проворочался Повелитель. С нетерпением ждал, когда займется заря. Он решил поговорить с глазу на глаз со старой служанкой. Только она одна, вернее, ее прямой и честный ответ в состоянии развеять сомнения, грызущие душу, точно обжорливые суслики.

Утром он распорядился позвать старуху. Она явилась незамедлительно, как прежде, уверенная и спесивая, путаясь в длинном подоле пышного парчового платья. Казалось, она не шла, а плыла по воде, мелко-мелко перебирая ножками-плавниками. Повелитель угрюмо взирал на нее. Должно быть, больно высокого мнения была о себе старуха. Ведь не каждой доверяется следить за неприкосновенностью и чистотой ханского ложа. На сонном, самодовольном лице ни тени сомнения или робости. Повелитель с трудом сдерживал досаду.

Наконец, старуха подплыла, церемонно поклонилась, потом выпучила на него слезящиеся глаза, сохраняя непроницаемо-высокомерный вид. «Ну, что, голубчик, мне скажешь? Давай выкладывай. Я вся внимание»,— было написано на ее морщинистом дряблом лице.

И Повелитель растерялся, не зная, с чего начать и что сказать этой кичливой, самонадеянной старухе. А ведь во всем дворце он мог доверительно и откровенно, без намеков и осторожной словесной игры, разговаривать только

со старой служанкой и управляющим ханской казной. И он с трудом подавил раздражение и заговорил глухим, надтреснутым голосом. Он говорил резко, без обиняков и при этом не спускал с собеседницы пытливых глаз. Старуха слушала его вначале по стародавней привычке в полуха, равнодушно, потом в ее белесых, почти без ресниц, старческих глазах на мгновение вспыхнул подозрительный блеск, и она недоверчиво скосилась на Повелителя, как бы спрашивая себя: «Интересно, всерьез он это говорит или просто хочет что-то выведать и, как всякий господин, затевает со своей служанкой непонятную игру в кошки-мышки?» Но то ли стеснялась или оробела, то ли мгновенно сообразила, куда клонит Повелитель и что именно гложет его душу, она отвела взгляд, погасила любопытный огонек в глубине зрачков и опустила тяжелые веки с жиденькими бесцветными ресницами. Дальше она слушала без интереса, но учтиво. Лишь в одном месте редкие щетинки на бородавке под горбатым длинным носом неожиданно дрогнули, встопорщились и тут же вновь легли смиренно. На бескровных, морщинистых губах обозначалось подобие улыбки. Повелитель насупился, осекся. Старуха спохватилась, тотчас погасила непрошеную улыбку и поклонилась в знак покорности. Повелитель выжидающе молчал, вкогтив в нее колючий взгляд.

Настал черед держать ответ старухе. Даже после суровых слов Повелителя она не смутилась. Голос ее не дрогнул. Ее спокойный, уверенный вид, ровный голос, прямой, бесстрашный взгляд как бы невольно подавляли Повелителя. Он старался, однако, не подавать виду, слушал молча, сосредоточенно. Он умел владеть собой. И сейчас глубоко упрятал душевную сумятицу, ни в едином жесте не позволил прорваться волнению, а продолжал смотреть на старуху жестким, цепким взглядом, каким привык допытывать многих.

И когда старуха, все выложив, умолкла, он дернул подбородком в знак того, что она может удалиться. Она еще раз поклонилась и не поплыла величаво, как прежде, а мелко-мелко засеменила к двери.

Не в силах побороть неясную досаду, Повелитель задумался над словами старухи. Что за чушь она здесь молола? Не поймешь, где правда, где ложь. Выходит, они ловко провели наивного зодчего, и тот на самом деле обнимал не ханшу, а смазливую служанку? Значит, испугавшись гне-

ва и кары Повелителя, эти трусливые бабы прибегли к такой уловке? И ничего лучшего не могли придумать? Там, где проще простого было свернуть башку этому наглецу, бабьё только навлекло беду на собственную голову. Подумать только — на что позарился безумец! За то, что он даже в мыслях покушался на честь Повелителя, и глаза его бесстыжие выколоть не грех. К тому же он ведь совершенно убежден, что ласкал тело юной ханши. Даже вчера, сидя перед ним, он даже и не попытался скрывать свой грех. Значит, нужно выбить из его дурной башки эту уверенность. Значит, нужно песком засыпать эти ненасытные глаза, жадно шнырявшие по недоступным прелестям ханши. А для этого легче всего отсечь ему голову. Пусть он своей молодой горячей кровью смоет гнетущую тоску в груди властелина. Пусть капля алой крови на кончике секиры палача смоет позорное пятно, оставленное им в мыслях на белоснежном супружеском ложе Повелителя. Только справедливое возмездие должно быть совершено так, чтобы посторонний глаз ничего не увидел и чужие уши ничего не услышали.

Но... возможно ли это? Недаром ведь говорят, что у молвы тысяча уст и тысяча ушей. Может, есть смысл отправить доносчиков и соглядатаев по базарам, пусть разнюхают, о чем толкует толпа.

Повелитель всерьез подумал о том, как по-хански расквитаться с дерзким зодчим. Месть как бы придала ему бодрость. Сомнения, ржой разъедавшие волю, исчезли. На их место пришли ярость и ненависть.

Он с нетерпением ждал доносчиков, посланных на базар. Бывает, болтливая чернь, совершенно не ведая о том, сама подсказывает самое верное решение. И на этот раз Повелитель надумал проявить терпение и объявить приговор после того, как ему доподлинно станет известно, о чем судачит черная толпа.

Ничего определенного, однако, доносчики не сообщили. Видно, слух о том, что молодой зодчий приглашен в ханский дворец, еще не дошел до простого люда. Тогда он немедля отправил соглядатаев в ту часть города, где проживал творец голубого минарета. Выяснилось, что хозяин дома, где зодчий снимал комнату, всюду похвалялся, что, мол, его жильца пригласил к себе Повелитель, дабы поручить ему строительство новой мечети. Этот необоснованный слух пришелся Повелителю не по нутру. Он решил

спустя несколько дней еще раз отправить доносчиков по базарам. К тому времени уж наверняка поползут кривотолки по поводу длительного пребывания молодого зодчего в ханском дворце.

Душные летние дни тянулись утомительно медленно, будто разморенная, надменная красотка прохаживалась в саду. Никаких достойных внимания вестей ниоткуда не поступало. Даже от старшей ханши не приезжал порученец. Узнав о том, что Повелитель все же не удержался и полюбопытствовал у служанки, кто прислал ему наливное яблоко с червоточинкой, старшая ханша выжидающе насторожилась. Странное ощущение охватило Повелителя, будто весь мир затаил дыхание, и все вокруг сговорились и теперь, не спуская глаз, сквозь все невидимые щели следят за каждым его движением. И уже порой мерещилось, что не он, Повелитель, отправил дерзкого юнца в подземелье, а сам себя приговорил к заточению. Так он и маялся целыми днями в одиночестве. Он был на распутье, ибо прекрасно сознавал, что не может одним махом решить это путаное и скользкое дело, пока не прощупает настроение толпы и не узнает ее мнения. Ведь он, даже будучи всемогущим, не может позволить себе роскошь поступать необдуманно, как заблагорассудится, ибо привык каждым своим поступком, даже каждым изреченным словом неизменно удивлять и поражать своих подчиненных и верноподанных, а для этого необходимо точно предвидеть все возможные прихоти презренной толпы, от которой происходят потом легенды. Сколько бы сейчас ни думал Повелитель, он не в силах был понять, что замышляет и что утаивает столь знакомая и в душе презираемая толпа, которая, бывало, раньше подхватывала и распространяла любое его решение со скоростью степного пала в засушливую пору. Казалось, толпа исподволь мстила ему, злорадствовала, дескать, а ну, всесильный владыка, попробуйка обойтись без нас, без помощи нашей быстроногой молвы.

По-разному думал Повелитель о причине глухого безмолвия вокруг него, однако ни одно из предложений не имело достаточного основания. Было уму непостижимо, что в таком громадном городе не находился ни один пустобай, который что-то сказал бы о таинственном исчезновении молодого зодчего, чьим творением — голубым минаретом — уж столько времени любовались все. Столько разношерст-

ного народу с утра до ночи толпится на ханских базарах, и ни одна живая душа ни словом не обмолвится о величественном минарете! Неспроста все это. Это уже похоже на тайный сговор. Есть что-то зловещее в этом молчании. А может, то ужасное, о чем он догадался только сейчас, всем вокруг давным-давно известно? Ну, конечно, известно! Люди, разумеется, успели на все лады истолковать всем доступный, откровенный намек, заключенный в таинственном облике минарета. Какая тут, к дьяволу, тайна, если она понятна и слепому?! Нельзя же уповать на то, что доступное Повелителю недоступно глазастой черни. Все она видит, все понимает. Ясно ей также, что одно оброненное случайно слово об этом может ей стоить головы. Вот почему все как воду в рот набрали. Но неужели среди многочисленного люда нет ни одного словоблуда, ни одного болтуна?! Неужели все так опасаются ханской кары?! Как бы ни боялись кровавого его меча и какой бы жестокий порядок не царил в его владениях, немыслимо же запереть на железный замок людскую молву.

Ни на один из этих вопросов, назойливых, как мошка в предзакатный час, он не находил вразумительного ответа. Ощущение было такое, будто он погряз в болото и с каждым шагом его все больше и больше засасывало в топь. Погруженный в беспросветные думы, сидел он неподвижно и смотрел на кованую дверь.

В таком томительном ожидании проходили дни и ночи. И, наконец, настал тот долгожданный час. Тихо отворилась тяжелая дверь, и в зал, точно уж, вполз доносчик. Добрел, грохнулся на колени, униженно согнулся перед властелином.

— Ну, говори! Что узнал, что услышал...

Доносчик заговорил. По его словам, в народе ходит слух, будто великий Повелитель, опасаясь, что такой величественный и единственный в своем роде минарет появится, кроме его столицы, еще где-нибудь, распорядился выколоть глаза молодому зодчему и пустить его по миру. Повелитель недоверчиво и долго смотрел на доносчика и небрежным кивком указал на дверь. Доносчик так же неслышно выскользнул.

Повелитель решительно вскочил, словно сбросил с плеч неимоверную тяжесть. Ничего не скажешь: то, что болтает черная толпа, достойно внимания. Ведь и впрямь очевидно: такой загадочный, многоликий минарет, то радостно и

светло улыбающийся, как влюбленный юноша в предвкушении скорого свидания, то тихо грустящий, словно невинно обиженный ребенок, должен украшать только одну столицу — ту, в которой правит могущественной державой великий Повелитель, обладающий самой тяжелой и дорогой короной и самым высоким и неколебимым троном на свете. Нигде больше не должен воздвигаться подобный минарет. Безжалостную, страшную судьбу, уготованную всем редчайшим талантам испокон веку, должен разделить и молодой зодчий. Ни в какие времена ни один властелин не упускал из своих рук таких щедро одаренных самим создателем самородков-одиночек. Чернь сама вынесла приговор своему Мастеру. И да будет так! Вокруг таких творений, как этот минарет, неизменно рождаются легенды. Одна из них — очень приемлемая — родилась сегодня. Легенда, столь доступная легковерной толпе.

В этот день впервые за долгое время Повелитель отправился в сад на прогулку. Задумчиво сидел он у своего любимого укромного родника. Весело, беззаботно журчащая глубинно-прозрачная вода, как и прежде, ласкала слух и успокаивала, убаюкивала встревоженную, усталую душу. Боль и тяжесть в висках понемногу отпускала, утихала, как бы растворялась, и Повелитель с облегчением подставлял оголенную грудь нежной воздушной струе, воровато блуждавшей в густых зарослях.

Разморенная тишь стояла вокруг. Игривый родничок неустанно похихикивал. Листья на верхушках деревьев мелко-мелко вздрагивали, таинственно перешептывались. Созвучие и согласие царило в природе. Видно, только люди сами для себя придумывают муки. А ради чего? Сначала растревожат, взбудоражат себя, потом тщетно пытаются внуздать душу и доводят себя до отчаяния, до умопомрачения. На самом деле нечего себя терзать. Все проще простого. Безумец, оказавшийся рабом вожделения, должен понести суровое наказание. И никогда уж он не будет строить дивные минареты; не будет смущать невинные души; не сможет соблазнять своим колдовским печальным взором неопытные женские сердца. Поганым кинжалом, которым выхолащивают не в меру буйных жеребцов, прикажет Повелитель палачу выколоть совращающие душу глаза молодого зодчего. Но и это еще не все. Чтобы этот наглец, думающий про себя, что обладал юной ханшей, никому не смог болтнуть об этом, Повелитель прикажет

также отрезать ему язык. И тогда пусть он, слепой и немой, прозябает во мраке, как червь, как последняя богомерзкая тварь...

В эту ночь Повелитель спал спокойно. Наутро он уже собрался было пригласить к себе начальника подземелья, как совершенно неожиданно отворилась дверь и на пороге появилась младшая ханша. Она отвесила сначала низкий поклон, потом мелкой, неслышной походкой направилась к нему в глубь зала. Подойдя, вконец растерялась. Ярко сверкнул крупный яхонт на лбу, блеснули два черных глаза, и Повелитель сразу заметил, как глубоко они ввалились. И личико побледнело, осунулось. Ханша, как бы пряча измученный свой вид, села боком. Приход ее был столь неожиданным, что и Повелитель явно опешил. Все мысли мгновенно спутались, давно неизведанная жалость, сочувствие к этой маленькой, несчастной женщине пронзили его, и он невольно протянул к ней руку. И в следующее мгновение, стоило только прикоснуться к ханше, она беспомощно, быстро-быстро задрожала длинными черными ресницами, и несколько прозрачных слезинок звучно капнули ей на платье. Она порывисто прильнула губами к его руке и рухнула к его ногам. Слезы хлынули теперь бурно, плечи тряслись. Еще вчера он считал ее самым презренным существом на свете, а сегодня, глядя на то, как она, словно неутешное дитя, рыдает у его ног, Повелитель растерялся. Неизвестно, как бы он поступил деньдва назад, случись вдруг такое, а сейчас, видя перед собой измученную ханшу, он почувствовал к ней одну острую жалость. Он наклонился, осторожно приподнял ее, усадил рядом. Слов не было, и, должно быть, подспудно Повелитель сознавал, что сейчас они ни к чему. Он взял в руки ее маленькие мягкие ладошки и молчал; ханша плакала. Безудержно, долго. Слез за последние дни накопилось столько, что она не могла их, видно, так скоро выплакать. Но в молчании Повелителя она почувствовала сострадание и понемногу успокаивалась. Когда бурный приступ слез иссяк, она виновато оглянулась и вовсе сжалась, поникла. Она не представляла, как ей быть, что дальше делать. Повелитель тоже ни о чем не спрашивал. Так и сидели молча. Первой не выдержала она: спохватилась, встала, смущенно поклонилась и направилась к двери. Там она замешкалась, обернулась и очень тихо, глухо, через силу, спросила:

— Мой господин, скажите: это вы распорядились посадить молодого зодчего в заточенье?

Он был удивлен этому неожиданному вопросу, однако скрыл удивление, спокойно ответил:

— Да.

Юная ханша вспыхнула. То ли вдруг поняла бестактность своего вопроса, то ли какое-то непонятное чувство обожгло все ее существо — кто знает... Она вновь пыталась кинуться к его ногам, но он удержал ее за руку.

— Он... ни в чем не повинен,— торопливо проговорила она.— Ничего.... не было.

— Знаю.

Ханша быстро подняла на него глаза, как бы желая удостовериться в правдивости его слов. Ее удивило то, что на лице Повелителя она не заметила ни тени гнева. Ханша вышла. Он молча и долго смотрел ей вслед.

Повелитель тоже никак не мог опомниться после этой нежданной встречи. Еще не бывало, чтобы даже старшая жена осмеливалась заходить к нему без спроса. Как же младшая ханша на такое решилась? Или уже не в силах была перебороть тоску по нему? Ведь после возвращения из похода она ни разу еще не видела его. Могла и соскучиться. А потом, надо полагать, и до нее дошли слухи о наливном яблоке с червоточинкой, которое прислала ее соперница. Видимо, ей стало невмоготу терзать себя сомнениями, и она решила покончить с тягостной неопределенностью, и потому ее приход — не дерзость, и не смелость, а просто отчаяние.

Сейчас она удалилась в свою опочивальню, должно быть, успокоенная и удивленная его милостивой нежностью. Но почему, почему она ни с того, ни с сего спросила первым долгом о молодом зодчем? Неужели лишь забота о нем толкнула ее на этот безрассудный шаг? «Он ни в чем не повинен». Что это значит? Может, она решила предотвратить жестокую, но справедливую кару? С какой стати она заступается за него, да еще и просит, умоляет? Неужели его короткое «знаю» она приняла за прощение?

Да, конечно, Повелитель знает, что ханша невинна. И все же он не вправе простить преступную дерзость безумно влюбленного юнца, который, презирая гнев владыки и саму смерть, покушался на святая святых — на мужскую честь и достоинство великого Повелителя. И нужно скорее привести в исполнение приговор, заранее

вынесенный, точнее, подсказанный бездумной, крикливой и нетерпеливой толпой.

И все же Повелитель не мог разрешить терзавшие его сомнения. Уходя от него, ханша у порога обернулась, и в ее кротких, чистых глазах мелькнул вдруг страх. Чего она испугалась? Она ведь не впервые видела его холодное, непроницаемое лицо. Или насторожилась, поняв, что ее сокровенные слова не дошли до него, не возымели никакого действия? А как он собственно должен — по ее мнению — поступить? Что обязан делать? Выпустить на волю молодого зодчего? К этому ханша стремится? Ничего ужасного или пугающего он ей не сказал. Ни в чем ее не упрекнул. Тогда чем объяснить ее испуг? Или она все же тревожится за судьбу зодчего? С какой стати она жалеет глупца, который едва не растоптал ее честь? Разве, если здраво рассудить, не она сама обязана была возмутиться домогательством безродного горшечника, рассказать о его безрассудных притязаниях и добиваться сурового наказания для него — позорной смерти, дабы уберечь невинность чести и заткнуть вонючие рты болтунов и сплетников? А вместо этого она неожиданно вваливается к Повелителю и — если не открыто, то вполне прозрачным намеком — вымаливает снисхождение. Может, она и в самом деле неравнодушна к нему? Иначе зачем бы ей, переступая через стыд, просить о помиловании обнаглевшего раба? Нет, нет... Все это неспроста. Ведь представить только, сколько душевных сил, волнения и решимости понадобилось робкой и стыдливой ханше, чтобы вот так прийти вдруг в здравый утренний час к Повелителю! Прийти, заведомо зная, что навлечешь на себя его беспощадный гнев! Ведь этот поступок почти равносилен сознательному самоубийству. Выходит... выходит... Как же тогда понять слова старой служанки? Как понять трогательное признание самой ханши, только что сказавшей: «Ничего... не было»? Неужто все ложь, обман, уловка? Странно... странно... Все же видно, этот загадочный минарет, денно и нощно преданно и умоляюще заглядывавший в окно юной ханши, сумел смутить ее душу, зародить в ее сердце искушение любви. И когда, жалея изнывавшего от похоти наглеца, она послала к нему юную смазливую служанку, ханша заботилась не столько о своей чести, сколько о безопасности, о сохранении жизни молодого творца сказочного минарета. Значит, уже тогда она испытывала к нему определенное чувство.

Значит, и тогда ничуть не осуждала влечения и намерения ослепшего от страсти юнца. И только суровый дух, витавший над дворцом златокоронного властелина, чудом удержал ее от заурядного блуда... Мысли Повелителя, точно завороженный змеей воробышек, никак не могли распрямить крылья и беспомощно трепыхались на одном и том же месте. Но злая догадка, возникшая вдруг, приковала к себе внимание и вывела его думы из тупика. Вполне возможно, что ханша не только сочувствовала пылкому молодому зодчему, возжелавшему ее горячих объятий, не только жалела, но и сама воспылала к нему ответной любовью. Память услужливо подсказала тот случай, происшедший на его глазах ночью в опочивальне ханши. Да, да, вот она, отгадка всех тайн... Значит, мужчина, которого в бреду так горячо ласкала ханша, был никто иной, как этот смазливый юноша. Лишенная возможности встречаться с ним наяву, она наслаждалась им во сне. Выходит, в мыслях, в душе она предавалась с ним неистовой любовной страсти. Выходит, он, безродный юноша с горящим взором, ей дороже, желанней, милей богом данного всемогущего супруга... И разве то, что она осмелилась прийти сегодня к нему — не еще одно доказательство готовности принести себя в жертву ради своего возлюбленного? А он, всемогущий Властелин, подчинивший своей воле половину вселенной, размяк, точно мальчишка, разжалобился, едва увидев на ее глазах слезы. Проявил несвойственную ему слабость, забыл, что бабьи слезы, как и золото в руках фокусника,— одна видимость, ложь. Разве он в ту злосчастную ночь не убедился собственными глазами, насколько верна она священному супружескому ложу? То, что немыслимо совершить наяву, она совершила во сне, переступив через стыд и сорвав запретный плод. Выходит, если она в действительности, в жизни еще щадила честь венценосного супруга, то это вовсе не было проявлением целомудрия, а самой обыкновенной, дешевой уловкой всякой самки.

И когда эта догадка вспыхнула в душе Повелителя, он почувствовал в груди такую боль, будто его ударили ножом. Ему, повидавшему так много, никто никогда не наносил такой болезненной раны. То, что он почувствовал сейчас, не было похожим на те давние обиды и унижения. Жуткая слабость враз подкатилась к его ногам, и он закачался, невольно сжался, понуро опустил усталую голову.

III

Жизнь Повелителя неожиданно лишилась всякого смысла. Полное безразличие ко всему овладело им. Доносчиков, доставлявших с базара слухи и сплетни, он выслушивал нехотя, вяло. С казнью молодого зодчего, томившегося в подземелье, он тоже не спешил. Ненависть, еще вчера обжигавшая грудь, погасла. Бесконечные и однообразно унылые мысли, посещавшие его в одиночестве, обессмысливали все, что раньше, бывало, волновало кровь, будоражило ум, взывало к действию. Как-то разом исчезли все желания, и некуда было спешить. Не было даже сил и желания додуматься до причины, породившей столь непривычную вялость духа. Какое-то странное, опустошенное состояние. Тихая печаль исподволь подтачивала остатние силы. Невидимая хворь, казалось, сгибала спину, давила на плечи, душила. А не было боли, которая ощущалась бы остро; не было кровоточащей раны.

Он чувствовал себя оглушенным, словно буйный осетр, ненароком наскочивший на камень. Он умел предугадывать все на свете, видел даже то, что происходило на краю земли, и вдруг нежданно-негаданно наткнулся на такой удар, который ему не снился и в страшном сне. Пока он не сомневался лишь в одном: молодой зодчий будет жестоко наказан, как и все, кто однажды посягнул на его величие. Однако никакая кара, никакие муки— он чувствовал это!— не в состоянии утолить, удовлетворить его месть. Даже черная кровь, истекающая из его греховного сердца, не принесет облегчения душевной ране Повелителя. Наоборот, пролитая кровь безумца умалит и даже сведет на нет— и яростный гнев, колотящий его стареющее тело, и слепоглазую ненависть, бешеной кошкой раздиравшую его душу, и вообще весь остаток жизни, отпущенный судьбой на долю венценосного властелина. Еще недавно его могучий дух, казалось, был способен сокрушать древние Капские горы, а сейчас его, лишенного и ярости, и ненависти, и гнева, покорно понесло по течению жизни, будто случайную соломинку по бурной реке. И надо было честно сознаваться: то, что уже столько дней ржой подтачивало душу, не было ни обманом, ни обидой, ни унижением, а просто — глухой досадой. Да, да, именно так называлось это жалкое, дряблое, унизительное чувство, напрочь ли-

шенное неукротимой силы и упоения гневом и местью. Так на что же досадует великий Повелитель, подмявший под себя едва ли не всю вселенную? А на то он досадует, что всецело распоряжаясь судьбой и жизнью людей и народов, обитающих в подвластном ему мире, он был бессилен овладеть сердцем и душой одной лишь маленькой и такой беспомощной женщины, которую издревле принято считать низкородной и недостойной! И еще ему досадно оттого, что два человеческих существа, разделяя супружеское ложе, так и не смогли слиться в единую душу. Получается, что за этой жалкой досадой скрывается самая обыкновенная обида. Обида на кого? На младшую ханшу? Неужели он, венценосный властелин, может обижаться на длиннополую бабу? Рад был бы Повелитель отмахнуться от этих назойливых, роящихся, как мошка перед ненастьем, мыслей, только сейчас это было выше его сил. Да и что ему еще оставалось, как не забавляться бесплодными думами, чтобы только не свихнуться от беспросветного одиночества... А одиночество ледяным обручем сковало его уже давно. Жизнь, обособленная от других, давно ему в тягость. Всегда и всюду один, один, точно бельмо на глазу. Он был лишен возможности, как всякий отец, радоваться своим кровным детям, и, как всякий супруг, наслаждаться любовью жены. Так и выросло целое потомство, его дети и внуки, выросло, возмужало, коней оседлало, разбрелось по всему свету, не познав его отцовских ласк и нежности. А он, Повелитель, по-прежнему один, одинок, и дома и в походах, один, как бог. Когда он одного за другим разбил большинство врагов и засыпал их завидущие глаза песком, надумал пожить немного в свое удовольствие и привел в свой дворец младшую ханшу. Нет, вовсе не для того, чтобы на старости лет обновить, как говорится, запах постели и тешить свою похоть с молодой, а для ублажения души, истомленной одиночеством. И он был рад и доволен своим удачным выбором: несмотря на молодость, ханша оказалась поразительно сдержанной, покладистой, ровной, как в проявлении своих чувств, так и в повседневном поведении. А когда он, возвращаясь из похода, еще издалека увидел минарет, подпиравший небо, он сразу догадался, что ханша воздвигнула его в честь горячо любимого супруга, и душа его возликовала. Та радость, теплой волной растекавшаяся по жилам, теперь улетучилась, уплыла, точно серебристые нити в прозрачном осеннем воздухе. И было досадно, что не только

искренность и доброе душевное расположение ханши, но и весь огромный бренный мир и все-все в этой юдоли печали поистине мимолетны и фальшивы. И еще было досадно оттого, что ему со всей циничной откровенностью стало вдруг ясно: тот, кто родился однажды обыкновенным смертным, может, конечно, заарканить судьбу и высоко подняться над копошащимся внизу презренным человеческим родом, но от изматывающего душу одиночества ему никогда не избавиться, пока он не закроет навеки глаза и не очутится под землей, принявшей в свои объятия тысячи ему подобных. Но всех ли смертных ожидает равная участь? Разве ведомо одиночество тем, кто привык довольствоваться малым и полюбовно делит между многочисленными своими отпрысками крохотное счастье и благо, выпавшие им на долю? Такие не ропщут и, видимо, в этом находят свое житейское счастье. А стремление к большему неизменно сопряжено с потерями, и потому простой смертный предпочитает довольствоваться тем, что есть. И какими бы красивыми словами не называли мы свои стремления — мечтой, порывом или целью,— в конечном счете это все жалкие потуги, именуемые жадностью, ненасытностью, алчностью. А там, где правят эти низменные чувства, не может быть радости и наслаждения. Вот под его, Повелителя, властью чуть ли не весь подлунный мир, но хотя бы одну ночь спал он спокойно, хотя бы один день жил без забот? То-то же... Выходит, не так-то уж много надо простому смертному. Богатство и слава, которых с таким рвением добиваешься помимо самого скудного житейского блага, не стоят, в сущности, и слепой копейки.

Младшая ханша не утешилась ни богатством, ни тщеславием, а просто тоже затосковала по скромному человеческому счастью и обыкновенным женским радостям. И в этой своей столь естественной и понятной тоске она, помимо собственной воли, оказалась готовой пожертвовать и священной короной, и золотым троном мужа. Она металась, не находила себе места в огромном пышном дворце, набитом золотом и драгоценностями, ибо не могла в нем найти желанного,— пусть крохотного и замызганного — счастья. Ведомо ли ему, к чему так страстно рвалась душа юной ханши? Есть ли у него самого то, чего так жаждала младшая жена? Да, у него есть трон, еще есть у него корона, и еще он обладает богатством, славой, властью, грозным именем. Только при всем желании все это вместе он не

может назвать счастьем. Какое же это, к черту, счастье, если в окружении неслыханного состояния, невиданной роскоши и многочисленных единокровных отпрысков чувствуешь себя, как в голой пустыне?! Если в собственном дворце сидишь как на иголках и затравленно озираешься вокруг, не зная, в каком углу подстерегает тебя опасность?! Если в опочивальню жены, куда днем и ночью запросто заходят все обыкновенные мужья, ты, будто вор, крадешься тайком, пряча от горничной и привратников глаза?! Если, считая себя всесильным и всемогущим, с затаенным страхом прислушиваешься к молве, кривотолкам, пересудам праздной толпы?! Э, нет... верно говорят, что взирать на грешный люд с высоты своего недоступного одиночества естественно лишь для бога. Непомерные слава, сила, власть, богатство, талант, обрушивающиеся иногда на одного человека, оборачиваются не счастьем, а бедой. Разве может быть довольным жизнью молодой зодчий, своим искусством поразивший горожан? Разве счастлив он, Повелитель, покоривший сотни стран и народов? Нет! В сущности, все трое глубоко несчастны. Все остальные простые смертные на земле имеют возможность, на худой конец, поделиться с кем-нибудь своим горем, своей тоской, всем, что распирает их грудь. У них же — Повелителя, молодого зодчего и юной ханши — и такой возможности нет.

Случись с кем-нибудь другим нечто подобное, Повелитель, как третейский судья, не смог бы вынести сурового приговора, ибо в душе сознает, что ни один из них не виновен. А сейчас ему не под силу проявить такое великодушие. Ведь, в сущности, и он, и зодчий, и ханша — жертвы судьбы, несчастные, нищие, вымаливающие друг у друга сочувствие и сострадание. А какую помощь могут оказать друг другу бедняки? Чем поделиться нищим? Нечем! И поэтому самое справедливое — осуществить молву, угодную толпе. Если уж необходимо непременно докопаться до истины, то вовсе не он, Повелитель— палач молодого зодчего, отмеченного божьим даром, а крикливый черный сброд, охотно распространяющий самые невероятные слухи, верящий гнусной сплетне, родившейся в гнусной душе, и заставляющий верить других. И зодчий, и ханша, и он, Повелитель,— жертвы его жадных, пронырливых глаз и болтливого, мерзкого, как жало змеи, языка. И теперь прояви великий Повелитель неслыханное милосердие и соедини судьбы двух несчастных молодых влюбленных, завтра же

этот сброд, эта толпа поднимет невообразимый гвалт, шум, обвиняя его в мягкотелости, малодушии и бог весть еще каких грехах, а недруги, тайные и открытые, подхватив молву из поганых уст черни, начнут злословить над ним. Все зло, все беды — от черни. Даже в несчастье зодчего виновата она. Даже кару для него придумала и подсказала Повелителю — она. Что ж... так да и будет! Пусть утешится презренная чернь! То, что рождено толпой, становится жертвой ее же слепой ненависти. Пусть так оно будет и впредь, и во веки веков! Пусть этот люд верит своим россказням. Лишь бы не догадался о том, что способно лечь пятном позора на честь и имя Повелителя. Значит, пока болтливая толпа не отреклась от своей молвы и не придумала другую меру наказания, разумно молодого зодчего немедленно казнить.

IV

Итак, в подземелье освободилось еще одно место. Раскаленной докрасна острой железкой кровавый палач выколол лучистые глаза вдохновенного Мастера, дерзко и гордо устремившегося к недоступной ему мечте. Несчастный юноша корчился от боли, завыл по-звериному протяжно, и тут палач беспощадной рукой отрезал ему еще язык. Измученного, окровавленного, почти бесчувственного зодчего связали волосяным арканом и темной ночью отвезли в какой-то кишлак на той стороне Большой реки.

Страшная судьба молодого зодчего никого в столичном городе не удивила. Подобную участь испытывали многие даровитые мастера и художники. Правда, бывали и отчаянные смельчаки, одиночки, сумевшие избежать суровой ханской кары. Кое-кому удавалось подкупить палача, перехитрить злой рок, вырваться из города. Часть из этих редких удальцов и счастливчиков потом навсегда расставалась со своим искусством, осваивала другое ремесло; другие покидали родной край и доживали свой век на чужбине, ища милости у иных владык. Третьи, наиболее отчаянные и бесстрашные, дожидались смерти преследовавшего их правителя, возвращались на родину и, облагодетельствованные новым властелином, с прежним увлечением и усердием занимались любимым делом.

Зная об этом, Повелитель пожелал лично взглянуть на молодого зодчего уже после того, как ему выкололи глаза и отрезали язык. Убедившись в том, что в окровавленном, грязном мешке, перевязанном арканом, действительно находилось обмякшее тело зодчего, Повелитель распорядился отвезти его в дальний кишлак за рекой.

Наутро следующего дня огромный ханский дворец почудился ему еще более тоскливым и пустынным. Доносчики, отправленные на базар, не приносили никаких утешительных вестей. Казалось, этим презренным торгашам, вожделенно уставившимся на чаши безмена, недосуг взглянуть на вершину голубого минарета. Внимание их всецело поглощено перебранкой, зазывными выкриками, копеечной торговлей, желанием надуть простодушного покупателя. В этот миг они наверняка и не помнят о существовании какого-то Повелителя. Выморочная тишина сковала город. Соглядатаи и доносчики Повелителя, под видом мелких торговцев и бродячих дервишей шнырявшие в базарной толпе, ничего примечательного не услышали ни от горожан, ни от приезжих. Впечатление было такое, что всем все давно известно, и о случившемся нет смысла говорить. Доносчики растерялись и избегали встречи с Повелителем. Опытный глава тайной службы встревожился: молчание толпы не предвещало ничего доброго. Он лично приглядывался к торгашам и купцам, тщетно стараясь узнать, что у них на уме, что скрывается в их бритых головах под мохнатыми шапками или засаленными чалмами, что означает сытая ухмылка под холеными черными усами. Он приказал усилить слежку за удачливыми торговцами не только на базаре и в лавках, но и на улицах, в переулках, возле их домов. На тесных улочках, на окраинах города слонялись толпами дервиши, нищие, бродяги, калеки. Шайка доносчиков увивалась вокруг купца, в доме которого обитал зодчий из Ор-тюбе, однако и от него ничего вразумительного не добилась. Тот по-прежнему хвастливо рассказывал о своих похождениях, о том, кого победил в острословии и чей перепел оказался самым воинственным. Лишь однажды этот купчишка проронил невзначай: «Отец молодого зодчего когда-то тоже подвергался гонениям, но умудрился избежать наказания и вернулся из чужбины через двадцать лет. На старости привел сюда сына, определил на стройку новой мечети и умер от чахотки. Посмотрите: и сын пойдет по его стопам. Дома у меня он оставил

немало добра. Когда-нибудь обязательно за ним вернется...» Начальник тайной службы не выпускал его из виду, подсылал к нему своих людей, те ловко втягивали неудержимого болтуна в спор острословов, подпаивали его, и купец, войдя в раж, плел обо всем на свете, но ни единым словом не заикнулся об отношениях между зодчим и юной ханшей.

Повелитель был тоже обескуражен. В осторожном молчании толпы таилось что-то подозрительное. В думах и предположениях он проводил бессонные ночи. Каким образом можно расшевелить эту неожиданно онемевшую толпу? Почему она так упорно молчит, будто проглотила язык? С утра до вечера ходил взад-вперед удрученный Повелитель по безмолвному залу. Казалось, он уже знал тут каждую пылинку и не на что было устремить усталый, блуждающий взгляд. Он вновь и вновь подходил к окну, и каждый раз съеживался, наливался досадой и злобой при виде голубого минарета, молчаливо злорадствовавшего над ним. Иногда, казалось, минарет снисходительно смеялся над потерявшим покой владыкой. А вместе с ним, чудилось, усмехалась многотысячная толпа, копошившаяся у его подножия. Конечно, каждый, кто обладал здравым рассудком, прекрасно понимал, над кем и над чем смеется непокорно-величавый минарет, а понимая, не в силах был подавить и собственную ехидную ухмылку. Значит, если он желает избавиться от преследующей его всюду злорадной усмешки, он должен первым долгом стереть с лица земли первопричину всех его невзгод — минарет. Тогда сам по себе оборвется торжествующий смех толпы.

Но даже облегчения не успел почувствовать Повелитель от этой, казалось бы, спасительной мысли. Он тут же подумал, что, своей рукой разрушая минарет, только подтвердит тот ужасный слух, который лишь начинает распространяться в народе. И тогда то, что сегодня воспринимается еще как догадка, сплетня или предположение, станет завтра в глазах толпы истиной, всегласно подтвержденной самим Повелителем.

Эта простая мысль так поразила его сейчас, что он в отчаянии схватился обеими руками за голову и, обессиленный, присел. Долго он так сидел, вконец убитый, раздавленный, и вдруг, осененный новой догадкой, встрепенулся, вскочил, и хищный блеск появился в его потухших, старческих глазах. Наконец-то он нашел, нашел верный,

желанный способ подавления мерзкой сплетни, вот-вот готовой сорваться с поганых губ толпы, в самом зародыше! Да, да, это единственный и самый лучший, самый надежный способ! Значит, так... Все, что связано с голубым минаретом, до мельчайших подробностей известно лишь одному человеку — главному зодчему. Слухи, кривотолки могут исходить только от него. Следовательно, с него-то и нужно начинать. Все внимание настороженно молчащей толпы необходимо ловко обратить на главного зодчего. Ведь, надо полагать, голубой минарет постоянно вызывает в его душе неприязнь и зависть. Уж кто-кто, а Повелитель совершенно точно знает, какой он, главный зодчий, завистник и как он ненавидит каждого, кто превосходит его талантом и мастерством. Значит, его и следует натравить на творение молодого соперника. Ему только намекни, и он один с кайлом в руке, как безумный, накинется на минарет. Вот тут-то и поймают на месте преступления. Услужливые холуи тут же распустят слух: «Главный зодчий в приступе черной зависти пытался разрушить голубой минарет. Он же тайком оклеветал юношу перед Повелителем, и по его вине молодой мастер понес незаслуженную кару». Потом Повелитель сам объявит народу о преступных помыслах и поступках главного зодчего и приговорит его к жестокому, но в высшей мере справедливому наказанию. Шумливая и доверчивая толпа будет на все лады склонять слух о соперничестве и взаимной неприязни двух талантливых ханских зодчих, и тогда сами по себе отомрут и забудутся все сплетни о мнимых прегрешениях юной ханши. А краса и гордость его столицы — минарет останется неприкосновенным.

Желание Повелителя расторопный начальник тайной службы исполнил за два дня.

Главного зодчего, закованного в кандалы, Повелитель даже не стал допрашивать. Только пристально и долго посмотрел на него, поседевшего и осунувшегося за одну ночь, и когда тот пытался было что-то сказать, приказал стражнику:

— Отрежьте поганый язык злому наветчику и заточите в подземелье. Пусть там сгниет!

На невинную жертву он глянул вслед с брезгливостью. Много предательств и коварства перевидел и пережил Повелитель на своем веку, и поэтому особенно презирал людей лживых, мелких и завистливых. Но в начальники

он неизменно выбирал таких. Особенно над людьми искусства, над одаренными ремесленниками, зодчими он непременно ставил человека грубого, вздорного, нетерпимого и завистливого. И в этом у Повелителя был свой тайный и верный расчет. Он ведь хотел, чтобы его столица была самой красивой и нарядной. Для этой цели он собирал самых именитых, прославленных мастеров-умельцев со всего света. А степень одаренности мастера точнее всего определяет не добрый, душевный человек, а злой завистник с мелкой душонкой. Значит, в этом случае разумно прислушиваться не к хвале доброго приятеля, а к хуле недоброжелателя. Ибо так уж устроен мир, что самый зоркий, меткий глаз у завистника, у неудачника. У таких поразительно чуткий нюх на талант. С таким же рвением и усердием они преследуют и чернят каждого, кто их превосходит хоть на золотник. Благодаря главному зодчему — тощему, пронырливому, плаксивому, занудливому мужичонке с прищуренными, бегающими глазами, с оттопыренными, каждый слух ловящими ушами, Повелителю удалось разыскать и подобрать дивных умельцев-чудодеев. Сам же он, будучи главным зодчим, ничего путного не совершил, ничего примечательного не построил, кроме мрачной и сырой тюрьмы под дворцом Правителя. Над входом в подземелье Повелитель приказал выбить на камне надпись: «Рано или поздно все равно очутишься под землей!» Пусть этот наветчик и завистник убедится в справедливости ханских слов и заживо сгниет в им же построенной тюрьме. И оттого, что заточил в подземелье этого холуя с завистливой душонкой, Повелитель испытал большее удовлетворение, нежели от недавнего наказания молодого зодчего.

V

Весть о том, что главный зодчий брошен в подземелье, всколыхнула столичный город, но тут же забылась. Так от случайной искры ярко вспыхивает и тут же превращается в пепел ворох сухого сена. Доносчики и соглядатаи, обрадовавшиеся было нежданно наступившей передышке, вновь понуро опустили головы. Забот стало еще больше, а из дворца старшей ханши не поступало никаких слухов. Повелитель хмуро вглядывался в каждого, кто переступал порог его тронного зала, подозрительно следил за каждым

шагом и жестом приближенных, допытывался, у кого что на душе. Всюду ему чувствовались подвохи, намеки, иносказания. Он выискивал их в яствах на низеньком, круглом столике, в постели, которую слуги обновляли каждый день, в одежде. Однако ничего достойного внимания не замечал. Все чинно, благопристойно, добропорядочно. И уже мерещилось ему, что все слуги, вся дворцовая челядь не только не догадывались о самой затаенной его тайне, но и знали все, что творилось у него в душе, и теперь только и заботились о том, чтобы ненароком не возбуждать в нем новых подозрений и сомнений. И даже доносчики, целыми днями, точно псы, рыскающие по городу, наверняка щадили его и скрывали всячески правду, утешая его, как неразумное дитя, лживыми и льстивыми словами. И ведь, в самом деле, разве осмелятся они сказать подлинную правду в глаза Повелителю? Разве страх за собственную шкуру не сковывает их язык? Значит, нужно полагать, все, что мелят они здесь, валяясь у его ног, не что иное, как наглая, трусливая ложь.

Жители столичного города давно уже поняли тайну голубого минарета. Да и растолковали ее на всякие лады. Они, конечно, хорошо знают, почему подвергнут жестокому наказанию юноша-мастер и по какой причине вдруг заточен в тюрьму главный зодчий. Более того, им ведомо, с какой стати, вернувшись из похода, Повелитель не отлучается из дворца юной ханши. Он ведь вышел из того возраста, когда никак не могут насытиться ласками жены. И, надо полагать, не любовью занят стареющий властелин. А не показывается он на глаза людей потому, что гложет его стыд и нечиста совесть.

От этих откровенных, уничижительных дум Повелителю становится не по себе. Он вскакивает, точно кто-то больно ущипнул его в бок. Часами бродит он, сутулясь, по залу, потом отправляется в сад. Но и в безлюдном саду он не находит себе места. Тысячи глаз неотступно преследуют его, злорадно улыбаются из-за кустов. Неуютно на сердце, тягостно.

Простые человеческие желания, прихоти и страсти ему чужды. Что бы он ни делал, он непременно должен удивлять и поражать людей. Если он будет делать и говорить то, что делает и говорит простой люд, он мгновенно окажется посмешищем в глазах праздной толпы. Те, кто его так усердно возвеличивал, возносил до небес и падал пе-

ред ним ниц прахом, не простят ему развенчания ими же созданной легенды и начнут злорадствовать над ним и проклинать его с пеной у рта. Ибо черный сброд, именуемый народом, не желает признаваться в своей глупости и нещадно мстит кумирам, не оправдавшим его доверие. Толпа издревле нуждалась в идоле. И вера ее — идолопоклонство.

И кто знает: не клянут ли его люди уже теперь, не злословит ли над ним уже сейчас каждый встречный-поперечный?! Может, уже хохочут до коликов в животах над грозным Повелителем, который еще недавно покорял иноземных правителей, сотрясал короны и свергал троны, а теперь, состарившись, не может, да, да, просто не может справиться с молодой бабенкой, изнывающей от низменной похоти, жаждущей крепких мужских объятий, не в силах унять зуд вожделения в ее чреслах, и потому забился в угол, словно трусливый, шелудивый пес. Разве болтливая толпа удержится от соблазна позлословить над всемогущим властелином, который вместо того, чтобы, подобно настоящему мужчине, открыто схлестнуться с удачливым соперником и отомстить обидчику, прибегает к подлым приемам и тайным козням? Вот уж почешет языки черный люд по поводу того, что-де после бога самый великий среди бессмертных оказался самым ничтожным среди смертных. Эх, услышать бы только собственными ушами эту подлую болтовню. Увидеть бы собственными глазами, как, рассказывая о нем, веселятся, ёрничают, по ляжкам себя похлопывают неуемные трепачи. Увидеть и услышать, как и что о тебе говорят — проще и легче, чем терзаться собственными сомнениями. Чем больше он старается заткнуть глотку праздной толпе, тем заметнее разрастается грязная сплетня о нем. Выходит, хорониться от чужих глаз, забиваться трусливо в своем дворце — просто бессмысленно и глупо. Да, да, совершенно очевидно: лежать Повелителю в сумрачном зале, подобно старому медведю в берлоге, не делает ему чести. Нужно во что бы то ни стало вырваться из самовольного заточения, разорвав гнилые путы сомнения и подозрения. И пусть толпа говорит о нем, что и как ей заблагорассудится. Бывая на людях, он хотя бы по глазам их определит то, что не посмеют высказать словами.

Возвратились бы сейчас старые добрые времена! О, он закатил бы пир назло глумливой толпе. Напоил бы всех

до умопомрачения, развязал бы языки, вдоволь наслушался бы пьяной болтовни. Но сейчас нет никакого основания для такого торжества. Повелителю неизвестно настроение не только жителей его столицы, но даже единокровных сородичей и предводителей войска, правителей-эмиров. Кто знает, что у них на душе? А не зная этого, разве разумно собирать всех на пир? Поразительно несуразно все получилось. Построенный в его честь голубой минарет обернулся для него злом. Связал его по рукам-ногам, сковал волю. Но почему Повелитель сам себя так изводит? Разве он не грозный владыка, железной рукой взнуздавший мир? Что ему стоит собрать всех, кого он считает нужным, и прямо заглянуть им в глаза?! Нельзя до скончания дней отсиживаться за каменной стеной. Пора ведь взять себя в руки, встрепенуться назло младшей ханше, этой гадюке, пригревшейся на его груди, назло старшей жене и ее чванливой свите, не спускающим с нее глаз. Ему, Повелителю, ведь под силу неожиданным поступком своим еще раз удивить и черный люд, и спесивую знать, привыкших с разинутыми ртами ловить каждое слово его. По крайней мере, он узнает все, о чем говорят и что думают разномастные холуи, толпами увивающиеся вокруг.

На другой день Повелитель вызвал старшего визиря. Тот боязливо протиснулся в дверь и даже не оторвал от пола огромных, выпуклых глаз, способных одним взглядом охватить все. С подчеркнутой учтивостью выслушал старший визирь наказ Повелителя и, низко поклонившись, выскользнул из зала. Трусливая повадка старой лисы настораживала. Неужели оправдываются его подозрения? Неужели и впрямь все придворные догадываются о том, что творится на душе Повелителя? Почему пройдоха-визирь прячет глаза и норовит скорее удалиться? Отчего тень ужаса на холеном лоснящемся лице? Может, боится участи главного зодчего? Может, опасается расплаты за то, что осмелился построить в отсутствии властелина уродину-башню? Не исключено! Ах, зря он его так скоро отпустил. Немногие способны устоять перед его молчаливым гневом. Немногие выдерживают его испытывающий взгляд. Повелителю захотелось вновь увидеть старшего визиря. Увидеть скорее и других придворных слуг, детей, наместников и военачальников. Интересно, как они себя поведут при встрече с глазу на глаз? Может, тоже начнут ёрзать,

отводить взгляд, юлить, прятать голову? Если так, значит, и они что-то знают, утаивают...

Еще несколько дней спустя великий Повелитель соизволил выехать на охоту. Целый караван — наездники-коневоды, лучники-охотники, барабанщики, повара, слуги, личная охрана, свита, конюшие, опытные псари с гончими, борзыми, волкодавами на сворках — медленно выступил из города и направился в сторону гор, смутно голубевших вдали в зыбком мареве. Лишь через день караван остановился на привал. Среди хребтов и зубчатых скал, на берегу бурлящей горной реки, в глухих нетронутых зарослях дворцовая челядь быстро раскинула шатры для военачальников и правителей. Здесь, высоко в горах, в непроходимых лесах, богатых зверем и дичью, предстояла пышная ханская охота.

Многолюдный красочный караван, поджарые легконогие скакуны, чинный торжественный ряд обвешанных всеми видами оружия охотников, сладкое предвкушение удачи и забавы — все это живо напомнило Повелителю былую безмятежную, полную соблазнов и очарования жизнь. Горы и заросли заметно гасили нещадный зной в долине.

В день прибытия затеяли грандиозный пир. Вино лилось рекой. Все были возбуждены, говорили и кричали наперебой, но чуткий слух Повелителя не уловил ничего крамольного или примечательного. Дружно и на все лады обсуждали предстоящую утеху. Хвалили лошадей. Хвалили собак. Хвалили ловчих птиц. Хвалили друг друга и самих себя. Рассказывали охотничьи байки. Выхвалялись меткостью, удачливостью, сметливостью. И, слушая эту привычную бестолковую болтовню, Повелитель даже не знал, радоваться ему или огорчаться. Казалось, все лукавят, разыгрывают его, ловко обводят вокруг пальца, и он поневоле опять насупил брови. Ночь на привале он провел без сна. Вокруг, в шатрах, после вчерашней оргии спали беспробудным сном. Безмятежная тишь нависла над миром. Разморенная летняя ночь навевала сладостную дрему. Чистый горный воздух ласкал хмелем объятое тело. Где-то в сознании бодрствовало предчувствие радостной утренней предохотничьей суеты. Разве может быть большей услады для души? Из соседних шатров доносился причудливый храп.

Такая жизнь и вот такие ночи были издавна особенно

по душе Повелителю. Каждый из этих мужчин, с оружием в руках покорно следующих за ним хоть на край света, возвращаясь в столичный город или в кишлаки, в приземистые глиняные домики на тесных пыльных улочках, превращается в опасность для него, в страх или — на худой конец — в заурядного трепача, охотно распространяющего небылицы и сплетни о всесильном владыке. А в походе, когда они рядом с ним, каждый смотрит ему в рот, каждый послушен и покорен и старается непременно угодить. В такие мгновения ему чудится иногда, что все они — единокровные потомки: сыновья, дети, внуки и правнуки, будто бесчисленные ветви и побеги от одного могучего ствола. Стоит им только хоть на один шаг удалиться от мирной жизни, как они поневоле тянутся к нему, точно несмышленыши — к родному отцу, ища у него опору и поддержку. Вот и сейчас, глубокой лунной ночью, среди хмурых скал, в окружении непролазных зарослей, они предаются безмятежному сну, словно сорванцы-внуки, доверчиво прильнувшие к доброму и надежному дедушке. Как бы желая перекрыть их дружный, многоголосый храп, громыхает, гудит, ворочает камни норовистая горная река у подножия хребтов. Чуткий слух Повелителя улавливает каждый звук, каждый шорох за тонкой шелковой завесой шатра. Знакомые, приятные ночные картины. Ни одного резкого вскрика, ни чуждого вопля, от которых немеет душа. И все же не спится... Не идет сон, хоть плачь. Возле дальнего привала беспокойно поскуливают гончие собаки: может, чуят звериные запахи? И за шатром кто-то едва слышно копошится, шебуршит; что-то вроде похрустывает, потрескивает. Должно быть, мелкая ползучая тварь приступила к своим ночным заботам. Вдалеке тонко вызванивают, стрекочат цикады. Все так просто, привычно, однако, сколько причудливого, загадочного, непостижимого в этом мире!

Удушливый туман, словно чадом обложивший душу, несколько развеялся, поредел, но полная желания ясность на сердце не наступала. Блаженная сонливость и тяжесть растекались по телу, но дух бодрствовал. Он испытывал странное желание незаметно раствориться в ночной мгле, слиться с разморенной тишью. Как хотелось ему сейчас разом забыть и про трон, и про корону, и про золотистый ханский шатер над головой и упасть в ласковые объятия изнеженной природы. Если бы он мог, как эти невидимые

мелкие твари за шатром, жить незаметной, неприметной жизнью, в собственное удовольствие, лишенной суеты, обязательств и треволнений! Стать бы простым смертным, до которого никому нет дела, которому неведомы ни людская зависть, ни вражьи козни, или пусть даже — ничтожной тварью под ногами, лишь бы избавиться от необходимости быть постоянно на глазах, на виду у всех, точно бородавка на лице. Эх, выскользнуть бы сейчас незаметно из шатра и нырнуть в заросли! Какой бы завтра начался переполох, когда вдруг бесследно исчез бы Повелитель, исчез, даже не оставив останков на земле! Сколько бы родилось диковинных легенд о его таинственном исчезновении! А он, отсиживаясь в каком-нибудь укромном уголке, недоступном человеческому взору, усмехался бы в усы, злорадствуя над бездонной людской глупостью...

Повелитель понимал всю нелепость своих неосуществимых мечтаний, но все же ему было приятно об этом думать. Смешно... Многочисленные стражники, расставленные в два круга — вокруг шатра и всего лагеря, не то что хана — муху мимо не пропустят.

Повелитель в который раз подумал о том, что им же насажденные железный порядок и традиции ременными путами связали его самого по рукам и ногам. И, вспомнив об этом, он почувствовал горький осадок в груди.

Вокруг стояла, однако, истомленная негой дивная ночь, сулившая отдохновение и усладу для души и тела, и Повелитель с досадой отмахнулся от недобрых предчувствий. Усилием воли он вновь направил расстраивавшийся было настрой души по едва заметной тропинке, обещавшей впереди желанное пристанище для измученной души, похожее на райский уголок. Эта тропинка незаметно уводила его все дальше и дальше от безмятежно храпевшей перед завтрашней охотой свиты, от суетной земной жизни, где происходит вечная борьба между добром и злом, отчаянием и надеждой. И, казалось, дух его отдаляется от грешной земли, от опостылевшей возни среди людишек и никогда, никогда уже не будет возврата.

Уже далеко позади остался проклятый край, край вечной печали и скорби, и Повелитель, освобожденный от тяжести короны, от пышных, золотом вышитых одежд, испытывал удивительную легкость. Даже почудилось ему, что он закутан в ихрам — в два куска несшитой белой ткани; облачившись в ихрам, как в смертный саван, истые право-

верные совершают паломничество в священную Мекку. Вот он идет, шлепая босыми ногами по белесому пухляку. Вокруг простирается незнакомая местность. Среди древних, скудных гор, разрушенных зноем и ветрами, виднеется небольшой городок. К нему со всех сторон длинной вереницей идет, тянется паломнический караван. За пилигримами, еле волоча ноги, плетется и Повелитель. От бесконечного выкрикивания каких-то молитвенных слов в горле его пересохло. Он давно охрип, и как бы ни надрывался, не слышит собственного голоса, только губами пересохшими шевелит. Впереди возвышается длинный бурый увал. Толпа устремляется к нему. Лишь после полудня удалось одолеть его склоны. На вершину увала поднялся на поджаром беговом арабском верблюде, покрытом дорогим ковром, старец в огромной белой чалме. Восседая в пышном седле, он раскрыл лежавшую на коленях тяжелую книгу и начал читать врастяжку величаво-скорбным голосом. Изредка голос его обрывался, и тогда короткую тишину оглашали нестройные вопли толпы.

— О, всеблагий, всемогущий! Покоряемся воле твоей. Припадаем ниц к стопам твоим!

И при этом паломники приподнимали край ихрама и потряхивали им.

Бесчисленно раз слышал Повелитель эту смиренную мольбу из уст других, но сам никогда не произносил подобных слов. Он с трудом ворочал языком, долго шевелил губами, приноравливаясь к хору страждущих, по лицам которых текли слезы. Повелитель при всем своем старании так и не сумел выжать ни одной слезинки. Лицо его оставалось суровым и непроницаемым. Чтобы никто из усердно вопящих вокруг не обратил на него внимания, он также гнусаво выпевал молитвенные слова и, смежив веки, низко опустил голову. Старец на верблюде закрыл священную книгу и благоговейно сложил ладони перед лицом. Паломники опустились на колени. Потом, когда благословение было окончено и многоголосое протяжное «Ами-и-инь!» прокатилось по увалу, бесчисленная толпа ринулась в долину. И Повелитель послушно потрусил вниз. Дыхание теснило грудь, сердце трепетало, пот струился с него ручьями, но он старался изо всех сил, чтобы не отстать от других. Там, у подножия увала, их оглушили протяжные гнусавые звуки, будто вразнобой затрубили медные трубы. На небе ярко вспыхивали огни. Еще днем, поднимаясь на вершину

увала, Повелитель увидел в долине множество деревянных минаретов. Теперь они разом запылали, точно гигантские свечи. По ущельям, излучинам между островерхими холмами и курганами замелькали-заплясали багровые языки пламени. Разноцветные шатры, тесно расположившиеся на равнине, отбрасывали при ночном зареве жутковатый отблеск. Здесь, в безумной толчее, в человеческой коловерти, охваченной пожаром, Повелитель бродил, шатался до утра. Наутро старец на белом скаковом верблюде вновь читал молитву. И, сотворив утренний намаз на вершине увала, паломники опять спустились в долину. На пути их, прямо посередь дороги, встретился черный каменный столб, в который каждый швырнул семь черных камушков величиной с зерно кукурузы. В центре плоской равнины возвышался еще один каменный столб. В него тоже кинули по семь маленьких камушков. Наконец толпа наткнулась на глухую стену, сложенную из грубых, неотесанных булыжников. И еще раз по семь камушков бросили в нее паломники. Теперь они направились к продолговатым земляным печкам, над которыми громоздились громадные котлы. Возле котлов озабоченно суетились мясники и, сверкая длинными острыми ножами, разделывали туши жертвенного скота. Здесь же — неизвестно откуда взялись — толпились наглые попрошайки, назойливые побирушки, страшные нищие в лохмотьях. Паломники, одетые в священный ихрам, отошли в сторону. Здесь на их склоненные головы какие-то люди лили теплую воду из высоких кувшинов с узким, гнутым горлышком. Повелитель тоже припал на колени, покорно опустил голову. Он чувствовал, как от теплой водички кожа на макушке стала мягкой, податливой. Чернявый, сухопарый мужчина ловко вытащил из ножен стальное лезвие и привычными, заученными движениями в два счета обрил его, потом принялся стричь ногти на руках и ногах. Закончив свое дело, чернявый связал в отдельные узелочки волосы и ногти и закопал их в одну ямку.

С земляных печей сняли казаны. Перед паломниками, усевшимися в длинные, тесные ряды, поставили большие деревянные подносы с кусками дымящегося мяса. После обильной трапезы паломники весь день отдыхали в своих шатрах в полотняном лагере. А еще через день спозаранок направились на священный город, лежавший в долине. Добрели к обеду. Перед ними находилась Кааба — мусуль-

манский храм, в стене которого был вделан черный камень, задернутый новым черным покрывалом из Египта. Паломники остановились возле Каабы — десницы аллаха на земле. Служитель храма с треском разорвал старое черное покрывало на клочья и раздал их паломникам, как священный талисман, приносящий праведникам радость и благо. Чуть вдали белело мраморное возвышение — минбар, с которого мусульманский проповедник-кади наставляет правоверных на путь истины. Над источником Земзем возвышался небольшой купол. Как и все, Повелитель сложил ладони перед лицом и помолился. Потом со всеми подошел к черному камню. От прикосновения губ и рук паломников поверхность его казалась отполированной. Нижняя же часть была еще шершавой, со множеством мелких ржавых вкраплений. Паломники один за другим благоговейно прикладывались к священному камню, но стоило Повелителю наклониться к нему, как камень, точно живой, отстранялся от него, ускользал то в одну, то в другую сторону. Тогда Повелитель протянул к нему руки, но опять не дотянулся. Огромная толпа, выстроившаяся за ним, в нетерпении оттеснила его от камня. Повелитель повел-задергал плечами и легкой трусцой — как это предусматривается ритуалом — трижды обежал Каабу. После каждого круга он наклонялся к камню, чтобы прикоснуться к нему губами, но камень всякий раз ускользал от него. Повелитель, недоумевая, перешел на шаг, еще несколько раз обошел Каабу, каждый раз пытаясь поцеловать камень, но тщетно. Другие паломники или дотягивались до него губами, или прикасались хотя бы руками, а от Повелителя камень увертывался, как от прокаженного.

Вместе со всеми он поклонился могиле пророка Ибрагима, построившего священный храм — Каабу. Пил чудодейственную воду из священного источника Земзем. Вода оказалась невкусной, солоноватой. От нее неприятно пощипывало в горле.

От Каабы толпа направилась к двум горам-близнецам, протянувшимся рядом,— Саф и Мару. Послушно семенил среди паломников и Повелитель. Как наваждение, преследовало его жуткое видение: ускользая, мельтешил перед глазами черный камень. С того дня, как Повелитель впервые облачился в ихрам и посетил священные места пророка, он рьяно исполнял все предписания праведникам, отрекшимся от мирской суеты и житейских соблазнов. Он не

пропускал ни одного намаза: вовремя совершал очистительные омовения, соблюдал пост; коротко стриг ногти и красил их хной; тело умащивал благовониями, истребляющими всякую нечисть сатаны греха Иблиса; на священный жертвенник привел белого верблюда. Вокруг Каабы захоронены останки более ста святых, и Повелитель поклонился каждой гробнице; ни одного святого чудотворца не обошел подаянием. Укрыв свое бренное тело ихрамом, он не осквернил уста плодом с кроваво-багровым соком, не глядел на свое отражение, отрекся от мирских забот, не позволял себе думать о греховном, подавлял желания грешной плоти, не вступал в преступную связь с женщиной не только наяву, но и во сне. И теперь, когда он надеялся за все свои благочестивые деяния удостоиться желанного имени хаджи и покрыть голову высокой белоснежной чалмой, священный камень Каабы упорно отворачивается от него. За какие грехи выпало на его долю такое унижение? Разве не говаривали, что тому, кто хоть раз ступил босыми ногами на священную землю пророка, прошел через все испытания плоти, очистил душу, припав губами к черному камню Каабы, прощаются навсегда все большие и малые прегрешения? Почему божественная вода Земзем обжигает ему пищевод, будто щелочь?

Идет-бредет толпа паломников, шлепая босыми ступнями по пухлой пыли. Задыхаясь и обливаясь потом, спешит за ней Повелитель. А перед глазами неотступно стоит черный камень Каабы. Не стоит даже, а крутится, вращается, будто гончарный круг, катится перед ним. И как бы ни старался Повелитель — догнать не мог.

Паломники добрели до низины между горами Саф и Мару, которые когда-то жена Ибрагима Агорь обежала семь раз в поисках воды для единственного сына Измаила. Бежит, бежит трусцой вконец обессиленный Повелитель, вопит, выкрикивает молитвенные слова: «О, всеблагий, всемогущий! Готов исполнить любую твою волю. Только не откажи в своей милости. Будь так же великодушен ко мне, как к другим верным твоим рабам...» Впервые в жизни срываются с его губ такие жалостливые, покаянные слова. Но, видно, не доходит его жаркая молитва до всевышнего. Крутится, катится впереди священный камень Каабы, и нет никакой мочи догнать его. Напрягая горло, он кричит протяжно, долго, в отчаянии: «О, аллах!.. Внемли мольбе раба своего! О, алла-а-ах!..»

Повелитель проснулся. В ушах еще отдаленно звенел надсадный крик. Сквозь шелковый шатер проникал бледный свет. Видно, заря занялась уже давно. Снаружи доносились приглушенные голоса. Повелитель звякнул колокольчиком. В шатер тотчас вошел слуга, держа на вытянутых руках легкую охотничью одежду. Повелитель быстро оделся, вышел. Солнце уже поднялось на длину конских пут. Лошади были оседланы. Гончие, борзые, волкодавы нетерпеливо поскуливали, прыгали на сворках. На кожаных рукавицах сокольников, нахохлившись, сидели в колпаках ловчие птицы-беркуты, соколы, ястребы, пустельги. Их звонкий, резкий клекот вспарывал утреннюю тишь. Вдали в прозрачной сини ослепительно сверкали снежные вершины гор. Внизу, у подножия, монотонно рокотала речка. Без умолку щебетали, заливались на все лады бесчисленные птахи на деревьях, словно понимая, что им-то не представляют никакой опасности эти вооруженные люди с собаками и хищными прирученными птицами. А зверь в лесу будто затаился, ушел. Повелитель скосил взгляд на знать, выстроившуюся рядком поодаль. Она мгновенно согнулась в учтивом поклоне. Повелитель сдержанно кивнул в ответ и сел на коня, которого держали под уздцы с двух сторон два коневода. Набросил на плечо лук, приторочил колчан со стрелами. И свита, и челядь поспешно взобрались в седла. Оглушительный, грубый рык керная разом разорвал в клочья прозрачную утреннюю тишину, дремуче нависшую над горами.

Первыми выступили выжлятники и доезжачие с кернаями и барабанами. Разделившись на группы, они направились к оврагам, буеракам и ущельям, утонувшим в густых зарослях. Они должны вспугнуть зверя, выгнать его из засады на простор, на открытую поляну, туда, где томятся в предвкушении забавы Повелитель и его свита. Поодаль от них плотным кругом расположились охранники, оберегающие Повелителя от случайной напасти.

На месте стоянки остались слуги и несколько охранников, остальные отправились на охоту. Выжлятники едва ли не с вершин, откуда начинались ущелья и ложбины, травили зверя, выгоняя его из зарослей в открытую долину, где устроила засаду знатная свита Повелителя. Повара между тем с раннего утра копали продолговатые ямы, сооружали земляные печи, устанавливали котлы, заготавливали впрок топку.

Повелитель хмуро молчал. Ни словом не обмолвилась и свита. Раньше Повелителю нравилось, когда все вокруг угодливо пожирали его глазами, предугадывая каждое его желание, каждый каприз. А сейчас любой случайный взгляд впивался в него колючкой. Уж не жалость ли сквозит в этих скользких взглядах? И не унизительна ли эта жалость для всемогущего Повелителя? Отчего все вокруг так серьезны и молчаливы? Неужели все понимают, какой червь гложет его сердце? Бывало, прежде на охоте всех охватывало такое возбуждение, что на месте не могли стоять. А теперь все непроницаемо спокойны, точно истуканы. Да что там раньше? Вчера, да, да, вчера еще горланили, шумели за дастарханом. Сегодня же затаились, языки прикусили, выжидают. Может, услышали, как он кричал-вопил во сне? Если так, то они, разумеется, догадываются о его состоянии. Любопытно, как они объясняют горячую мольбу своего Повелителя, униженно взывавшего во сне к аллаху? Должно быть, все сейчас только и думают о том, какая же душевная боль заставила Повелителя выказать тайну во сне, которую он так тщательно скрывает наяву? Возможно, они радуются про себя, считая, что их давнишние смутные подозрения оправдались? Если бы до этого они пребывали в полном неведении, то вели бы себя сейчас совсем по-иному. Они просто не заметили бы каких-то перемен в душевном настрое своего господина, не придавали бы им значения. Исподтишка, пытливо вглядывался Повелитель в своих нукеров, однако, ничего, кроме крайней осторожности, желания незаметно улизнуть и фальшивого подобрастия, он не прочел в их окаменевших лицах. Иные чутко прислушивались к порсканию выжлятников, доносившемуся из дальних ущелий и буераков.

Когда Повелитель со свитой спустились в открытую долину, высоко в горах затрубили кернаи, дробно забили охотничьи барабаны. Могучее эхо прокатилось по ущельям. С грохотом посыпались камни, гулко зацокали копыта. Все разволновались, насторожились. Один Повелитель не шелохнулся. Лай собак стремительно приближался. Нукеры, обеспокоенно взглядывали на своего господина, с трудом сдерживали возбужденных коней. Повелитель и бровью не повел. Лишь когда гул, треск, грохот докатились до прибрежных зарослей, он едва заметно кивнул старшему визирю.

Многочисленная свита, отъехав на почтительное рас-

стояние от Повелителя, вдруг завопила во всю мощь глоток и с улюлюканием поскакала к оврагу. За нею, стремглав, понеслись дворцовые охотники. Еще несколько десятков всадников в одно мгновение нырнули в дикие заросли по обе стороны горной реки. Избавившись от тягостной опеки свиты и дворовой челяди, Повелитель не помчался в сторону долины, где разгоралась охота и все неожиданно смешалось, а свернул к маленькому, незаметному притоку на дне каменистого оврага. Здесь была укромная излучина, заросшая осокой и камышом. У ручья Повелитель спешился. Спешились и нукеры, толпясь полукругом. Никто не решился последовать за господином, направившимся к родничку в густых камышах. Он подошел к серому валуну у родника. Сел. Наклонившись, зачерпнул ладонью прозрачной студеной водицы, ополоснул руки, лицо. Потом снял с плеч лук, положил рядом. Расслабил пояс, прилег. Давно уже, находясь за пределами дворца, он не оставался наедине с самим собой. С утра сегодня никого не хотелось ему видеть. Пусть эти словоблуды болтают о нем за глаза что хотят, лишь бы не толпились рядом и не смотрели ему угодливо в рот. Иначе, ловя каждое движение на их лицах, он вконец изведет сам себя.

В густом разнотравье утонула окрестность. Утренняя роса на верхушках осоки не успела еще высохнуть. Зубчатые вершины скал, виднеющиеся из-за камыша, сверкали свежестью, словно чья-то колдовская рука смыла их ночью. Из-за мыса подул прохладный ветерок. Однако он не мог развеять тягостную духоту в груди. Вновь вспомнился предутренний сон. Здешние суровые снежные вершины совсем не походили на невзрачные, точно выжженные холмистые горы Арафа и Муздалиф, Саф и Мару, а сочные травянистые луга между ущелий, где в этот миг толпы охотников неистово гнались за зверем, — на пыльную, опаленную долину Мина, по которой он во сне бродил с паломниками. Но нещадный зной пустыни, удушливая пыль, прогорклый запах гари, приснившиеся сегодня на заре, преследовали его и наяву. Он поражался тому, как живо запечатлелся в сознании неведомый ему далекий край. Или, может, в нем ожили воспоминания духовника, не однажды совершавшего паломничества в священную Мекку? С какой стати приснилась ему вообще обитель пророка за тридевять земель? А возможно, то дух предков наставляет его исподволь на путь истины? Может, и впрямь совер-

шить ему хадж? Разве мало было на свете владык, раскаявшихся к концу жизни? Они отправлялись в Мекку, прикладывались к священному камню Каабы, сменяли корону на простую чалму, а золотой скипетр — на суковатый посох и нищими дервишами скитались по земле. Что их заставляло отрекаться от былой славы и могущества? Может, те же душевные муки, терзания и сомнения? Но почему во сне священный черный камень не подпустил его к себе? Неужели из живущих на земле у него, Повелителя, больше всего грехов? Неужели он единственный не достоин прощения? Но разве не в священных писаниях говорится, что коронованные владыки — золотая опора всевышнего на земле? Неужели всевышний способен обрушить гнев свой на свою же золотую опору? Или он просто дал знак, что не место ему, Повелителю, среди толпы паломников и всяких нищебродов? В таком случае, почему он уготовил ему судьбу, достойную каждого встречного-поперечного? Почему обрек на душевные терзания и муки простого смертного? Разве есть на свете большее унижение, нежели коварство блудливой женщины? Много гонений и тяжких испытаний пришлось ему изведать на своем пути, не однажды находился на грани отчаяния и корчился от боли, будто испил отравы, но никогда так не ныла измытаренная душа, как сейчас. То были испытания судьбы, когда жизнь мужчины висит на волоске, но всегда есть шанс отстоять свою честь с острым клинком в руке. А теперь честь оказалась посрамленной и верный клинок — бессильным. Так зачем всевышний навлек ему на голову такой позор? Чем уж он так провинился перед ним? Разве тем, что так усердно оберегал достоинство трона и короны, которыми облагодетельствовал его сам всевышний? Или виноват он в том, что безжалостно карал погрязших в блуде и грехе и с помощью огня и меча водрузил над иноверцами зеленое знамя пророка? Разве не во имя аллаха творил он жестокость? Разве не во имя черной толпы проявлял он твердость духа, поражая своими деяниями ее темное сознание, дабы она всегда помнила о величии аллаха, его сподвижников и о собственном ничтожестве? Он ведь всю жизнь избегал легких понятий, упрощенных определений, приблизительных, зыбких измерений, столь приятных и удобных для ничтожной толпы, для рабов похоти и подлых страстишек. А может, в этом и заключается его вина — в том, что он всегда стремился думать о том, что не приходит на ум

другим и делать то, что не под силу остальным? Может, это кощунство? Возможно. Но его высокие порывы и благие намерения никак не могут быть отнесены к низменным согрешениям, доступным любому презренному ничтожеству. Разве и в основе кощунства не лежит корысть и алчность, побуждающие к распутству? Не только безграничная власть, излишняя жестокость, но и неуместная доброта и щедрость — грех. А отец любого греха — чрезмерное вожделение, родная мать — ненасытная страсть. У тщеславия, сладострастия, властолюбия один и тот же корень. В сущности, отчаянный конокрад мало чем отличается от заурядной грязной шлюхи, чья постель никогда не пустует. Так же, как и упивающийся своей неограниченной властью владыка — от знатной куртизанки, блюдящей выгоду в соблазнах своих пышных чресел.

Приходится признать горькую истину: его всемогущество, безраздельная власть, слава и честь так же призрачны, мимолетны и обманчивы, как и румянец на лице смазливой и похотливой бабенки, или как добро купчишки-крохобора. Это, конечно, так. Но вот что вызывает недоумение: священный камень Каабы, приснившийся ему во сне, не шелохнулся, когда касались его губами отъявленные грешники, на совести которых не одна подлость, а его, Повелителя, верного слугу аллаха, черный камень упорно не подпускал к себе. Может, зоркий глаз всевышнего подметил высокомерие и чванливость в душе Повелителя? Может, проявление надменности к себе подобным и есть тот грех, который всеблагий ему не прощает? Значит, в том, что священный камень Каабы не подпускает его к себе, скрывается злорадный намек: мол, коли ты, коронованный всемогущий владыка, настолько вознесся и возгордился, что не желаешь признать даже своего зачатия в грехе, и рождения от длиннополой, низкородной бабы, как и все другие двуногие на земле, то какого дьявола ты притащился сюда, в обитель святого духа, где грешникам, осознавшим сердцем и умом свой грех, предоставляется возможность для покаяния?! В таком случае какое утешение для души находят былые всесильные владыки, сменяющие на старости лет по собственной воле золотой трон на лохмотья бродяги-дервиша? Видимо, они заботятся не столько об отпущении грехов, как все остальные обыкновенные смертные, сколько о том, чтобы не стать посмешищем в глазах толпы, когда былая сила оборачивается стар-

ческой немощью, а грозные речи — жалким лепетом. Ведь, как известно, грехи ничтожного смертного одинаково охотно прощают и те, кто стоит выше, и те, кто находится ниже. Если ты стоишь чуть выше, он припадает к твоим ногам, целует подол твоего чапана и угодливо бормочет: «Слушаю, мой господин!» Если же вдруг, наказанный судьбой, ты оказываешься ниже его, он непременно проявит тошнотворное милосердие: «Бедняга! Горемыка! До чего он докатился?!» Не дай бог быть с простым смертным на равных. Этого он не простит. И, должно быть, всемогущие владыки, хорошо знающие повадки толпы, чувствуя, что судьба отворачивается от них, поспешно облачаются в рвань дервиша вовсе не потому, что в них вдруг проснулись раскаяние и потребность замолить грехи, а потому, что таким образом надеются спастись от злорадствующего взора. В самом деле, есть, вероятно, только один путь избавления от осуждающего, презирающего, унижающего и злорадствующего взора черной толпы, который еще никогда и никому не удавалось угодить, отрекаться от короны и трона, совершить паломничество в святую Мекку, изнурять плоть и дух и с посохом в руке и с котомкой за плечом в бродяжничестве провести остаток бренной жизни. Только тогда злорадство и месть, годами накопившиеся в черной утробе толпы, обернутся неожиданно жалостью, а во взгляде, недобром, подозрительном, мелькнет сострадание. И это означает, что ты стал неприметным нищебродом, не вызывающим ни у кого зависти и злорадства. И душа твоя уже не корчится от обиды унижения, от боли, от того, что какой-то смазливый проходимец осрамил твое достоинство и честь. Да и нет отныне никому дела до того, что творится в твоем сердце и какой чадный огонь опаляет твою душу.

Повелитель почувствовал зависть к тем, кто может себе позволить жить незаметной, неприметной жизнью. Сон, который приснился ему на заре, был наверняка знамением судьбы, зовом духа предков. Он вспомнил: нынче ночью зародился двенадцатый месяц лунного календаря — зу-л-хиддже — пора ежегодных мекканских празднеств. Повелителю не терпелось скорее встретиться с духовником, чтобы тот растолковал ему зоревой сон. Надо немедля прекратить эту шумную возню и возвратиться в столицу. Сейчас, как только выберется из буерака, он прикажет кернайщику протрубить отход.

Он только теперь почувствовал, что больно отлежал бок на корявом камне, и повернулся было на другую сторону, как из густых камышовых зарослей — почти рядом — донесся оглушительный треск. Кто-то надвигался, безжалостно сминая камыш и валежник. Повелитель чуть пошевельнулся, и треск в зарослях оборвался мгновенно. Повелитель насторожился, встал. Ему почудилось что-то огромное полосатое в камышах. В тот же миг о н о, уже не таясь, медленно и неумолимо двинулось навстречу. Т и г р!.. Подкрадывался он упруго, по-кошачьи, пружиня огромное, ловкое тело. Холодная дрожь прокатилась по спине Повелителя, но тут же исчезла. Странно: страха не было. Рука даже не потянулась к луку, лежащему рядом.

Промелькнуло: ах, вот оно что означал его предутренний сон! Вот почему, оказывается, священный черный камень увертывался от него! Просто это был знак скорой гибели. То-то же! Не должен же он, Повелитель, избранник и баловень судьбы, умереть заурядной смертью, как все ничтожные людишки на земле. Бог милостив: хану — ханская смерть.

Тигр был близок. Повелитель с тайной радостью и нетерпением ждал свою счастливую смерть, избавляющую его разом от всех душевных мук и глухой безнадежной тоски. Сейчас... сейчас... вот в следующий миг он, наконец, навсегда, навсегда избавится от удушливой горечи, железным обручем сковавшей ему сердце. И никогда, никогда нигде уже не будут преследовать его жадные, любопытные, осуждающие, трусливые и одновременно злорадные взоры презренной толпы. И заткнутся песком вонючие рты, охотно извергающие грязные сплетни. А черная толпа, всю жизнь не спускавшая с него глаз, подхватывавшая и распространявшая каждое слово, начнет складывать легенды, сочинять на разные лады нелепейшие небылицы о его мужественной и мученической смерти и передавать их из уст в уста, из поколения в поколение.

Тигр прижал уши, напружинился, выгнул хребет. «Готовится к прыжку»,— мелькнуло в голове Повелителя. Вон эти когти, острые, как ножи, сейчас вонзятся ему в глотку, а хищно белеющие клыки мгновенно раскроют череп. Крупная дрожь вдруг прокатилась по тигриному хребту. Голова тяжело повернулась вправо. Оказалось, кто-то из нукеров вышел на мысок и, заметив тигра, застыл как вкопанный. Однако уже через мгновение опом-

пился и схватился за лук. Повелитель тоже взял лук в руки.

Джигит из свиты увидел, как смерть в облике полосатого хищника метнулась на него, но тут же словно застыла в прыжке и рухнула наземь. Пораженный, он отпрянул в сторону и заметил, как Повелитель спокойно и деловито повесил лук на плечо.

Так же неторопливо Повелитель подошел к поверженному зверю. Стрела точно угодила в сердце, и тигр, не успев развернуться в прыжке, судорожно корчился на земле. Повелитель, глядя на предсмертную агонию хищника, вздохнул: то ли подосадовал на то, что не суждено было осуществиться его жутким грезам, то ли просто пожалел издыхающего в муках царя камышовых зарослей. А потом, должно быть, неожиданно для самого себя едко усмехнулся. Видно, почувствовал Повелитель тайную гордость за себя, за то, что раньше своего телохранителя сразил зверя, иначе завтра ротозей-слуга начал бы корчить из себя спасителя своего господина и при каждом случае возвеличивать свои заслуги.

Повелитель вышел из буерака. Коневоды бросились к мысу, полюбовались могучим красавцем, распластавшимся на камыше, и, колгоча, принялись сдирать с него шкуру.

В тот день в долине между гор только и говорили о неожиданном происшествии. О Повелителе, о тигре-людоеде красочно рассказывали охотники друг другу, возвращаясь по неожиданному велению в город. Один Повелитель сурово молчал. Невеселые думы вновь настигли его. В столицу вернулись на другой день к вечеру. И всю ночь в опочивальне дворца не сомкнул глаз Повелитель. Сон, приснившийся там, на привале, и неожиданная встреча с тигром, угрожавшим гибелью, еще больше разволновали и без того смятенную душу и сделали его существование еще более сложным, загадочным и тягостным.

Видимо, настала пора твердых решений. Судя по тому, как сам всевышний спас его от неминуемой смерти, от него ждут решительного поступка даже там, в небесах. Только в чем заключается этот поступок? Где и какое оно, решение? Такое, как приснилось во сне: сменить золотую корону на благочестивую чалму? Как бы там ни было, томление в опостылевшем ханском дворце становится невмоготу. Необходимо встретиться с духовником, расска-

зать ему о сне. Давно уже не виделись. Может, святой старец на него в обиде?..

На следующий день по холодку Повелитель поехал в повозке к сумрачным и голым холмам, тянувшимся к юго-востоку от ханской столицы. Эти места очень напоминали выжженный зноем и ветрами священный край, приснившийся во сне. Склоны сопок казались опаленными. Земля потрескалась; верхний слой почвы обуглился, будто здесь недавно прокатился степной пал. Чудилось, будто пахло горелым. Посреди диковинного нагромождения шершавых валунов и меловых — в причудливых трещинах — увалов возвышалась на черном, почти недоступном крутояре скала с пещерой, обращенной к кибле — стороне, куда поворачиваются лицом правоверные во время молитвы. У входа в пещеру что-то смутно белело. Потом, с приближением повозки, Повелитель узнал древнего старца в высокой белой чалме. Старец наверняка видел с высоты крутояра пышную ханскую повозку, запряженную цугом: слышал, вероятно, и переливчатый звон серебряных колокольчиков, однако не шелохнулся, продолжал сидеть, скрестив ноги и вперив взгляд в сторону священной обители пророка.

Повозка подкатила к подножию крутояра. Повелитель вышел и, как всегда, оставив здесь свиту, один поднялся на кручу. В какие бы дальние походы ни отправлялся Повелитель, на чью бы страну ни готовил поход, на чей бы трон и корону ни нацеливался он сначала, неизменно приходил сюда к духовному отцу, святому отшельнику, и поднимался по едва различимой тропинке, вьющейся долго по песчанику, потом круто взбирающейся по глинистому обрыву. Перед решительной схваткой с кровным врагом он должен был прикоснуться к редкой бороденке тщедушного, высохшего старца, получить его благословение. После него он отправлялся по обыкновению в самую большую мечеть своей столицы, чтобы отслужить намаз. Только потом он считал возможным выступить в поход. Но самый опасный, тяжкий и дальний поход не изнурял его тело и душу так, как этот крутой глинистый склон, по которому отсюда пролегала тропинка к святому отшельнику на вершине кручи. Странники, приходившие на поклон к старцу, так утоптали бурый склон, что он, казалось, лоснился на солнце. И раньше, бывало, Повелитель с большим трудом взбирался к пещере в скале, а сегодня подкашивались ноги уже с первых шагов. Оступаясь и скользя, упорно караб-

кался он вверх: он был вынужден часто останавливаться, чтобы перевести дыхание и унять заколотившееся сердце. Те, что остались у подножия, с недоумением взирали на Повелителя, поражаясь, зачем он обрекает себя на такие муки ради какого-то иссохшего старикашки, которого не стоит труда сдуть с вершины его добровольного заточения.

Крохотный старичок, сгорбившийся у входа в пещеру, между тем, казалось, и не замечал великого Повелителя, который, задыхаясь, обливаясь пóтом, поднимался к нему. Святой отрешенно смотрел в сторону божественной Мекки. На маленькую голову его была накручена огромная белая чалма. Редкая белая бороденка, точно приклеенная к сморщенному, пепельно-серому личику, придавала ему аскетически-суровое выражение. Маленькие блестящие глазки, обычно пытливо и пронизывающе глядевшие из-под насупленных кустистых бровей, были на этот раз плотно зажмурены. Старик не шелохнулся и тогда, когда Повелитель, взобравшись, наконец, на кручу, откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. Подол ветхого, выцветшего чапана на старике был изорван в клочья. Из-под рваных широких штанин высовывались голые лиловые ступни. Пятки потрескались. Руки, иссохшие, землистые, с набрякшими синими жилами, крепко обхватили гладкий, потемневший от времени, посох. Духовник был весь во власти дум.

Повелитель опустился перед ним на колени, сложил на груди руки, склонил голову. Только тогда старец, похожий на дремавшего одряхлевшего беркута, приподнял веко, повел зрачком. Потом он, точно очнувшись, выпрямился, поднял голову, старчески надтреснутым голосом проговорил слова вежливости. Повелитель коротко и откровенно, как на исповеди, поведал ему обо всем. Старец выслушал его, не перебивая, не шелохнувшись, с нескрываемым холодком. В уголках тонких, лиловых дряблых губ под крупным хрящеватым носом с вывернутыми ноздрями несколько раз едва заметно пробегала язвительная ухмылка. И каждый раз, уловив ее, Повелитель прерывал свой горестный рассказ, и тогда старец шире открывал по-старчески мутные, бесцветные глаза, в глубине которых мерцал тусклый свет, похожий на блики луны в стылой лужице. Повелитель рассказал про недавний сон и неожи-

данную встречу с тигром во время охоты и умолк в ожидании ответа святого духовника.

Старец молчал, думал, скашивал пытливый взгляд на Повелителя. После долгой паузы прошамкал:

— Всемогущий создатель, священные духи и святые заступники не высказывают открыто своих желаний. Они лишь сочувствуют, сострадают, сожалеют верным и покорным рабам своим. И намеками наставляют заблудших на путь истинный. И знак их — что посох в руках слепца. Должно быть, сын мой, отпугнул ты духов, прогневил святых заступников. Подумай!..

И больше не проронил ни слова. Раза два ткнул острием посоха в рыхлую супесь, вытянул тонкую морщинистую шею, устремил мутный взор к закату. Намек был ясен: святой старец сказал все, что посчитал нужным, а остальное пусть решает сам Повелитель. Духовник всегда был немногословен и суров, но сегодня от него повеяло еще холодным высокомерием. Это насторожило. Каждый его жест, каждый взгляд больно отзывался в душе Повелителя. Но он старался скрыть душевное смятение, сдержанно поклонился и направился к тропинке. Духовник не поглядел даже вслед. Вновь погрузился в свои думы. И советом не поделился, и благословения не дал. Раньше, случалось, он сочувствовал ему, жалел, по-отцовски проводил ладонью по лбу. На этот раз на лице духовника он заметил только надменность, неприступность и старческую сварливость.

Спуск по крутому склону показался сегодня трудным, как никогда. Повелитель торопился покинуть эту суровую, сумрачную горную обитель. Дойдя до подножия, он оглянулся и увидел чёрную мрачную скалу, которая как бы замкнулась, затаилась под его взором. Он сел в повозку и до самого дворца старался ничего вокруг не замечать.

И дома, в ханском дворце, он долго не мог прийти в себя. Непонятное раздражение и досада душили его. У него даже не было сил ходить взад и вперед из угла в угол по просторному пустынному залу. Ноги, натруженные от подъема на кручу, будто онемели. Сидеть он тоже не мог: толстый пестрый ковер под ногами казался убогим пустырем, усеянным колючками и крапивой. Всю жизнь он придерживался непреложного правила: «Избегай тупика, из которого нет выхода. На всякий случай всегда оставляй лазейку». А теперь даже оно обернулось кощунством. Он,

златокоронный властелин, поработивший множество племен и народов, оказался в растерянности, точно неверная жена, которую муж застал наедине с любовником, или как вор, пойманный на месте преступления. И нет никого, кто мог бы помочь добрым советом. Даже тоску свою высказать некому. Если всерьез подумать, и у юноши-слепца, доживающего свой куцый собачий век где-то в грязных кишлаках за городом, и у томящегося в подземелье главного зодчего, и у младшей ханши, чья молодость и краса вянут в ханских покоях, все же более завидная участь. Ведь у них, на худой конец, есть возможность рассказать кому-то о своем несчастье. Или хотя бы про себя обижаться на кого-то. А кого он, Повелитель, обвинит в своих бедах? На кого ему обижаться? Златокоронный властелин может пожаловаться только на самого создателя. Но разве до него дойдут жалобы? Не то, что создатель, даже сморчок-старичок, стерегущий святую пещеру на скале, и тот не желает иметь с ним дело. Сколько надменности было давеча в нем, будто он своим посохом подпирает небо. Ведь, в сущности, он даже не удостоил его взглядом. Не дай бог быть кому-то обязанным на этом свете! Нет ничего более унизительного, чем зависимость. И Повелитель понял это еще в далекой юности. Не потому ли с молодых лет он и боролся за власть, не щадя живота? Не потому ли он предпочитал рабской покорности добровольное изгнание? Не потому ли он не однажды оказывался на узкой меже между жизнью и смертью? Да-а, тех лишений и унижений он не забыл до сих пор. И теперь еще, вспоминая порой о них, он чувствует, как ноет старая зарубцевавшаяся рана, как пронизывает все кости тупая памятная боль. Однако, всей душой ненавидя зависимость и рабство, он разве потом, познав власть, пытался проникнуться сочувствием к тем, кто стоял перед ним коленопреклоненно? Кого из робких он поддержал, кого из сирых искренне пожалел? На гордые головы неизменно обрушивал гнев и ярость, на тех, кто униженно припадал к его ногам, смотрел с брезгливой жалостью. Это верно: иногда он позволял себе проявление жалости к каким-нибудь нищебродам. Но это не было потребностью души, а скорее, подачкой, которую небрежно швыряют калекам и нищим, чтобы только не видеть их гнусное обличье и не слышать смрад и зловоние, исходящие от них. Может, сварливый старец хотел ему просто преподать урок — показать уни-

зительность зависимости? Или намекал на то, что и всесильного неминуемо подстерегает напасть? Но разве нельзя было это сказать просто и смиренно, без отчуждения и вызывающей надменности? Ведь раньше по какому бы путаному и тяжкому делу ни приходил он к нему, старец, не роняя своей благочестивости, вел с ним пространную, задушевную беседу. А теперь обидную, уничижительную ухмылку, которая в последнее время и без того мерещится ему всюду, и откровенное злорадство ему довелось увидеть на лице своего духовника, издавна считаемого — после, конечно, создателя — самой надежной опорой и верным заступником. Да, да, истинно так: ядовитую усмешку, которую зловредная чернь тщательно скрывала от Повелителя, боясь его гнева и кары, этот тщедушный старец не пытался даже погасить на своих дряблых губах. И сказал-то он ведь совершенно откровенно: «Должно быть, отпугнул ты духов, прогневил святых заступников». Неужели отпугнул он духов тем, что сделал вид, будто не придает значения сплетням о младшей ханше? Неужели духовник считает, что Повелитель скрывает грех сжигаемой похотью бабы? И вместо того, чтобы кинжалом решительно вырезать грязное клеймо блуда на супружеском ложе, он, таясь от всевидящего людского взора, прикрывает его собственной ладонью? Как же, по мнению духовника, он еще должен поступить? Выгнать младшую ханшу, как неверную жену? Но на такой позор не решался во все времена еще ни один властелин! Как он может всенародно признаться в том, что какой-то низкородный бродяга пришелец-нищеброд посягнул на ханскую честь? И не только посягнул, а совратил его богом данную жену! Как может святой отец журить его за то, что он не способен решиться на поступок, достойный самого ничтожного врага?! Ведь в таком случае и слепцу видно, что он наказывает не грешницу-ханшу и не ее дерзкого любовника, а прежде всего самого себя. Выходит, духовник печется вовсе не об суждении подлинных грешников, а хочет, чтобы злые языки трепали честное имя Повелителя? Это же невозможно! Этого может ему пожелать только старшая ханша, открыто ненавидящая свою соперницу и ради ее посрамления готовая жертвовать даже честью супруга. Но святой духовник, знавший с малых лет не только Повелителя, но и его отца, не может... да, да... не может и не должен с именем аллаха на устах и священным посохом в руках

разделять и одобрять слепую ненависть и злобу долгополой бабы, у которой от ревности помутился рассудок. Какой же он святой, если не может быть выше низменных страстишек презренной половины человечества?! Конечно, сам духовник оказался в плену сплетен, дошедших до него из дворца старшей ханши. Более того, злорадная усмешка, так явственно обозначившаяся на его старческих лиловых губах, прилипла к нему от подлых и пронырливых сплетников, которыми кишмя кишит обиталище старшей жены. Таинственная и злая сила сплетни сумела смутить душу святого праведника. Колдовство ползучих слухов оказалось сильнее мудрости и святости живого пророка.

В горькой усмешке искривились губы Повелителя. Он даже почувствовал нечто похожее на снисходительную жалость к святому старцу, которого так ловко опутали и запутали прожженные пройды и коварные потаскухи. И в самом деле, разве можно обижаться на беспомощного старикашку, сбитого с толку бесконечными слухами и подлыми дворцовыми интрижками? Конечно, старец достоин жалости. В этом лживом и продажном мире, где на каждом шагу твоей чести и достоинству угрожают позор и унижение, не мудрено сбиться с пути истины и свихнуться с ума не только дряхлому старику-отшельнику, но и всемогущему творцу, из недоступной дали взирающему равнодушно на презренный человеческий род. Конечно, если сотворить мир сплошь из неуемных, необоримых страстей и страстишек, разве можно не предаваться вожделению и греху?! Человек рождается от греха. От него же находит свою гибель. Если всякая страсть в конечном счете — грех, а грех — неизменный спутник всякого смертного, то, надо полагать, и святой отец — всего лишь один из двуногих грешников на земле. Его набожность, его отрешенность от всех соблазнов души и тела во имя всевышнего нужны ему только, чтобы возвысить себя в глазах черной толпы. Он, действительно, от многого на этом свете отрекся и отказался, но все же... не от всего, нет, нет, не от всего. Тщеславия он все-таки из себя не вытравил. И он отнюдь не прочь сохранить влияние на темный люд. Ему приятно, что его почитают, что припадают к его ногам. Он необычайно гордится тем, что к нему приходит и опускается перед ним на колени сам златокоронный владыка. А разве гордость, кичливость — не та же страсть?! Все неумеренное, преувеличенное — кощунство.

А оно неизбежно приводит к греху. Выходит, святой отец и великий Повелитель грешны в совершенно равной степени. Верно: Повелитель властолюбив, крутонрав. А разве святой отец уступает ему в этом? Разве то, что он проявил высокомерие и надменность к нему, Повелителю, облагодетельствованному самим создателем, не свидетельствует о том, что святой духовник по самый пояс погряз в кощунстве и грехе? За искусителем Азазелем, как известно, покорно следуют лишь духовные слепцы, одурманенные чадом житейской суеты. Выходит, и святой отец не избежал этой участи. И потому нет ничего удивительного в том, что он оказался в сетях лжи и подлости, расставленных услужливыми холуями старшей ханши. Лишь извечной человеческой греховностью можно объяснить поведение старца, оказавшегося под влиянием жены Повелителя, которая, конечно, обеспокоена почтенным возрастом грозного супруга, судьбой трона и его наследников. Значит, святой духовник печется о сохранении не только нынешней своей влиятельности, но и об обеспеченном завтрашнем дне. И его легко понять, если исходить из того, что он не столько святой, сколько обыкновенный человек. Но почему он, будучи сам не без греха, так строго осуждает его, Повелителя, за человеческую слабость? Ведь совершенно определенно говорится об этом в Коране: «Человеку необходимо знать: аллах един, нет у него товарищей, не породил он никого и никем не порожден, нет равного ему, он не брал себе ни товарищей, ни дитяти и нет у него соправителей в царстве его. Он первый, который извечно был, и он последний, который никогда не избудет. Он властен над всем и ни в чем не нуждается. Пожелает он что-либо, он говорит: Будь!— и это станет. Нет божества, кроме него, вечно живого; ни сон его не одолевает, ни дремота, он дарует пищу, но сам в ней не нуждается. Он один, но не чувствует себя одиноким и нет у него друзей. Годы и время не старят его. Да и как могут они его изменить, когда он сам сотворил и годы и время, и день и ночь, и свет и тьму, небо и землю, и всех родов тварей, что на ней, сушу и воду, и все, что в них, и всякую вещь — живую, мертвую и постоянную! Он единственный в своем роде и нет при нем ничего, он существует вне пространства, он создал все посредством своей силы. Он создал престол, хотя он ему и не нужен, и он восседает на нем, как пожелает, но не для того, чтобы предаться покою, как существа

человеческие. Он правит небом и землею и правит тем, что на них есть, и тем, что живет на суше и в воде, и нет правителя кроме него, и нет иного защитника кроме него. Он содержит людей, делает их больными и исцеляет их, заставляет их умирать и дарует им жизнь. Но слабы его создания — ангелы, и посланники, и пророки, и все прочие твари. Он всемогущ своею силою и всеведущ знанием своим. Вечен он и непостижим».

Значит, это вовсе не в воле Повелителя — добиться полного согласия в мире, который сам создатель сотворил с изъяном. Если сам всевышний, создавая свой восемнадцатитысячный огромный мир, наделил каждую тварь разными недостатками и слабостью, дабы ему сподручнее было удерживать их всех в своей власти, то почему возбраняется земным владыкам точно таким же образом держать в узде чернь? Зачем осуждать смертного за то, что он повторяет лишь ошибки творца? И если создатель в душе опасается кое-кого из нечестивцев, которых сам же и расплодил, то почему бы Повелителю не испытывать подозрения к подлому человеческому роду? А может, деяния и отношения всевышнего к единичным избранникам судьбы не распространяются на всех бесчисленных представителей бедного человеческого племени? Может, создатель искренне убежден, что только ему позволительно творить чудеса, проявлять неслыханное великодушие или ниспосылать страшную кару, а всем остальным подобные поступки просто непосильны и недоступны? В таком случае истинная суть таких пугающих понятий, как грех и преступление,— всего лишь ревнивое малодушие всемогущего творца, больше всего обеспокоенного тем, чтобы — не дай бог!— кто-то дерзнул повторить его дивные деяния или постичь глубину его мудрости. Не для того ли придуман в священном писании всемирный потоп, как самая страшная угроза человеческому роду, догадавшемуся о немощи создателя? Ну, а коли сам всевышний так страшится высказать свою слабость, то почему бы не опасаться этого Повелителю, рожденному, как все смертные, обыкновенной долгополой бабой? Следовательно, предложение святого духовника прежде всего разрушить до основания свидетельство греха — голубой минарет и тем самым всенародно признать свое посрамление — нелепейший вздор, противный не только человеческому естеству, но и божественному духу.

Даже святые заступники — благодетели-хизры — не смогли подсказать Повелителю благую весть. Сон, приснившийся в канун охоты, явился знамением предстоящих мытарств. И то, что священный камень Каабы упорно ускользал от него во сне, было ничем иным, как смятение, как отчаяние души в безысходности, в тупике. В самом деле, разве не в силках бессилия бьется его воля? Если бы всемогущий создатель обрушил свою страшную кару на столицу, которой Повелитель всю жизнь дорожил пуще зеницы ока, и одним махом стер бы ее с лица земли, он бы — видит аллах!— ничуть не расстроился, не огорчился. Более того — обрадовался бы. Ведь тогда он бы избавился от мозолившего глаза голубого минарета. А вместе с презренным людом, точно мухи, подыхающим от мора, навсегда погасла бы и мерзкая сплетня на его устах. Конечно, всеобщая погибель захлестнула бы и его, Повелителя, ну и пусть, пусть, пусть. Он бы и себя не пожалел. Вместе с ним погибла бы и гнусная молва о нем. Погибла бы гадкая легенда. Но нет... всемилостивейший создатель, всегда благоволивший к нему и легко исполнявший все его желания, на этот раз проявил вдруг неслыханную скупость, оставаясь совершенно равнодушным к его горячей мольбе.

Сейчас он, пожалуй, впервые за всю свою жизнь откровенно пожалел о том, что судьба уготовила ему такую участь — быть самым сильным, самым могучим и могущественным владыкой на земле. Ведь разве не прискорбно, что поблизости не оказалось ни одного достойного врага, который дерзнул бы разрушить дотла этот до несуразности огромный город, населенный гнусным сбродом продажных, лживых, злобствующих нечестивцев?! Разве не досадно, что узкоглазое муравьиное племя, издревле точащее на него зуб, выжидающе затаилось на краю земли? Может, назло им и наперекор судьбе самому напасть на них и разворошить осиное гнездо?!

На этом неожиданном решении и остановился Повелитель. Он давно подумывал об этом походе и сейчас почувствовал: приспело то время, грянул тот час. Только кровавая бойня избавит презренную чернь от гнусных помыслов и низменных вожделений, охвативших их грязные души. И пусть эта бойня не угодна сейчас ни богу, ни врагам, он, Повелитель, затеет ее сам. Вонючеустую толпу, которую немыслимо перебить в одиночку, он тол-

кнет в кровавое побоище и истребит тысячами. Тем, кто останется в живых, будет уже не до сплетен, не до праздной молвы о Повелителе, его молодой ханше и дерзком зодчем. За то, что уцелели в кровавой сече, они станут благодарить не бога, а своего Повелителя и падать перед ним ниц лицом в прах и восхвалять его в легендах.

VI

Великая река осталась позади. Понемногу удалялась и черная толпа на берегу, с нескрываемым любопытством взиравшая на бесчисленное ханское войско. Впереди начиналась пустыня, безлюдная, бескрайняя, пепельно-бурая, удручающе однообразная. Раскаленный ветер пустыни зло и колко бил в лицо. Войско брело, увязая в сыпучий песок. Даже куцую тень всадников выжгло полуденное солнце. Оно, казалось, намеревалось испепелить самих верховых.

Зной становился невыносимым. Упругой, обжигающей волной врывался он в ханскую повозку. Все тяжелее становилось дышать. Задыхаясь, Повелитель судорожно отодвигал шелковую занавеску, выглядывал из крытой повозки и с досадой откидывался на ковровые подушки. Все та же бурая пустыня простиралась вокруг. Угрюмо-молчаливые дюны, казалось, свинцово плавились под немилосердными лучами. Кони понуро волочили ноги. Какая-то одинокая птаха, спасаясь от зноя, подпрыгивала, трепетала слабыми крылышками в крохотной, с ладонь, тени от повозки.

Щурясь, с жалостью и тоской смотрел Повелитель на малую птаху — единственное, что привлекло взор в нескончаемой пустыне. Как в предсмертной агонии, мечется бедняжка. Горлышко ее трепещет. Птаха отчаянно цепляется за свою крохотную жизнь, ищет спасения от раскаленного до сизости дыхания пустыни. И нет у ней сейчас другой цели, другого стремления. Она вся во власти зова жизни. И только. Однако сколько в этом смысла! Любой другой порыв, любая другая цель, в сравнении с этим, бессмысленны и ничтожны. Должно быть, любая неумеренность рождает зло. Ну, вот... хотя бы этот зной пустыни. Разве он не родился от нежного, струящегося, как шелк, ветерка? Сначала ветерок дул в утеху усталых путников, взбодрил их свежестью, стремился очистить мир от пыли

и сора, но, постепенно распаляясь, почувствовав силу и упоение властью, он разбушевался, осатанел и поскакал-понесся огненным смерчем, сметая всех и вся на своем пути. Вон, будто раскаленный уголь, обжигает коготки и опаляет крылышки жалкой птахи, обессиленной в неравной борьбе с настигшей ее бедой. Не желая видеть предсмертного мучения крохотного существа, Повелитель отвернулся и закрыл глаза.

Опаленной шкуркой съежилась пустыня под нещадным солнцем. Зной проникал всюду, душил, сковывал, обжигал. Сознание мутилось. Казалось: на крытую повозку навалилась тысяча палачей, а сотня ангелов смерти в исступлении увивалась вокруг, жаждя души Повелителя. Видно, неспроста соскользнул на реке перстень. То был знак надвигающейся смерти... К тому же дурная примета — встретить перед дальней дорогой неприятного для тебя человека.

Молодой слепец неотступно стоял перед глазами Повелителя. Казалось, тот оставил свою двуколку, запряженную ишаком, на берегу реки и каким-то чудом пересел в ханскую повозку прямо перед ним. Лишившись лучистых глаз, он лишился и нежного, добродушного выражения на лице. От учтивости и благонамеренности, столь украшающих юношей, не осталось и следа. В черных провалах глаз будто затаилась смерть. Тонкая, жилистая шея несуразно вытянулась, ноздри напряженно раздулись. Страшный лик его вдруг будто выплыл из пустынного марева и стремительно надвинулся на Повелителя. Ни один мускул не дрогнул на изнуренном, словно пеплом покрытом, лице. Не страшны слепцу ни сам великий Повелитель, ни его бесчисленное войско. Корявые, узловатые пальцы, точно когти, хищно потянулись к ханскому горлу.

— Не бойся,— раздался хриплый голос,— все равно очутишься под землей.

Глаза Повелителя застыли от ужаса. Что это? Разве не отрезали зодчему язык? Разве еще тогда не выпал он окровавленным кусочком из-под ножа палача на каменный пол? Тогда откуда этот голос? Какая божественная сила вернула ему речь? Или... или отрубить язык еще не значит сделать человека немым?! А может, этот хриплый голос принадлежит вовсе не молодому зодчему, а ему, Повелителю?

В смятении он выкатил безумные глаза на страшный

лик слепца и увидел в уголке его бескровных губ ядовитую усмешку. Отодвигаясь, Повелитель всем телом вжался в кровавые подушки на сиденьи. Он чувствовал, как покидают его остатние силы, как руки-ноги, словно немея, не подчиняются его воле. Страшная немощь сковала его, и под ним разверзлась черная пучина.

Он не помнил, когда очнулся. Медленно открыл глаза. В крытой повозке было все так же нестерпимо душно. Мягкая перина и пуховые подстилки под ним скомкались и только усугубляли его страдания. Он с усилием приподнялся, скосил взгляд на дверцу и никого не увидел. Бритоголовый слепец исчез, точно растаял в знойном мареве пустыни. Повелитель понимал, что от невыносимой жары и многодневных изнурительных и бесплодных дум мозг его безнадежно устал, как бы расплавился, и сознание мутилось, все вокруг воспринималось как в зыбком тумане, и что страшный слепец ему всего-навсего померещился, ибо на самом деле он остался там, позади, на берегу реки, на грубо сколоченной двуколке, запряженной ишаком, и что нет никаких палачей или ангелов смерти, пришедших за его душой, что все это бред... да, да, бред бесконечно уставшего, больного человека, почувствовавшего роковой страх, а у страха, как известно, глаза велики. В нем еще тлела свеча здравого рассудка, но сомнения и страх все решительней захватывали все его существо, растекались по всем жилам, и он подспудно понимал, что именно в них заключена его погибель.

Он вновь провалился в забытье. Вокруг от горизонта до горизонта во все стороны растянулась удручающе унылая пустыня. Угрюмые барханы оказались испещренными таинственными знаками и причудливой вязью. Он, напрягая зрение, силился разглядеть их, прочесть загадочную надпись. Но рябило, мельтешило в глазах, и мрак суживался, заливал слабеющий рассудок, и все же через некоторое время с большим трудом удалось ему прочитать одну-единственную фразу: «Рано или поздно все равно очутишься под землей».

Повелитель приоткрыл отяжелевшие веки. Прямо над его головой нависло что-то непомерно огромное, темнобурое. Он уже неясно представлял себе, где находится сейчас: то ли в своей привычной повозке с позолоченным атласным верхом, то ли в сыром и мрачном подземелье под ханским дворцом...

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

Заметки о прозе Абиша Кекильбаева.

> «Люди не должны видеть капельки пота на измученном челе мастера, его усталость, отчаяние, мучительно сдвинутые брови, достаточно того, что они видят творение его рук. Для мастера-творца нет большего счастья».
>
> (А. Кекильбаев. *«Конец легенды»*)

I

Уже тогда, лет семнадцать назад, среди шумной ватаги молодых одаренных людей, как-то враз пришедших в казахскую литературу, этот смуглый, курчавый юноша привлекал внимание основательностью суждений, пытливостью, начитанностью, сдержанными жестами и необыкновенно образной, по-восточному витиеватой речью. Сверстники его, пребывавшие в том блаженном возрасте, когда душа переполнена неуемной радостью и жаждой самовыражения, были тогда более склонны мудрствовать вслух, витийствовать, нежели слушать, и все же, если начинал говорить этот в те годы сухощавый, степенный юноша, говорить по обыкновению плавно и рассудительно, со ссылками на множество неведомых имен и названий книг, невольно умолкали и самые заядлые, горластые спорщики. Помнится, любопытство вызывало в нем еще и то, что он был из Мангышлака, с полуострова на Каспии, из крохотного аула, затерявшегося на стыке туркменских песков, а этот край в то время казался нам диковинной, недоступной даже воображению, глухоманью.

Увлекаясь, юноша красочно рассказывал о земле, столь непохожей на те области Казахстана, откуда приехали мы, о жизни, быте, укладе тамошних жителей, о легендах и преданиях старины, о судьбе предков-адайцев, о многоликой пустыне, и чудилось, что о родном крае он знает все. И хотя к тому времени он еще только готовил к печати первую книжку стихов и опубликовал одну-две статьи, все, кто знал его, смутно чувствовали, что с годами он несомненно скажет свое слово в литературе.

За эти годы увлеченного и напряженного творчества Абиш Кекильбаев успел проявить многогранность своего таланта, написав книжку стихов, несколько сборников рассказов и повестей, книгу критических работ, один роман и переведя на казахский язык несколько глав «Войны и мира» Л. Толстого, «Жизнь» и «Пьер и

Жан» Мопассана, десяток пьес и множество рассказов русских и зарубежных писателей. Это, вероятно, немало, но все же перо Абиша я бы не назвал бойким, пишет он трудно и неторопливо, точно мудрый сказитель ведет свой многовершинный эпический сказ. И примечательно, что все написанное им, не оставляло равнодушным ни читателя, ни критиков, а вызывало неизменный интерес, приковывая внимание к его творческим поискам и вызывая порой противоречивые толки. Об этом свидетельствует и тот факт, что произведения его переведены на немецкий, венгерский, болгарский языки...

II

Так называемый ученический, поисковый период у Абиша Кекильбаева длился совсем недолго. Своими первыми стихами, статьями и двумя-тремя запомнившимися рассказами он как бы заявил о своих потенциальных творческих возможностях, обнародовал истоки и грани своего таланта и одну за другой опубликовал несколько небольших по объему повестей, которые позволяли говорить об их авторе как о писателе бесспорно одаренном, самобытном и вполне сложившемся. Лучшие прозаические произведения, вошедшие в сборники «Клочок тучи», «Степные баллады» и «Горсть земли», совершенно четко определили основной круг проблем его творческих интересов и замыслов и раскрыли его склонность к неторопливой сказовой манере, к философичности, к психологизму, к живописному жизнепознанию и буйной, красочной языковой стихии.

Начало творческого пути Кекильбаева совпало как раз с довольно бурным периодом пристального, даже, можно сказать, обостренного внимания многих казахских литераторов к прошлому своего народа, к своей почти неведомой, полузагадочной истории. Именно там, в таинственных и притягательных глубинах своей истории, зачастую воспринимавшейся в романтико-героическом ореоле, многие черпали материал и вдохновение, в результате чего родился не один десяток повестей и романов, которые по жанровым признакам можно называть то «чисто» историческими, то историко-биографическими, то хроникой, а то и просто этнографической беллетристикой.

По совершенно иному пути пошел прозаик Абиш Кекильбаев. В своих повестях «Баллада забытых лет», «Хатын-гольская баллада», «Колодец», «Состязание» он, прибегая к искусной аранжировке древних преданий, сказов, притчей, воссоздает не только

нравственный облик яркого и сурового прошлого, но и поднимает глобальные проблемы современности. В предисловии к его книге «Баллады степей» («Молодая гвардия», Москва, 1975) лауреат Государственной премии СССР Абдижамил Нурпеисов пишет: «Он не щеголяет в своих произведениях громкими историческими именами. Он далек от несерьезной тенденции приукрасить или, наоборот, принизить прошлое народа. Сочетание углубленно-психологического анализа с философским осмыслением социальных сторон человеческого бытия делает его повести особенно искренними и правдивыми».

Достоинства и сила художественной палитры А. Кекильбаева в том, что он по-современному, историко-философски переосмысливает «сказания старины глубокой», извлекает из легенд веков общечеловеческие, гуманистические корни-формулы, по-новому, очень актуально высвечивая «осколок древней правды». В этом, несомненно, и заключается одно из своеобразий Кекильбаева как художника, и, конечно же, правы критики, когда отмечают и подчеркивают его умение затрагивать «существенные проблемы истории и современности» (Ч. Айтматов), подчиненность его повестей-баллад «сквозной большой социальной идее» (А. Нурпеисов), склонность к настойчивому размышлению «над сущностью человека и движущими мотивами его поступков» (А. Руденко-Десняк).

В «Балладе забытых лет» автор повествует о том далеком времени, когда «казахи потеснили туркмен с верховьев Устюрта и низовьев Мангышлака... и загнали их на бесплодное, открытое солнцу и ветрам плато». Это повесть об изнурительной вражде и розне племен, о разгуле дикости и жестокости, о звериных нравах, когда смысл жизни для многих батыров и старейшин племен и родов заключался в мести, в неукоснительном почитании волчьих законов во имя сохранения превратно понятых чести и достоинства священного духа предков. Автор находит дивные и сочные краски, колоритные, зримые детали для описания раздолья казахской степи и раскаленных зноем, с терпким запахом высохшей травы туркменских пустынь, но в этом огромном мире под чистым, вымытым утренним солнцем небом нестерпимо тесно двум враждующим издревле племенам. Здесь царят произвол и насилие, свирепые набеги, угон скота, умыкание девушек и разбой. Корни вражды настолько глубоки, что уже невозможно определить, кто творит бо́льшее зло, кто является жертвой. «У каждой стороны длиннейший перечень обид». На страницах баллады и в устах героев часто звучит слово «месть». Месть ослепила разум, очерствила сердца, опалила души. Даже на поминках мужчины не рас-

стаются с кинжалами и саблями. Даже на сборищах не слышно песен, не звучат переборы домбры. Мрачная фигура туркменского хана Жонеута вызывает страх и оторопь как у его сподвижников, так и у его недругов. «Его мускулистые ноги уверенно попирают землю, жилистые руки скрещены на груди, ястребино зоркие глаза пылают ненавистью. Мести жаждут душа, руки. Ради мести ноги готовы без устали шагать по пустыням. Месть привела его сегодня к холмику, затерявшемуся в полыни».

Под стать ему был его младший брат, по прозвищу Лютый Волк, свирепый, матерый, по-звериному жестокий, вся жизнь которого состояла из сплошных набегов. Не уступает ему в дерзости, бесстрашии и ярости и казахский батыр Дюимкара. Злым вихрем налетает он на туркменские аулы.

В изнурительной вражде жили соседние племена извечно. «Сколько траченных молью папах пылится в юртах, напоминая о батырах, которым папахи уже ни к чему! Сколько брошенных в степи могил!»

Хан Жонеут глубоко убежден в своей правоте. Творя зло, он искренне печется о славе и могуществе своего народа, родной земли, заботится о нетленной памяти предков, считая себя ревнителем народной чести и справедливости. «Не им установлен этот закон степи, не ему отменять его». Он не в силах подняться над вековыми предрассудками, не может вырваться из плена бесчеловечных порядков и традиций. Он раб древних жестоких канонов, устоявшегося веками уклада нравственных отношений. Он горько переживает свою старость, то, что в некогда славном роду не осталось истинных батыров. Ему больно: старший сын, ловко владевший и кинжалом и шашкой, рано сложил голову, а средний, драчун и забияка, на чужой стороне нашел свою могилу. Жонеуту непонятно, отчего его младший сын, Даулет, красавец и всеобщий любимец, заразился страстью к музыке и с пятнадцати лет не расстается с дутаром. Чтобы разбудить в пылкой душе Даулета ненависть к кровному врагу, Жонеут прибегает к последнему средству — едет с ним поклониться далекой могиле святого пращура Темир-баба. И этот молчаливый укор и наставление отца становятся потом причиной гибели талантливого юноши, родившегося вовсе не для бренной славы.

На старости лет Жонеут смутно чувствует, что вся его жизнь, полная опасностей и невзгод, была в сущности бесплодна, что люди не могут и не должны, по-видимому, вечно жить ненавистью, местью, злобой и изнурительными распрями. Однако мысль его, отупевшая от жестокости и горя утрат, останавливается на пороге этого откровения. Об этом же настойчиво размышляет и пленник-

казах, прославленный домбрист, понимающий, что «человек не зверь, должен же он в конце концов постичь, что является на свет ради мира, продолжения рода». Эту истину, открывшуюся ему, музыканту, давно, он решается внушить Жонеуту, и впервые за многие-многие годы домбра заговорила на общем для обоих языке. «Новый кюй наливался крепостью. Звуки все бодрее, определеннее. Обида, боль и печаль отступают перед трезвым разумом. Мелодия взывает к размышлениям, как многомудрая речь, способная указать выход отчаявшимся».

Да-а, поле, унавоженное ненавистью, родит только ненависть. Поняв это, Жонеут впервые познал душевное смятение, тревогу и сомнения, испытал страх одиночества, заброшенности. Исповедь домбриста, в которой звучали и боль, и горечь, и упрек, и осуждение, и гнев, и призыв, и сострадание, лишила отныне Жонеута покоя, а в иные минуты приходили трезвое раскаяние и даже жалость, да, да, простая человеческая жалость к несчастному, невинному, невзрачному музыканту, к судьбе которого оказался совершенно равнодушным его соплеменник — грабитель и насильник Дюимкара. Умирая в тяжком горе и сомнениях, Жонеут слышит не свист стрел и бряцание сабель, а звуки дутара: его племянник, подросток Курбан, искусно воспроизводит тот самый кюй, который в час откровения играл ему пленный музыкант-казах...

Таковы идейный пафос и содержание «Баллады забытых лет», о которой много добрых слов сказано советскими и зарубежными критиками.

«Только из горького опыта минувших лет можно исторгнуть свет для будущего»,— эта короткая, но емкая фраза из «Баллады забытых лет» (в оригинале повесть называется «Кюй») является как бы стержневой мыслью, пронизывающей все исторические повести А. Кекильбаева. Это отмечают почти все критики, указывая также на то, что нравственные проблемы, поднимаемые в повестях казахского писателя, отнюдь не замыкаются в узконациональных рамках, а имеют общечеловеческий резонанс. Так, например, критик Л. Теракопян пишет: «Оставаясь верной духу историзма, воспроизводя страничку далекого прошлого, повесть Абиша Кекильбаева отвечает и на нынешнюю злобу дня. Она утверждает в человеке творческое начало, право на самостоятельное мышление»[1].

Об этом же говорит и известный критик из ГДР Герберт Кремпиен в послесловии к книге «Избранное» — сборнику повестей

---

[1] *Л. Теракопян.* Разнообразие красок и решений. «Дружба народов», 1969, №1, а также сб. «Литература и современность», Москва, «Художественная литература», 1970, стр. 316.

шести советских писателей, изданному дважды в издательстве «Фольк унд Вельт»: «Воспроизведенный эпизод из продолжавшейся столетиями вражды между адайцами и туркменами развеивает миф об отсутствии истории у кочевых народов, который, кстати, навязывали и казахам, и доказывает, как на основе, казалось бы, локальных событий, имевших место в степях Средней Азии, можно построить гуманистическую притчу высокого общественного звучания. Хотя казахский писатель обращается к древней национальной истории, он тем не менее затрагивает актуальнейшие вопросы современности, имеющие значение, скажем, для народов Африки»[1].

Одной из излюбленных тем А. Кекильбаева — теме неограниченного могущества и непомерной власти над людьми, власти разрушительной и губительной, противопоставившей себя добру, любви, миру, всему человеческому, незыблемому на земле, мотиву запоздалого прозрения и духовной нищеты, убожества тирана-себялюбца — посвящена другая, широко известная повесть писателя «Хатын-гольская баллада». Она также построена на древней легенде о Чингис-хане, ради эгоистической прихоти своей поголовно истребившего тангутов, но так и не сумевшего покорить белотелую тангутскую ханшу Гурбельжин, от которой он и умирает бесславной смертью. Автор сумел наполнить легенду большим философским смыслом о неистребимости гордого человеческого духа, о бессилии тех, кто возомнил себя всесильным, позволяет себе бездумно и жестоко распоряжаться судьбами народов, о неотвратимости справедливого возмездия, о неминуемой суровой каре, которая непременно постигнет всех, кто творил зло, о том, что кровавых властителей покарает не бог, а руки людей.

Две другие повести — «Колодец» и «Состязание», вошедшие в сборник «Баллады степей»,— по описываемым событиям и социальной проблематике значительно ближе к нашему времени и, пожалуй, менее «историчны» в том значении, как это понятие соотносимо с «Балладой забытых лет» и «Хатын-гольской балладой». И в этих повестях А. Кекильбаев верен своей манере философского и аналитического живописания, однако, на мой взгляд, автор здесь вовсе не задается целью создать свою концепцию какой-нибудь древней притчи или по-своему интерпретировать предание, он просто реалистически разрабатывает внешне непримечательный, но типичный случай, каких бывало много в казахской степи прошлого века, и на основе искусно построенной трагической коллизии поднимает существенные нравственно-этические проблемы, не потерявшие своего значения и поныне.

---

[1] «Erlesenes», Novellen, Volk und Welt, Berlin, 1974, 419 s.

Это печальная история колодцекопателя Енсена, талантливого одиночки, вырывшего за свою короткую и нелегкую жизнь немало полноводных колодцев в пустынном краю; история человека, относившегося к своему тяжкому и опасному труду, как к творчеству, приносящее творцу немало мук и душевных треволнений, а людям — радость. Редкий дар скромного труженика не мог быть оценен по достоинству в то несправедливое время, в которое он жил, и, вырыв свой лучший колодец, достигнув желанной цели, колодцекопатель погибает.

«Состязание» — трагическая повесть о том, как прекрасная девушка, дочь степного богача, в силу нелепого стечения обстоятельств, бесправия и старозаветных феодальных нравов и устоев, вынуждена стать женой умалишенного. Примечательно, что в «Колодце» и «Состязании» заметно проявились те черты и грани дарования художника, которые впоследствии убедительно и ярко раскрылись в новых повестях и рассказах, посвященных нашей современности, а именно: строгая композиционная продуманность, внимание к бытовым деталям и этнографическим особенностям, углубленный психологизм, пристальный анализ поступков, изящная манера повествования, пронизанная легкой усмешкой, сатирическими нотками.

Следует отметить, что художественно-эстетические и социально-философские достоинства названных выше повестей получили дальнейшее развитие и воплощение в многосложном повествовании — романе «Конец легенды». Своеобразный цикл исторических баллад А. Кекильбаева обрел, как мне кажется, художественную завершенность именно этим романом. И, бесспорно, эти повести вкупе с романом образуют существенный перевал на творческом пути художника.

И здесь — в романе «Конец легенды» — автор вновь обращается к тому спокойному многомерному повествованию, когда сюжет, внешняя канва события отступают как бы на второй план, уступая место всестороннему раскрытию многосложной человеческой души, психологизму, анализу побуждений и характеров, внутренним драматическим коллизиям, накалу подспудных страстей, внешне сдержанных, неброских, буйству изобразительных средств и сложных, а порой и усложненных словосцеплений. Исторический, реальный факт и художественный вымысел, безбрежная фольклорная основа и реалистическое повествование, пронизанное определенно современным мироощущением, причудливо и занимательно сплелись в этом произведении, выразив наиболее полно и ярко художественно-философскую концепцию автора, своеобразно интерпретирующего легенды и предания народа. Любопытно, что Чингиз Айтматов,

рассуждая о том, какой путь литературного освоения фольклора наиболее продуктивен и перспективен, выказывает предпочтение художественному использованию мифологем — мифологических структур и в качестве примера называет «книгу талантливого казахского прозаика Абиша Кекильбаева, где автору с помощью мифологических систем и структур удалось затронуть существенные проблемы истории и современности. Эта книга — на очень высоком уровне мышления — есть сплав мифов, легенд и современности, сплав опыта исторического и наших дней, и, на мой взгляд, все эти компоненты (плюс, конечно, талант прозаика) сделали произведение не только насыщенным содержательно, но и художественно значительным»[1].

Все сказанное здесь о повестях Абиша Кекильбаева в полной мере относится и к его роману «Конец легенды».

III

...Немного о самом романе.

Критик Зигрид Кляйнмихель (ГДР) совершенно верно подметила, что сюжетную основу исторических произведений А. Кекильбаева составляют легенды и притчи «с относительно простым действием, которое можно передать всего несколькими словами»[2]. Внешнее содержание романа «Конец легенды» также составляет поэтическое предание, которое самаркандские гиды и поныне рассказывают туристам, любующимся реставрируемой мечетью Биби-ханум — любимой жены Тамерлана.

...Отправился великий властелин в далекий поход. Тоскуя по супругу, юная Биби решила построить к его возвращению дивный голубой минарет. И когда осталось лишь достроить купол, молодой зодчий, к тому времени пылко полюбивший прелестную ханшу, заявил ей, что минарет не будет закончен, если она не одарит его, зодчего, поцелуем. Ханша возмутилась и предложила дерзкому мастеру свою самую красивую служанку. Но зодчий был непреклонен. Между тем властелин уже возвращался из похода. Он вот-вот должен был вступить в столицу. И тогда юная ханша уступила просьбе зодчего. Поцелуй был такой долгий и страстный, что на губах ее остался след. Властелин был восхищен невиданным минаретом. Но след на губах жены заронил в его душу подозрение. И ханша призналась. Повелитель приказал казнить зодчего...

У этой легенды немало вариаций, но суть ее примерно такова,

---

[1] «Вопросы литературы», 1976, №8.
[2] Sonntag, 12, 1978, 10 S.

и именно по ней построена сюжетная линия романа А. Кекильбаева. Однако писатель не просто воспроизводит по-своему древнее предание, не только расцвечивает его своим художественным видением, а наполняет его глубоким философским смыслом, показывает и раскрывает его подспудное социальное содержание, создает огромный многогранный и многопластовый мир со сложным сплетением человеческих судеб, страстей и волнений, с неизменно актуальными нравственными проблемами.

Центральный образ романа — великий Повелитель — во многом перекликается с Жонеутом из «Баллады забытых лет» и Чингисханом из «Хатын-гольской баллады», однако в нем более ярко, объемнее и глубже выражены человеконенавистническая философия тирании и губительная сила непомерной власти. Слава, как достояние величия и вечности, и всемогущество были Повелителем достигнуты не сразу. Все пришлось ему изведать, бывшему малоизвестному предводителю войск эмира: и лишения, и гонения, и унижения от спесивой знати, и тоску, и боль, и муки уязвленного самолюбия. Но он был наделен от природы могучим духом, талантом, неуемным тщеславием и целеустремленностью. Он хотел обессмертить свое имя и очень рано сделал для себя вывод, что в этом непостоянном, лживом и жестоком мире только власть и сила могут обеспечить бессмертие. «Подлинное имя силы — Вечность,— рассуждает он.— Только необузданная сила, мощь в состоянии находить с нею общий язык. Гибель слабого предопределена уже Сегодня: кару для посредственности, для середняка готовит Завтра; и только сильный, не признающий никого и ничего, бессмертен, как сама Вечность». Такова в общем-то несложная философия, таков идеал Повелителя, которому он подчиняет всю свою незаурядную личность.

Он, хорошо изучивший низменные страстишки и слабости подневольного люда, с нескрываемым презрением относится к народу, считая его презренной чернью, которую — по его убеждению — следует держать постоянно «между страхом и надеждой», ибо только тогда она в руках властелина представляет собою реальную силу. Опытный в искусстве управления, искушенный в дипломатии, не чурающийся откровенно циничных приемов ради достижения своей эгоистической цели, он становится всемогущим деспотом, жестоким, коварным, умным и дальновидным.

И, возомнив себя земным владыкой, он всю свою жизнь старался, чтобы каждый его поход, каждый поступок, даже каждое изреченное им слово прогремели, как легенды, ласкающие слух его приближенных, устрашающие недругов, внушающие трепет восторга или страха. Своей неограниченной властью над народами и

странами, силой и талантом, умом и искусством покорных ему многочисленных безмолвствующих, безропотных рабов он хотел безраздельно завоевать не только весь земной шар, но и грядущие века. Он очень надеялся, что и минарет непостижимой красоты — голубая башня, гордо и величественно устремившаяся к поднебесью, которую построила в его отсутствие младшая ханша в честь очередного победного похода всесильного супруга, будет служить увековечению и без того безмерной славы «самого великого властелина всех времен».

Да, он преуспел в управлении народами; он испытывал радость и гордость, глядя на поверженные троны и короны; он искусно способствовал созданию множества легенд о своем могуществе, о своей исключительности и даже о своей справедливости и доброте. Он верил в магическую силу и нетленность легенд, которые должны были пронести славу «златоголового владыки» через века.

Однако история загадочного минарета стала легендой, перечеркнувшей все ранее бытовавшие и беспощадно обнажившей всю подноготную «легендарной» жизни, сопряженной с неслыханными трагедиями сотен тысяч безвинных жертв во имя головокружительного восхождения одного властолюбца. Мнительному властелину, наделенному злой волей и проницательным умом, относящемуся ко всему и ко всем с недоверием и подозрением, последовательно докопавшемуся до мельчайших подробностей строительства нового минарета, не удалось все же установить подлинную достоверность молвы об измене своей юной супруги, но зато он окончательно убедился в пустоте и никчемности прожитой им жизни.

Запоздалое прозрение осенило его. Он пришел к нему через тяжкие сомнения, через мучительные размышления. Для этого ему необходимо было сделать над собой страшное усилие, вырваться хотя бы ненадолго из автоматизма мышления и поступков. Сомнения привели его к откровению, к каким-то простым человеческим истинам, которые казались ему раньше смешными и ничтожными. Парадоксальным оказалось то, что, познав в молодости лишения и рабство и всей душой возненавидев зависимость и унижение, он потом сам, став всемогущим властелином, творил только зло. «На гордые головы он неизменно обрушивал гнев и ярость; на тех, кто униженно припадал к его ногам, смотрел с брезгливой жалостью».

И столь устрашающее всемогущество, несмотря на свою кажущуюся незаурядность, на самом деле оказалось проявлением самого банального человеческого порока — подлости. Злодейство, чем глобальнее по размеру, тем явственнее раскрывает духовное ничтожество своего творца. Эта беспощадность прозрения, разоблачившего

его бездуховность, не только стало финалом его физической жизни, но и во всей своей ослепительной ясности обнажила бессмысленность и призрачность неимоверных усилий этого существа, не знавшего истинного человеческого счастья и тщетно радевшего о бессмертии.

Автор вовсе не рисует однозначного злодея резкими плакатными мазками, не осуждает его прямолинейно, а постепенно, последовательно, как бы изнутри разоблачает, развенчивает философию зла и насилия, философию власти, подавляющей и унижающей человеческое достоинство, личность. Ведь будучи всесильным и всемогущим Повелитель, с другой стороны, сам раб, раб обстоятельств, раб слепой, бесчеловечной, жестокой догмы. Да, он всем принес несчастье. Но и сам оказался жертвой своего же могущества, своей же неограниченной власти. Когда-то ему казалось, что в покоренном им мире все живут с невидимой петлей на шее и покорно барахтаются в силках его власти, и только он, сам Повелитель, свободен от всех тенет. Однако к концу жизни он убедился, что невидимая петля, захлестнувшая горло других, незаметно спутала и его руки-ноги. И теперь он изведал самое страшное несчастье — одиночество. Он вынужден сознаться в том, что у ослепленного по его воле молодого зодчего и у младшей ханши, чья молодость и краса вянут в ханских покоях, все же более завидная участь, чем у него. Ведь у них есть хотя бы возможность поведать кому-нибудь о своем несчастье, а Повелитель лишен и этой возможности.

В сущности, всесильный властелин бессилен. Он, творивший зло, сам стал орудием зла. Он знал, что юная ханша невинна. Он не мог возбудить в себе ненависть к молодому зодчему. Но не мог он и решиться на простой человеческий поступок, на благородный жест, ибо в таком случае разрушил бы легенду о всесильном, всемогущем властелине, легенду, которую он поневоле создавал всю свою жизнь, став таким образом из *творца* зла *жертвой* зла.

Больше всего на свете боялся властелин тысячеустой молвы, боялся обнаружить свою немощь, свою несостоятельность. Уже одряхлевший, беспомощный, разуверившийся во всем, он затевает безумный, неугодный ни богу, ни людям поход, страшную, кровавую бойню. «Тем, кто останется в живых,— рассуждает он,— будет уже не до сплетен, не до праздной молвы о Повелителе, его молодой ханше и дерзком зодчем». Он, как маньяк, ревностно оберегает легенду о величии великого Повелителя, но сам же ее разрушает своими человеконенавистническими деяниями и философией зла.

Страшное сознание преступно прожитой жизни — вот что унес с собой в могилу герой романа «Конец легенды», человек, поста-

вивший свой незаурядный талант, ум, энергию, всю свою полную хлопот и тревог жизнь на службу эгоистических устремлений тщеславия и честолюбия, все свои порывы подчинивший доказательству своего превосходства над другими себе подобными.

Бесславный и диалектически закономерный конец тирана, конец легенды. И автор убедительно показывает и раскрывает философскую, социальную и нравственную закономерность его крушения.

Многоликие картины древней жизни предстают перед глазами читателя романа. Бескрайняя пустыня, в зыбучих песках которой бесследно исчезают великие человеческие деяния; шумные и пестрые восточные базары; пышность и великолепие сказочных ханских дворцов, мечетей и городов как память неиссякаемого и бессмертного народного творчества; подлость придворных интриг и благородные движения человеческой души; сцены любви и ревности, всепоглощающей страсти, смятения и отчаяния, сострадания и бессмысленной жестокости, повального истребления невинных людей и картины повседневного мирного быта у домашнего очага, глубокие, то проникновенно-затаенные, то обнаженные до цинизма рассуждения в устах героев о славе, могуществе, судьбе, назначении человека на земле и многое-многое другое оживает на страницах романа, вызывая у читателя ответные чувства и мысли.

«Конец легенды» предназначен не для любителей легкого чтива. Как и в своих исторических балладах, автор прибегает к неторопливому, обстоятельному повествованию, шаг за шагом пристально прослеживая движение души, раскрывая внутренний динамизм мышления. Необходимо проникнуться этой манерой степенного сказа, вникнуть в течение мыслей и многозначные рассуждения. Это одна из тех книг, которая — по словам Пушкина — «читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания...»

Не только манера письма, углубленный психологизм, осознание истории и проникновение в историю, драматический накал и социальная насыщенность делают «Конец легенды» произведением современным. Созвучие нынешнему дню ощущается в самой постановке автором вопроса о нравственной цене человеческого счастья, беспокойство об искренности и истинности убеждений, неприятие успокоенности, автоматизма, безмятежности существования, неуемная жажда выявления лучших возможностей человеческой натуры.

IV

В упомянутом предисловии к книге «Баллады степей» Абдижамил Нурпеисов писал: «Абиш, по существу, успешно преодолел первый перевал. На мой взгляд, он, довольно сложившийся, возмужалый писатель, должен теперь идти ко второму, главному перевалу своего художественного творчества».

Видно, в творческом пути каждого истинного писателя рано или поздно наступает очевидный момент, определенная межа, когда уже нельзя развиваться в испытанном, надежном направлении, поскольку это неумолимо приводит к перепеву самого себя, к автовариациям, к благополучному сочинительству на основе в общем-то уже использованных, отработанных материала и приемов. Должно быть, А. Кекильбаев и сам это почувствовал. После трехлетнего перерыва, в первом номере журнала «Жулдыз» за 1977 год, он опубликовал четыре рассказа, которые в определенной мере оказались неожиданными и открыли новую грань его дарования и творческих поисков. В них чувствуется несколько иной Кекильбаев, не тот, к которому читатель привык по его историческим балладам. И дело, пожалуй, не просто в том, что он из заманчивой глубины веков вдруг как-то сразу обратился к нашей современности, к весьма злободневным, нравственным проблемам нашей действительности, расширил, раздвинул горизонт своих творческих интересов, но и в иной тональности повествования, в крутом переходе от спокойно-величавой, несколько возвышенной и отстраненной сказовости к более упругому, динамичному письму, к нервной насыщенности фраз, в сатирических, а порой и саркастических тонах, в скрытом, умном юморе, в обилии диалогов, которых он еще недавно в романе «Конец легенды» так упорно избегал, в более богатой палитре красок и разнообразной гамме чувств и оттенков, применяемых автором,— от мягкого лиризма, безобидной насмешливости до язвительности, сурового трагизма и беспощадного обличения.

Четыре рассказа Кекильбаева, опубликованные в одном номере журнала, стали своеобразной прелюдией к последовавшим за ними четырем его повестям. Почти в каждом из этих рассказов заявлены и намечены новые для творчества писателя общественно-социальные объекты и психологические типы, которые обстоятельно прослежены в последующих повестях: «Автомобиль», «Куща джиды», «Дом на окраине», «Последний снег весны».

Думаю, не случайно эпиграфом к одной из повестей Абиша послужили известные слова И. Бунина: «Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает этого каждый из живших на земле».

Действительно, герои его нового цикла повестей — люди, о которых принято говорить: простые, неприметные, невыдающиеся, ничем не примечательные. Они не вершат судьбами людей, не выражают глубоких, глобальных истин и идей, не выделяются каким-либо необыкновенным даром, неодолимой страстью или незаурядной судьбой, как большинство героев предыдущего цикла исторических баллад Кекильбаева.

Но и старый молчун и труженик Тлеу, проживший в степи нелегкую, но честную, благородную жизнь («Куща джиды»), и сирота Жакан, один из первых овладевший неведомой потомкам степняков профессией и проложивший в бескрайних просторах пустыни, где вольно паслись косяки куланов, немало новых дорог («Автомобиль»), и красивая женщина, не принимавшая в жизни ни одного самостоятельного решения, покорно плывшая по течению и поплатившаяся за свою пассивность и инертность бесплодным одиночеством («Дом на окраине»), и мудрая старуха, оказавшаяся в переломный момент своей жизни в новой, городской среде, перед непростыми нравственными испытаниями («Последний снег весны»), характеризуют собой разные стороны, разные пласты нашей современной жизни и художественно достоверно раскрывают психологические, социальные и этические, моральные сдвиги и перемены в духовном развитии. Кажется, автор незатейливо повествует о жизни своих героев, и в жизни их, очень земной, размеренной, переданной живописно, со множеством вещных подробностей, ничего, в сущности, особенного не происходит, однако внешне монотонное, однообразное бытование их сопряжено с серьезными размышлениями о своем назначении на земле. Мотив прозрения, откровения и трудного постижения истины снова явственно звучит на страницах этих повестей.

Стариком Тлеу руководит обостренное чувство ответственности, долга перед памятью предков, священными духами, перед родной землей, сознание того, что жизнь на земле вечна, неистребима, что цепочка рода никогда не должна оборваться, что грешно просто так, бездумно изживать жизнь, ибо человек рождается на свет не для удовлетворения одних своих личных мелких прихотей и страстишек; что нравственный багаж, прекрасные традиции, обычаи, накопленные и сбереженные многими поколениями, имеют свою извечную ценность и высокий человеческий смысл лишь в том случае, если на земле торжествуют мир и благоденствие. Старик понимает, что «самое главное наследство, завещанное предками,— честное отношение к жизни. И напрасно мы порой небрежно называем серыми буднями и мелкой суетой дни своей жизни, заполненные повседневными честными трудами и

заботами о своих ближних. Разве высший смысл и высшее благо не в том, чтобы каждый живущий на планете мирно трудился и растил свое многочисленное потомство в своем родном краю, на своем клочке земли, у своего очага, довольствуясь лишь тем, что дает твоя честная жизнь и праведный труд, и не зарясь на чужое счастье и добро?»

Не задалась жизнь у героини повести «Дом на окраине». Она принимала жизнь такой, какая она есть, безропотно, бесстрастно, безучастно, неизменно оставаясь в плену обстоятельств. Красивая, обеспеченная, до поры до времени молодая и беззаботная, она всецело полагалась на слепую судьбу и слишком поздно осознала, что жизнь прошла бесплодно, бесследно. Она оказалась виноватой перед памятью мужа, перед единственным сыном, перед родственниками, перед любовниками. И только перед своей собакой у ней не было вины. Но и верная собака ее покидает. В сущности, эта женщина никому не причиняла зла, но беда ее в том, что и добра никому не сделала. Оказалось, лишь творящий добро достоин полноценной жизни. Творить добро — значит быть активным в жизни, а не сетовать на свою участь, на свою судьбу. Понять это не всегда и не всем дано.

Нет, совсем не безоблачную жизнь прожила старуха из повести «Последний снег весны». Ей, выросшей в далеком пустынном ауле, среди барханов и дюн, пришлось изведать немалые тяготы жизни, непосильный труд, лишения, пережить гибель мужа, одинокую вдовью долю, но она не жаловалась на судьбу, не впадала в отчаяние, а с житейской мудростью и стойкостью, веками выработанной в сознании женщин степей, относилась ко всем испытаниям. Она прежде всего мать и всем своим чутким материнским сердцем понимает свой главный долг перед собой, перед погибшим мужем, перед поредевшим родом: она обязана вырастить и воспитать своего единственного сына достойным человеком. И даже теперь, когда он вырос, возмужал, обзавелся семьей, стал зрелым, видным мужчиной, она неизменно рядом с ним, старается понять его жизнь, его интересы, манеру поведения, друзей, молодую жену, весь незнакомый уклад городской жизни. Случается, не все ей по душе, непросто перебороть привычные, устойчивые представления, однако она не назойлива, не капризна, не сварлива, а опять-таки по-женски, по-матерински мудра, терпелива и чутка, благородна.

Аулу посвящено подавляющее большинство произведений казахской прозы. И чаще всего об ауле говорится восторженно, любовно, с глубокой благодарностью и с неизбывной тоской, как о неком романтическом зеленом причале, где царят первоздан-

ная благодать, покой и бережно сохраняются нравственные устои. В противовес аулу город и теперь еще зачастую изображается едва ли не исчадием зла и всевозможных пороков. В повести Абиша такое противопоставление отсутствует. Старухе в длинном, до пят, черном платье и белом, высоком тюрбане все в городе в новинку. Ей кажется поначалу странным, что одним лишь движением крана в доме появляется и вода, и огонь, что на расстоянии шеста находятся базары, где бойкие торговцы в тюбетейках настойчиво уговаривают: «бери-бери», а на расстоянии взмаха камчи — магазины, где смазливые девчонки наперебой предлагают: «пожалуйста — пожалуйста». Обо всем этом автор повествует с юмором, убедительно подчеркивая трезвый и терпимый ум, насмешливую наблюдательность старухи. Писатель поставил аульную казашку-мать в новые городские условия и психологически проследил ее путь развития, как бы выверяя вековые нравственные устои на прочность и жизнестойкость в новой среде, и доказал, что подлинная человечность, доброта, любовь — непреходящи.

В своих повестях, как и многие казахские прозаики его поколения, А. Кекильбаев придает большое значение обстоятельному и любовному описанию прекрасных старинных обрядов и традиций, сложных ритуалов, обычаев; он исключительно внимателен к забытым почти ныне этнографическим деталям кочевой жизни, но при этом не поддается соблазнам самодовлеющего экзотизма, а старается раскрыть их социальный смысл, философский аспект, душу народа изнутри.

Проза А. Кекильбаева помогает нам серьезно и вдумчиво смотреть на жизнь, взывает к размышлению, к глубоким обобщениям, приковывает наше внимание к неразрывной, диалектической связи времен — прошлого и настоящего. Проза его наполнена философским, интеллектуальным содержанием, зиждется на прочной и богатой традиции сочной устной и письменной казахской речи.

Сейчас Абиш напряженно работает над новым романом об исторически важной вехе в судьбе казахов. И одновременно вынашивает острый, социально-философский роман о моральной и гражданской ответственности своего поколения — тех, кто стоит нынче у самого порога сорокалетия. Возможно, это и есть тот главный перевал на творческом пути писателя, который, хочется надеяться, он одолеет с честью.

Герольд БЕЛЬГЕР

ОГЛАВЛЕНИЕ

Абиш Кекильбаев

КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

Роман

Перевод Герольда Бельгера

ИБ № 1181

Редактор *А. Баирова*
Художник *В. Чернокнижный*
Худ. редактор *Г. Баянов*
Техн. редактор *О. Пегова*
Корректор *С. Сулейменова*

Сдано в набор 20.12.78. Подписано к печати 11.04.79. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура обыкновенно-новая. Печать высокая. П. л. 7,5. Усл. п. л. 12,6. Уч.-изд. л. 13,32. Тираж 100 000 экз. 50 000 экз. в обложке. Цена 80 коп. 50 000 экз. в пер. № 5. Цена 1 р. 10 коп. Заказ № 64. Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480003, г. Алма-Ата, ул. Гоголя, 111. Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.



80 к.


АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ
КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ